

Балакирев

К читателям

Автор хотел прежде всего представить картину русской жизни в царствование Великого Петра, начиная с первого путешествия преобразователя в Европу и далее — в разные годы его царствования. Изображённые лица, — кроме двух-трех, служащих невидимыми пружинами действий главных персонажей, — не вымышлены. Автор, желая характернее очертить ход событий, старался изобразить действующих лиц в настоящем их виде. Что же касается главных героев — отца и сына Балакиревых, — их похождения не выдуманы, и если для привыкших представлять себе Ивана Балакирева шутом Петра I, то здесь он является не таким, и в этом не вина автора, а неверность печатных известий о самом лице. Выполнил ли автор предположенную им задачу — в форме исторического романа, не уклоняясь от его требований, — судьями, конечно, могут быть лишь читатели.

Автор

Часть I. РОДСТВО НЕ В ОБРАЗЕЦ

НЕ ЗНАЕШЬ: ГДЕ НАЙДЁШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ

Вместо пролога

— Право слово... Как слышал, так и докладую твоей милости, государыня Лукерья Демьяновна. Разрази Бог на сём месте... коли что от себя выдумал... Все истово... Так повелевает новый-от указ ...

— Не может быть того, покель свету стоять... Ни в жизнь не поверю... хошь всех святых мне неси... Статочно ли дело, чтобы государь нам, дворянам, вконец погибель такую уложил по великой своей милости?.. и маломощным тянуть одинаво с великопоместными. Я, к примеру, стряпческа вдова — сто дворов с небольшим и моих родительских, и мужних — на Олешин пай, и мне тянуть супротив матери игуменьи Капитолины Федоровской? Да у ей во дворе скота одного — возьми ты, глупая голова, — сколько? а пашенной да сенокосной земли счёту не дать; а у нас всего шесть сот четей в поле... С чего нам струг выставить

на Оке, что ль, баил с ей...

— Истинно так, ваша милость... Со стряпчим с Переяславля вместе ехали, он точнехоньки так и баил... С ихней игуменьей нашей деревеньке в одну версту идти. И на срок на один... на весеннего Егорья судно поставить... мудрено таково назвал...

— Ну, не окаянный ли ты, лжец, беспутная голова, коли мне смеешь такие речи доводить?! С похмелья, что ль, аль совсем во хмелю, незнамо что бредишь непутно, Гаврюшко... Чигирем батьку твою звали... а я тебя чихирем назову за такую неподобь... Что своей боярыне несёшь околесицу, когда дело я спрашиваю... Знатье бы, не тебя бы, пустую голову, в город засылала испроветать, что там деялось; для чего дворянам с деревень наезжать к воеводе... Всех коли требовали нас, дворян, как же игуменья-то угодила со мной в одну версту? Ну-тка, мудрец, расскажи-ко нам, как, по твоему дурацкому разуму, священство-то заколупнули?..

Мы забыли предупредить, что дело происходит в семь тысяч двести пятом году от сотворения мира, а нашего счета в 1697-м, во Владимирском уезде. Царь Пётр Алексеевич ещё не воротился из Голландии, а уж по его требованию сбор средств на постройку флота начался на Руси.

— Не могу знать, государыня Лукерья Демьяновна, — видя несправедливый на себя гнев помещицы, смиренно отозвался её ходатай по делам смышлёный мужик Гаврило Чигирь. — Знаю одно только, что на сей раз и посадки верстают с поместьем, и гостей с властями, в одну складку... а для чего так? — не нашего холопского умишка допытать... Вот те Богородица, не лгу, и братец ваш, Елизар Демьяныч, допытывал того ж. И подьячего из избы из приказной вызывал и посулы выложил, никак, пять алтын: одно скажи, с чего и почему ноне такой наряд грозный со всего люда крещёного без различия доправлять велено... Одначь подьячий и алтыны отпихнул, и угощаться не пошёл на кабак... на одном стоит — не велено рассказывать... Да вот и сам его милость Елизар Демьяныч, никак, подкатил.

Помещица взглянула в окно, и морщин на лбу как не бывало; мало того — показалась даже улыбка.

Да и как было не улыбнуться даже самому угрюмому и хмурому, глядя на толстяка, вылезавшего из колымаги. Одной ногой он уж стоял на земле, а длинный и острый носок сапога другой запутался в мягких одеялах, наваленных ворохом на дно колымаги. Как ни топтался на месте обладатель завязшей ноги, усилия его оказались бы тщетными, если бы не помощь двух здоровых холопов, которые, схватив и подняв гостя на воздух, вытянули носок из-под одеяла. Рванули они, однако, так усердно, что тот освобождённою ногою задел об край колымаги, окованной железом, и вскричал от жгучей боли. Приезжий разразился бранью, прерываемой взвизгиваньем и стонами:

— Олухи проклятые!.. Эко медведье!.. Никак, ногу-то вывернули, злодеи!.. О-ох!

Лукерья Демьяновна не могла оставаться зрительницею невзгоды брата: она вылетела на крылечко, к которому подносили уже гостя неловкие, хотя и верные, слуги.

— Добро пожаловать!.. Сколько лет, сколько зим... Не чаяла, вдовою живучи, повидать тебя, сударь-братец, коли уж не видала при живности мужа. Ан Бог милосердый не вконец прогневался, дал ещё во здравии видеть тя!

— Не в полном, сестрица. Кабы не общее злосчастье, не поднялся бы при своих недугах, — отозвался Елизар Демьяныч, целуя с напускною горячностью сестру, с которой не ладил и не видался не меньше двадцати лет, успев состариться за это время. Гость опустил на ноги без поддержки слуги.

Сестра, забыв старинное злорадство, стала всхлипывать и вздыхать, а затем от слез перешла к расспросам:

— За коим, батюшка, к нам, говоришь, за делом Бог принёс? — наконец спросила Лукерья Демьяновна, усадив брата и приказав подать чарку. Законное любопытство овладело ею.

И глазом не успел Елизар мигнуть, как показался в дверях поднос с

чарами, при виде которых на лице гостя просияла улыбка полного удовольствия. Понятно, что мысли гостя теперь не скоро придут в такое состояние, чтобы ответить на вопрос, заданный хозяйкой. Вопрос сам к тому же был такого свойства, что Елизар, не ожидавший его, должен был подумать, как и что ответить. Прямо правду-матку отколоть нельзя было хитрецу, сбиравшемуся попытать счастья: половить в мутной водице рыбки, разыгрывая благожелателя, если не благодетеля. Поэтому, занявшись питьём, Елизар думал замять ответ, им ещё сочиняемый, но нетерпение сестры не оставило его в покое.

— Зачем же Бог-от принёс тебя, сударика, к нам? Видно, дело важнее? — настаивала она.

Елизар мгновенно смекнул, куда направить нить повествования, чтобы усыпить недоверчивость.

— Чего спрашиваешь ещё! — пропуская проворно чару вишнёвки, ответил как бы неохотно приезжий. — Ужель, живя ближе нас, грешных, к Москве, не ведаешь, что там дееся на нашу помещичью беду и сущее разорение? — докончил Елизар, пропустив другую чару.

— Да ты толком говори, — спросила Лукерья, прикинувшись непонимающею и словно ничего не знающею, дав знак глазами верному своему посыльщику Гаврюшке удалиться. В эту минуту помещице захотелось словами брата проверить доклад своего хожака по делам.

— Нече тебе, Лукерья, дуру строить, — оставшись наедине с сестрою, начал Елизар. — Гаврюшку твоего видал я сам во Владимире, значит, сама ведаешь, про что посылала... Нас пытать нече... Тем паче в таки времена... Стар становлюсь... На мировую приехал... Недоверие, значит, всякое отложи и толком поговорим... Хочу тебе, сердечной, помочь от наших достатков, — и он глазами показал в ту сторону, где положили его дорожную кису с подголовком почтённых размеров. Подголовок был громоздок и нескладен, но достаточен для вмещения ценных вещей, которых не оставляли в те поры помещики без своего глаза в усадьбах. Неровен час — можно было и ничего не найти при возвращении.

Сестра вздохом одним поспешила заявить мнимую свою вдовью

бедность, и на лице её вместо любопытства выразилась малоидущая к её обычно строгому выражению нежность. Как видно, и брат и сестра хотя и были доморощенные артисты по части мимики, но могли за пояс заткнуть любого комического актёра *ex professo*. Здесь умудряла чад своих сама мать-природа, для своей собственной потехи вложив в них призвание к игре в свете. Желание перехитрить себе подобного было всегда в ходу в московском обществе, а тем более в последние годы московского царства перед эпохою преобразований. Утончённость мошенничества доведена была до *plus ultra*, а художники в этом роде, — к сожалению, принадлежащие к семье непризнанных гениев, — всё ещё были недовольны собою и из любви к искусству, так сказать, практиковались при всяком случае, не выключая и свиданий с родными. Елизар Демьяныч, век свой слывший кулаком, — а у недругов даже заведомо истым мошенником, — никак не ожидал встретить соперницу в сестре, при первом же свидании озадачившей его своими вопросами и видом полнейшего неведения. Слова его, сказанные напрямик, возымели, однако, своё действие. Но как знать, не было ли и продолжение родственной беседы мастерскою игрой помещицы, гениально отгадавшей тон, которого держаться следует: выказывать откровенность, душу нараспашку, коли уж братец заявил, что желает помочь?

Кто останется победителем в этом поединке, читатели сами увидят из продолжения повести, а мы здесь только вправе сказать, что Лукерья Демьяновна, женщина с умом и выдержкою, долго считала себя достигающею цели стремлений. Сами посудите, как же ей было так не думать?

— Признаюсь, братец, и не смела думать о том, чтобы тебя послал Господь Бог на помощь мне, грешной, в бедах и напастях. А беды немалые: от одного взноса полтинных на Покров убереженьё моё от старых лет все уйдёт разом, благо б только хватило... А как и чем придётся доплачивать верстанье по-стружному, или как там по-иноземному прозывают, прах их побери, — дело судебное, что вновь наложить, баит Гаврюшко, царь-государь велел... истинно — ума не

приложу!

— Не горюй... Затем и приехал, что тебя в свой пай беру; по родству это самое можно... Я уж все разузнал... Дай, думаю, под старость хошь с сестрой в ладах поживём... Перестанет она Елизара Иудой считать...

— Никогда — Бога в свидетели беру — этого не токмя ни говаривала, и в мысли не клала, — тоном обиженного достоинства поспешила протестовать Лукерья Демьяновна.

— Верю, охотно верю... Не упрекать имел намеренье, а признаться самому в неказывании тебе при бывших случаях родственной любви, как брат должен... Под старость...

— Ну, кто Богу не грешен!.. Пословицу знаешь: кто старое помянет, — поспешила перебить Лукерья Демьяновна, которой речь Елизара Демьяновича показалась слаще мёда, но благоразумие шепнуло, что должно всегда наблюдать умеренность.

— Стало, ты, сестра, незлопамятна и невзыскательна на кающемся, — продолжал верный своему плану Елизар Демьяныч. — Но я должен себя знать и делать, что велит Создатель, в руке которого наши дни и лета... У его, Всеблагого, дни наши изочтены суть, а мы, былые травное, коли не меньше, забываемся, кичимся, злобствуем, жадничаем. А как тут испытание пошлёт Господь Бог... и очувствуешься мало-мало... Как у меня, на Преплавленье, пятьдесят дворов да амбаров шесть лизнул пожар на селе — я, грешный человек, и понял: пора, Елизар, в чувство прийти... Дай, думаю, к сестре съезжу... Еду через город, новости тем паче горшие проведаль... Попервоначалу домой поворотил, да на ночлеге сон увидал — и воротился к тебе. Про тебя, слышь, сон-то привиделся. Вижу, к примеру сказать, выехал я на жнитво: народу таково много у меня на полосе... Мужики и бабы работают таково усердно. На коне будто я на чалом еду... С коня не сседаю, спрашиваю: почто, народ честной, усердствуете? Угодить, говорят, хотим молодому боярину Алексею Гавриловичу... Какому, говорю, Алексею Гавриловичу?.. И проснулся с тем. Припамятовал утром сон, да и думаю: никак, это про Алёшу? Коли здоров, значит — скоро наследник мой будет! Сон — вещун правдивый.

— Бывает же, скажи, такая нелепица, братец, голубчик!.. Ну, достаточно ли дело, чтоб мой Алексей твоё добро перенял у племянницы, у Анны Елизарьевны?..

— Она уж не моя, не твоя, а Божья... в монастырь ушла... Выделил ей вкладу в обитель тринадцать дворов, и того за глаза довольно... облопаются неравно честные матери, коли им отдать при родном племяннике все...

Лукерья поглядела на брата с особенным чувством, но чувство это, если говорить правду, было недоверие. Разом столько благодати не посылает судьба на долю грешных людей! Довольно бы и одной помощи при исполнении нагрывшей как снег на голову судовой повинности, а тут и обещание помощи, и надежда на наследство сыну! Ум самый недоверчивый, впрочем, при обещании неожиданных благ теряет большую часть своей чуткости и осторожности. То же оказалось и с Лукерьей Демьяновной. «С чего Елизару, вправду, ко мне ехать, коли б не горе — дочери все едино что лишился?.. Осиротел!.. И пригреть старость некому. По себе всякому можно судить... Значит, до него пришло, коли к нам привалил и сам развёл лясы... Не я покорилась первая... А коли с добрым намерением — Бога надо только благодарить. А от милости Божией как отказаться?.. Не дуры же мы, прости, Господи!.. Век изжили, чему ни на есть выучились... Коли начал он — мне нужно до конца довести». И этот силлогизм оказался теперь самым подходящим планом действий Лукерьи Демьяновны.

Она обладала редкою способностью мигом вызывать у себя слезы на глазах, если нужно. Вот они увлажнили её густые ресницы, и, всхлипывая, начала она:

— Что ты говоришь, Елизарушко! С чегой-то Аннушке, голубушке, невзмился Божий свет, коли она не испытала, свет наш, невзгод в сём суетном свете, ни...

— Так Богу угодно, видно... Не спрашивай только теперь... а то боли душевной не пересказать мне будет, как я бился с дочерью... Вся, знаешь, в мать-покойницу — настойчивая... Что в голову заберёт — так

тому и быть. И грозил я, и миловал, — на одном упёрлась: за того не отдаёшь, за кого я хочу, — в монастырь пусти. Ну, сама суди: при чём бы мы, отцы, были, коли б своего помёта волю исполняли?.. Она упряма — я вдвое!.. Ну и ушла... и живёт...

У Лукерьи Демьяновны в глазах заискрилось пламя, но так же быстро и потухло. Воли на это хватило: злорадства и разгневанному отцу не следует дать заприметить. Мгновенный взгляд на брата успокоил Лукерью, но попасть в тон разговора стоило теперь необыкновенного усилия даже и для её изворотливого ума. Напало теперь сомнение на Дворянку Балакиреву. О ней часто говорили, что тоньше Демьяновны разве Лиса Патрикеевна; да и из лис не всякая, а разве одна из тысячи бывалых во всяких передрягах. Но звериный норов брата, его упрямство, из-за коих пожертвовал он своею дочкою, поселили, может быть, в первый раз в жизни, сомнение в себе у хитрой бабы Балакирихи. Невольный трепет охватывал её от возможности близкой наживы, но она понимала, как труден подступ к капризному самодуру, каким представлялся ей теперь Елизар.

Сына любила Лукерья по-своему, и не для себя представлялось необходимым теперь заловить в сети брата, пока у него, бедняжки, не прошёл гнев на дочь. Неожиданность событий, впрочем, мешала ей вернее рассчитать все приходившие в голову возможные подступы к верной, казалось, добыче. Мысленно сетовала Лукерья, что она одна теперь. Сына отпустила гостить на три дня к соседям, и он раньше завтрашнего обеда не может быть, а нужно ковать железо, пока горячо. Столпление мыслей, понятно, при таком напоре могло лишиться слова кого угодно. Тонкий хитрец, Елизар не мог не заприметить перерыва речи, но отнёс её к своему внезапному рассказу о дочери, а затем — к высказанному запрету спрашивать о ней. Ему, в свою очередь, стало неловко, и он решил сам навести сестру на продолжение разговора, думая, что она обиделась на его оговорку.

— Не сердись, не взыскивай за отказ передать своё горе. Верь Богу — не могу... Скажи лучше, где Алёша?..

— Нет его дома, братец, — я одна... Горько мне слышать о том, что ты испытываешь на старости. Ведь с загвоздки такой я не собралась с духом калякать с тобой при твоём положении. А насчёт того, чтобы мне в обиду вломиться за поперечку, истинно, и помысла не имела... Коли хочешь знать про мои дела, всю подноготную открою. А прежде всего поведай, свет мой, о наших бедах общих, что готовят нам в городе?

— Тамо, сестрица, просто погибель нам, бедным, чинится, а напредки горшее сулят... Первое дело, наместо полтины рубль требуют на жалованье ратным с тех, кому в походе быть не довелось!.. С меня, значит, со старого, да с тебя — за племянника... Да на срок, слышь... А не внесёшь — вдвое, с разряду потребуют — как указ нам наслан с постельного крыльца, по примерам прошлого и запрошлого лета... И не прощён, значит, сбавку... А коли как ни на есть, неправдой вестимо, в список имя записали... с пяти-десяти дворов два рубли, подворный подавай, коли не ведаючи не попал на службу... К тебе ещё за Алешеньку брать не приходили?

— Нету, кажется, миловал Бог досель...

— А с меня так содрали, проклятые, пятьдесят шесть рублёв разом... А за что про что — и сам не ведаю... Дьяк в приказной бает одно — в походе не был!.. Да я, мол, аль не видишь? — без ног. Ничего-ста нам и ведать не велено... Твоё дело справиться и просить. А коли, говорит, не умел просить вовремя, теперятко доправим по указу... Вот какие разбои! Когда толику обиду видели?! А последний указ, что с постельного крыльца читала Ноемврия в двадцать второй день, — и того жесточае: велено всех служилых людей, и детей, и племянников переписать, кто доспел и кто не доспел на службу, поимённо... Да взять сказки за руками, с подкреплением: кто каких отцов дети, каковых лет, каких городов; в уездах: сколько за кем состоит в поместьях и в вотчинах дворов, и пашни, и покосу, да всяких угодий оброчных; и сколько собирается из лета в лето оброчного. И перепись эту самую теперя присланы учинить с Москвы в каждый город дворяне нарочно. К нам, в Володимер, жены покойной свойственник прислан. Видался я с им и про Алешеньку

просил: нельзя ли отбыть — не везти? Баит, никак не можно, бед не оберёшься: ни мы сами, ни отписчик. Вот я и заехал, сестрица, за Алёшей... Сам его свезу... Предоставлю... Запишу. И что на чём станет, лучше самое изберём...

— Спасибо, родной, на родственном береженье... что про свою кровь радеешь... Вестимо, с тобой Олешеньке ехать повадней... А все бы лучшее, коли б отложить мало-мало, хоша до будущей-от осени?.. Дитя бы подросло... Тогда бы — буде воля Божья... уж как ему на роду написано.

— Говорят же, не можно, за распроклятым писаньем этим самым, что на утре Введенья читано... Уж я как ни упрашивал... ничего нельзя... Особливо коли я, грешный, возымел намеренье Алексею отказать поместья и вотчины наши... Туту — сама рассуди — и отказчику, и наследнику самим на лицо должно... А на будущу осень кто доживёт, Бог весть... Тяжек уж я стал, на силу на великую и ногами повёртываю. Завяз было совсем у тебя на дворе, в повозке своей... Может, последние дни коротаю.

— Ну, Бог милостив к грешникам, может, и пожалеет нас с тобой. За что ему, Создателю, прогневаться над нами, сиротами, вконец, отнять скоро так у нас тебя, благодетеля?! Помолимся, даст Господь, с Олешенькой, про долготу твоего живота... Отчаиваться грех... И повременить бы немножечко просила... Вишь, справа моя теперя трудная... Дитю в город посылать — припасов нет... Как Олешеньке ехать?..

— Пропитаю племянника и своим запасом, сестрица... Теперя не в поход же прямо... А записать нужно... За день скатаем аль ночлег один в городе возьмём, не больше...

— Да и его, голубчика, нет дома... К вечеру разве завтра дома будет...

— Ну и до послезавтра побудем у тебя... давно же не видались... Может, и видимся в последнее.

— Тебя, голубчик братец, рада, что залучить довелось. Слава Создателю... И недельку прогостить, может, изволишь с пути отдохнуть... Изломало, вишь, за год тебя, сердечного... Да что ж я, бессчётная дура,

речи развожу пустые, а за стол не прошу, чем Бог послал! Милости прошу в повалушку!

И хозяйка захлопотала, вводя брата в лучшую горницу, где, привычные к порядкам Лукерьи Демьяновны, её дворецкий и ключница уже успели уставить столы яствами, при виде которых на лице гостя опять промелькнула улыбка. Впрочем, не то чтобы радости, а просто удовлетворения, что сможет пополнить ущерб в желудке, нанесённый долгой и тряской дорогой. Суровое лицо гостя с той минуты, как присел он к столу подле сестры-хозяйки, стало приметно терять угрюмость. Очередь говорить, как видно, перешла к хозяйке, а гость, не желая ни в чём отступать от любимых обычаев предков, принялся усердно оказывать честь всему выставленному на стол, издавая в промежутках жеванья односложные возгласы: "у-у!" или "о-ох!" — и только. Он ел так приятно, как может есть человек, знающий во всём лакомом вкус. Лукерья Демьяновна сама была лакомка и в то же время хлебосолка, а широкие обещания брата в пользу сына сделали помещицу особенно угодливой и ласковой к гостю, что называется нараспашку, истинно разливанное море. После утоления голода начались речи ещё более обильные. Гость высказал свои задушевные будто бы желания; слова хитрого старца приняты были за правду.

— На Алёшу я возлагаю большие надежды, потому что он молод и годен к выслуге, а теперя, как стрельцов переводят, — дворяне, разумеется, станут к престолу ближе ... В комнату попасть не в пример легко... А там известно что...

— Да какая прибыль на глаза-то сунуться такому грозному владыке, как наш, примерно? В наши дни воочию исполняется поговорка, близ царя — близ смерти. Мало ль из родовитых, к примеру сказать, в короткое время коли не животов, так честей лишились? Только и слышишь: того-то в розыск, того-то кнутом аль батогом нещадно перед приказной избой, того-то в ссылку, в стрельцы сослать в чужу-дальню сторону... И за самые что ни есть пустячные провинности. Али с девкой неладное учинил; али вотчину, что ль, не свою за свою продал; аль поскребал в столбце как

ему надобно было.. Эти самые дела, братец, в старину сходились повольготнее дворянскому роду. Много-много, что посекут дворовых, что дурно сладили — господина не поберегли, а не токмо самому дворянину в казни быть...

— Ты, сестра, издали слышишь, ино что и не так. Вина и в старину не слушалась, коли дознавались до пряма... А коли все переимать, что по воде плывёт, — не жить на сём свете... А молодому парню служить нужно. Не девку держать в терему за печкой, молодчика... А я сам, хоша и стар становлюсь, коли при себе держать буду племянника, от дурна сумею уберечь не хуже домашнего твоего... А по деревням дворянам теперя сидеть не впору и без жестокого указа на утре Введеньева дня. Стало, о грозе нонешней беседу оставим; слыхали мы пословицу: где гроза — там и милость.

— Братец-голубчик, я про одно толкую, — не мне, бабе, сына удержать, конечно... Да лезть самому волку в пасть, на очи — таково моё рассужденье — своей вольной волею надо бы поудержаться: не ровен час... Мой же Олешенька — несмысленный робенок... Что ему будешь толковать, и он то же баит, ничего не разумеючи: как и что деяться может на людском совете...

— А я-то на что, позволь спросить?! Тёртые калачи — сами не дадим кому ни на есть при себе в пясть сморкаться...

Тут что ни представляла уж Лукерья Демьяновна, какие ни подводила отводы да уклоненья, сердитый гость стоял на своём: что за Алёшей приехал. Без него не уедет. Дождётся всенепременно и увезёт с собою. Его речь пересилила. Уже отходя ко сну, разбитая по всем пунктам нежная родительница Алешеньки стала про себя раскидывать умом-разумом: нельзя ли пооттянуть подольше отъезд сыновний да вымаклячить у брата — благо поддаётся — какой ни на есть подарок, а не то и денежек поспросить, выбрав хорошую минуту.

Вот заснула она, а мысли, настроенные последними спорами с братом, начали в тысяче живых образов варьировать житейские сцены, в которых уже выступает её Алёша... И она уже не боязливо смотрит на

приближение его к особе грозного государя; и Алёша, справившись с новыми порядками, оказывается привычным в деле. Вот он всюду успевает заслужить похвалу не только старших, но самого царя молодого, который для сына Лукерьи Демьяновны словно как бы переменил грозу на милость. Вот видится вдове Балакиревой большой город; церковей, церковей — не перечесть; монастыри — один другого обширнее; проходу между стен их как будто нет; однако есть лазейки, и по ним ползёт народ православный, слышав звон — громкий, густой, трогательный за сердце. Рука правая сама так и складывает крест, и шапки у всех с головы снимаются. Подлинно сорок сороков церковей — Москва белокаменная! Вишь, народ из всех переулков на улицы так и льётся; толпы перемешиваются, сходятся и расходятся в разные стороны. Наряды пестрят всеми цветами; радужных и ярких кафтанов не перечесть. Вот они и сплошь красные — другого цвета не видно. Вот и женщин следа нет. Все мужики одни в красных кафтанах, и сукно на кафтанах делается гуще цветом. Вот и рожи мужицкие в кровь обращаются, толпа — не толпа, а красная река течёт; говор — не говор людской, а плачет поток. Над ним, над этим потоком, царь подымается. Серой запахло. Мрачно сверху, а поток ярче загорается. И слышится голос страшный, болезненно сдавивший сердце Лукерьи Демьяновны: "Се река огненная пред судищем течёт и печати разрешаются... Конец преступному роду людскому"...

Помещица просыпается в трепете, облитая холодным потом. Крестится в страхе и силится от ужаса скорее заснуть. Благодетельный сон милостив к человечеству, особенно удручённому скорбью или страхом. Неприметно и бережно принял добрый сон помещицу Балакиреву в дружеские объятия, и она, сама не зная как, является перенесённою на незнакомые места, уже не в город, а в леса дремучие. Там и сям слышатся звуки тысячи топоров, ударяющих в лад, в мирной тиши отдаваясь непрерывным: тту-тту-тту!.. Кажется Лукерье Демьяновне, что идёт она, углубляясь в чащу, и по мере углубления начинают показываться люди. Все спешат за делом, должно быть. Звуки "ту-ту" слышнее и ближе... чуть

не под самым ухом. Тащат и грузят на подводы рубленый лес; что ни дерево, то мачта на расшиву. И конца нет носильщикам да подводам их. А лошади все по паре впряжены в подводу. Вот и начальство видно: приказывают, рассылают, показывают, распоряжаются. Среди хора голосов мужских, и сиплых и звонких, слышит Лукерья голос брата Елизара, теперешнего у неё ночлежника. Он словно набольший. Величают его "ваше степенство" и с почтеньем обращаются к его помощнику, молодому, в красном кафтане. Порой набольший с помощником садятся за стол... Должно полагать, судейский стол, не иное что, красным сукном покрыт; чернильницы и перья, да бумага и столбцы ворохом наворочены. И подьячие пишут прилежно... Весь этот приказ заседает в лесу. Вглядывается Лукерья, прослышав братний голос: старшой, никак, брат Елизар, а помощник — Алешенька. Только вырос и помужал; ус изрядный и борода пробивается.

"Здравствуйте, родные!" — приветствует брата и сына помещица. Ей не отвечают Громче она выговаривает приветствие.

"Зачем баба сюда зашла? — зычно крикнул Алешенька. — Вон её..."

"Меня-то, мать-то твою?.. Да ты, Алексей, видно, обасурманился на распроклятой службе этой самой: мать не хочешь признать?! Ах ты, отверженец... Я до царя дойду..."

— Сударыня, Лукерья Демьяновна, — будит помещицу верная её ключница Афимья, — соизволь очухаться... дело спешное.

— Жива быть не хочу, пока царю-батюшке в ноги не брошусь, не пожалюсь... А ты не замай, прочь поди!...

— Осударыня... нельзя прочь... Спешное дело... соизволь отпереть оченьки! — И бережно — чувствует помещица сквозь сон — её теребят, трясут.

Открывает она наконец глаза, перервав сон.

— Что такое?

— Приехали на село описчики... Ночлега ищут. Где повелишь поставить?..

— Стоит ли будить из-за этого? Где-нибудь у соседей станут... Что мы за

богачи?.. Не больше других имеем... У нас-то чего ради ставиться приказным?

— Матушка осударыня, не моги твоя честность так говорить. Ино согрубишь описчикам — дурно наведут, по грехам... Мстити начнут.. И не приведи Господи приказный люд прогневить... А коли, по милости Божией, удоволишь их братью, ино польза будет немалая: поноровят, коли в чувство придут... Бога попомнят за хлеб-соль, на угощенье.

— Ну, ин быть так, ведите в нову избу и угощайте как знаете, а там подумаем утром.

Получив разрешение, ключница удалилась распорядиться. Заснула Лукерья Демьяновна, и, под впечатлением обещаний ключницы на покровительство приказных, сон развил перед нею ряд утешительных представлений. Перво-наперво пригрезилось ей величанье Алешеньки "боярином честным, слугою царским" на воеводстве новом. Видимо-невидимо всякого богатства приносят в узелках и в свёрточках, а рук не видать, кто несёт.

Проснулась Лукерья Демьяновна, и самой смешно: что грезилось.

Явилась ключница; отчёт отдала, как приказных удоволила.

— Дрыхнут ещё, проклятые, с нашего угощенья.

— А брат что?

— Встал давно и уж два раза спрашивал про тебя, государыня, да... как у вас, баил, подкрепляются... с утра!

— Что ж ты?

— Сулею наливочки подала... а закусточку подать, коли изволишь, сготовили...

— Накройте же в повалуше понарядней, покуда я обволокусь.

И поспешно принялась мыться и одеваться. На молитве всего полсотни поясных поклонов, греховным делом, положила: смутил бес, глаза заслепив чаяньем мзды от братца. Поспешила видеть его светлые очи да спросить о здоровье. Да ему прямо и пересказала своё сновидение, распотешившее гостя до слёз. Он три раза принимался хохотать, как Балакириха прогневалась, когда во сне сын её прогнал! Лукерье

Демьяновне даже обиден стал смех; нахмурилась. Внимательный брат тогда поворотил в другую сторону, изобразив на лице самую любящую мину, и с выражением ангельской доброты и искренности заговорил:

— Ишь ты, подумаешь, что привидится!.. В житьё не совсем так делается. Сторонние пусть не видают, кто и что несёт; а как же не усмотреть тому, кому несут? Коли дают, значит, просят о том, о сём... А рассудить, раскинувши умом-разумом, сон не к худу выходит. Перед добром, вестимо. Божья благодать ниспосылает щедроты нам, грешным, неведомо... К тому, значит, и видишь — подают, а кто — не видать... Божью милость, стало, предвещает не в далёком времени...

— И я так смекаю...

— Само собою, так, коли люди добрые жалуют, за спиной у милостивцев ино и перепасты должно в твой кошель. А у меня, нече Бога гневить, таки есть кому пожаловать и племянника провести в люди; не осевки в поле уродились. Ты только, сестра, не перечь: Алешеньку со мной пусти — не пропадёт небось...

— Да я бы рада, коли бы дома сыскать. Ждём сей вечер... а как знать?.. Может, вздумает и ещё ночку прогостить... Не ведали мы, братец, что осчастливить вздумает своим посещением... А того и подавно не с чего разуметь нам, что родство восхотел ныне как есть вспомнить...

— Когда ж забывал я про родство?.. Ино недуги одолевают, ино недосуги, дела да хлопоты. А родню забывать грех и не нам, мелкой сошке, а подымай выше.

— Боярыня-осударыня! — вдруг вполголоса послышался голос из-за двери.

— Что там ещё?

— Да Оська пригонял с мельницы, баит, что у барчонка, у Алексея Гаврилыча, около плотины колёса увязли, колымагу вытащить невмочь, надоть послать пару лошадей.

— Зачем же стали? Послать... Вот, слава Богу, и Олексей тотчас дома будет!

— Ну, и давай Бог...

— И примета недурна Олешина приезда к самому столу. Готово там, братец, милости прошу.

Рассказывать, как и что ели и чем запивали гость-брат и помещица-хозяйка, теперь излишне. Потому что эта посторонняя, в сущности, картина в пересказе не представила бы ничего настолько интересного, что оправдало бы отвлечение в сторону; тогда как все наше внимание должно сосредоточиться на Алешеньке, не замедлившем приехать домой и застать ещё за столом мать с дядею, о котором знал он только понаслышке.

Дядя, в рассказах матери изображаемый не совсем привлекательно, при личном знакомстве показался Алешеньке совсем другим человеком.

Можно, конечно, объяснить частью такое мнение тем, что понятия о добре и зле ещё не совсем установились. Ещё должно принять в соображение и своенравие Алешеньки, балованного ребёнка, привыкшего с детства ставить на своём. А главное, краснобай дядя с первого слова обворожил ветреного юношу рассказами о привольном житье на царской службе, куда намерен он, не откладывая, взять Алёшу. Цель усердия старого проходимца выкажется, конечно, скоро, но в то время побуждения его не возбуждали сомнения даже в умной сестре-помещице.

— У-у! Какой же молодчик у тебя Алёша! — воскликнул хитрец дядя, бросаясь к племяннику, как только завидел его в дверях повалуши. — Разбойник, а не парень! — повторял он, облапив его и крепко целуя в обе щеки. — Ухарь, одно слово! Девки, чай, без ума от тебя. Ась? Вылитый я!.. как четыре десятка бы с плеч долой... Да я те, Алёха, из рук не выпущу... Будь я не дядя-сирота, а отец твой, иной благодати бы да милости Божьей не желал, как своим считать такого ухаря!

Мать и сын, равно польщённые, растаяли от похвал.

Алёша сразу почувствовал к дяде влечение за одно величанье молодцом и ухарем, когда нежная родительница постоянно называла его ребёнком и обращалась как с мальчиком, говоря то и дело: "Ужо как вырастешь!" Алексей же сам давно уже считал себя взрослым. Предположение дяди,

что он должен иметь успех у прекрасного пола, прозвучало в ушах матушкина сына опять обворожительно, потому что о таком предмете, как девчата, матушка и сама не заговаривала, и никто в доме. А в гостях, откуда только что воротился Алёша, молодые дворянчики засмеяли его и язвительно прозвали младенцем, когда в беседе о проказах боярчонков с сельскими красавицами Алёша выказал полное неведение. Смех и обидные остроты возбудили страстное желание матушкина сына разведать досконально, в чём заключается самый смак девичьей беседы. И в это время заговорил приезжий дядя словами искусителя, прожегшими сердце мальчика огнём пагубной любознательности.

Мать встала что-то приказать, а дядя в горячей беседе с племянником — в глазах его вычитавший уже успех первых своих слов — поспешил налить Алёше в материну чарку романи и, подавая ему в руки её, скороговоркою произнёс:

— Чокнемся!

— Да мне можно ли? — робко, но таким голосом, в котором слышались обида и боязнь отказа, спросил Алёша, схватив чарку.

— Что за спрос?! Коли налил я да даю, значит — пей, как и я же, без остановки...

Хватил дядя, хватил и племянник. Сладкий огненный напиток объял мозг юноши и заставил броситься инстинктивно к дяде с крепким поцелуем, закрепившим первое питьё романи.

— Вот и молодец! Я не люблю, чтоб от меня отставал кто. На то тебя и беру с собою, чтоб ты делал что я стану... Мы, значит, равные... Старость с юностью сходятся!..

— Ой ли! Так сходятся?.. — подхватил вне себя юноша, объятый незнакомым ему до того пылом. — И ты, дядя, со мной сойдёшься по-братски, значит?

— Теснее!.. Иной раз брат брату — сосед. А мне, старику бессемейному, ты вместо сына... На потешенье.

— И matka то же баит иной раз, а иной раз так на тебя взглянет по-волчьи, что бежал бы невесть куда... И все, слышь, что ржа железо, точит

меня: и пустоDOM-от я, и ветреник, и за дело приняться не умею... А я...

— Молодец хоть куда! — договорил дядя с особенною какою-то далеко не доброю усмешкой, как потом рассказала подсмотревшая сенная девка помещицы Лушка, да уж поздно было. Племяннику ничего не показалось и ничего не услышалось в ответе дяди, а, наоборот, он ещё больше выиграл своей явной потачкой и поддакиваньем, которые постороннему могли показаться даже подозрительными.

Впрочем, и не такому ребёнку, как Алешенька, могла речь дяди понравиться. Все люди, мало испытывавшие, бывают доверчивы, да и не было повода, чтобы возникла недоверчивость к родственнику, заявлявшему привязанность к близкому человеку, не имеющему никого из кровных, кроме сестры и её единственного сына.

Мать-помещица, в свою очередь, радовалась благоприятному впечатлению на брата, человека достаточного и бессемейного, Алешеньки. Казалось, он с первого же взгляда заслужил дядину любовь.

"Видно, впрямь кремень почуял близость расставанья с денежками... вот и пришёл в чувство?"

Не то представилось бы чадолюбивой матери, если бы призрачная надежда на наследство брата пеленой не застила бы ей глаза. Но человечество утратило бы все человеческое, если бы последствия были ему известны при начале предприятий и намерений.

Сам Алексей, как мы говорили, оказался пленённым ещё крепче матери немногими словами дяди и предательской чаркой, действие которой успело несколько рассеяться к возвращению хозяйки. Она задержалась, угощая приказных дольше, чем рассчитывала, и теперь гость уже готов был встать из-за стола.

— Приношу, сестра, поклон тебе на угощенье и челобитье об отпущенье.

— Сегодня, братец, не отпущу, как изволишь, а...

— Да я на боковую, по-христиански, хочу, сестрица, а не из избы вон...

— То-то!

— Не сомневайся... Сказал: ночью так ночью... Алёшу собрать надо время тебе... А без него не уйду и теперь. Помоги-тко, Алешенька, со скамьи

подняться да до светлицы добраться.

И сам, подав руку племяннику, вышел с ним, как будто Алексей вырос на его глазах.

Мать проводила их глазами.

Поднявшись на верхнюю повалушу, гость разлёгся на пуховике и предложил на другом, против, прилечь племяннику. Нужно знать, что помещица поместила гостя в Алексеевой ложне. Здесь для приезжего наскоро устроили было постель, и он уже провёл ночь, приготавливаясь разыграть душевную приязнь к юноше, ещё не видя его, а увидав, хитрец дядя, как мастер своего дела, совершил мастерски задуманное. Он разгадал мгновенно, на что бить прежде всего и главнее всего, обхаживая баловня-лентяя, который был самолюбием в мать, да без её ума и проницательности. Возбудить страсти в таком недоростке легче всего одним намёком.

— Лечь-то я лягу, дядюшка, а спать не могу, как хошь...

— И я не засну .. Говорить будем.

— И ты не прогневишься, что спрашивать стану, ответишь?

— Почему не так?.. Все, что знаю.

— Баил ты, будем ровни... и испить дал... из чарки...

— Что ж, не дурно ведь — сам понял?

— Хорошо, только спервоначалу жарко стало, а потом отвага така, слышь... просто на стену хошь лезть готов.

— Ну, почто... пострелу! ино ушибёшься; можно в другую сторону удаль поворотить... дай срок... Поедешь со мной — увидишь свет Божий... А здесь, со старыми бабами, во тьме коптишь, сердечный... А молодому человеку хочется гульнуть нараспашку... познание добра и зла изведать... Ведь научен ты, к примеру сказать, по Псалтыри?

— Не гораздо.

— Ну, а Часовник?

Видали и его... матушке, никак, привёз — в коже в красной — отец Дормидон из пустыни... Тольки я эту саму книгу не развёртывал, потому что не уставом писан, неразборчиво таково, а Псалтырь печатну

разбираем. Я больше люблю от старчества повести, как духи, змии, пустынников-старцев искушали... Ино в зверины личины оболочались, ино женским образом... всего пагубнее, говорится.

— Пустяки, брат Алексей, все это самое. Бабский обычай старцам не повелевается, а бельцам женитву закон предписывает, и чадорожденье похваляется... без того бы чем землю населить?.. А коли похваляется сожитие с женой, различать нече его — по закону аль так... не все ль едино?.. Ведь та же баба, что с окрутой по венечной памяти, заплатив за куницу, что сам, беспошлинно соизволишь... В патриарш приказ меньше ино дойдёт, а тебе все едино... На то люди и на земле, чтоб житейское творить... А без греха Бог один...

— Разумный ты человек, дядюшка... Впервой только слышу впрямь умны речи... Вон Андрей да Сенька Волокитины меня позавчера приняли, что называется, в два кнута... "Ты, — говорит Сенька, — Алёшка, младенчик, не смекашь, чего для и девки сотворены?.." Я что ж, известно, промолчал да похлопал раз-другой бельмами, а спросить было совестно у тех зубоскалов... Начал было, да запнулся, так на смех подняли. Матку, говорят, спроси... А как её спросишь? Ты — другое дело, такой милостливый... а она...

Старик расхохотался и долго не мог унять накатившую так внезапно весёлость. Заметив же, что Алёша плакать готов, подозвал его к себе и что-то долго шептал ему в ухо, делал руками разные знаки, причём юноша горел ярким румянцем и глаза его метали искры.

В заключение же, когда Алёша в порыве возбуждённой чувственности схватил дядю-рассказчика за руку, затрудняясь высказаться, последний сказал:

— Ужо самым делом научу, дай срок, как выедем отсюда, не откладываячи.

За тем следовавшие речи поддерживали в племяннике лихорадочное настроение, все больше и больше кипятя кровь юноши и доведя её к концу мнимого отдыха гостя до такого состояния, что Алёша уже не владел собою. От нетерпения вырваться из-под материнского попечения

вечер до ужина ему казался бесконечным, а ночь — последним испытанием, неизбежно жертвою, окупающею свободу. Отрывистые речи, нетерпеливая походка и скучливость сына не могли остаться не примеченными матерью, и она решила утром выпросить Алёшу, о чём говорил с ним и чего наобещал дядя.

Беспокойство матери, выражавшееся под конец вечера во взглядах на сына при каждой новой его выходке, отлично видел в свою очередь и виновник этой быстрой перемены в мальчике. И он, конечно, постарался немедленно принять свои меры, на всякий случай.

Когда улеглись они оба, в соседстве, и все замолкло, осторожный дядя, воспользовавшись невольным вздохом Алексея, завёл с ним следующие речи:

— Ты не спишь, никак?

— Да, дядюшка, — все думаю, как мы завтра поедem... как... что!

— Помни одно, Алёша: ни гугу! Узнает мать, что я тебе вольготу всякую посулил, чего ты у ней и не слыхивал, — ревновать меня почнет в любви к тебе... Да и, чего доброго, не пустит ещё... Бабы ведь с норовом... Больше их о ребёнке не заботься; молодца не балуй, не лелей. Тогда прощай надолго, коли не навсегда, воля молодецкая! И потерять её придётся за бабий же грех... за болтливость... Нишкни, одно слово... коли думаешь вырваться.

— Хорошо, что сказал, дядюшка... Хошь зарежь меня, ничего не выболтаю...

И оба заснули в этом убеждении.

Утром как Лукерья Демьяновна ни исповедовала сына, Алексей молчал и стоял, так тупо глядя, что материнская подозрительность успокоилась.

А там — сборы, окончательные. Молебен. Обед — и только звон колокольников под дугами троек от родного села по владимирской дороге, постепенно замирая, болезненно отдался в груди матери, потерявшей сына.

Мир теперь со всеми обольщениями готов поглотить Алексея. Елизар Демьянович, не тратя драгоценного времени, приступил к переделке племянника на свой лад с первых же часов знакомства. На привале, ещё до города, по совершении семидесятиверстного переезда, он устроил род паужина для подкрепленья сил. В знакомом доме у бабушки на погосте в несколько минут устроился стол, соблазнивший бы одним воззрением на обилие всякого съедобного самого строгого постника.

Алексей, подготовившись домашним обедом к трудностям далёкого переезда, не показывал особенного усердия разделить с дядюшкой богатства его походной трапезы. Елизар Демьянович, засев в переднем углу, потребовал, чтобы отец честной, домохозяин, благословил яствие и питание. Как видно, приглашение это для владыки дома было заобычное. Отец Герасим широким крестом осенил издали предлагаемое, присел и, словно по заранее обдуманной программе, занялся племянником своего угощателя, осведомившись:

— Для чего не касаешься, юнец, трапезы сея? Предлагаемое да едят...

— Не хочется, бабушка. Дома мы пообедали исправно и не спеша...

— Аще не алчба, жажда обдержит? — и, не спрашивая ответа, налил из плетёной сулейки чарочку, благословил и голосом, не терпящим возражений, выговорил односложное: — Пей!

Алексей было замялся, протягивая руку к чарке, но дядя на него взглянул в эту минуту как-то необычно. Взгляд этот был яр, дерзок, нахален и обольстителен. Пламя его зажгло в мальчишке мгновенно новые желания необузданной воли, более обаятельные и неотвязчивые, чем те, которые уже охватили ум его накануне, когда он в отсутствие матери принял первую чарку от дяди. Рука, схватив судорожно чарку, вдруг словно приросла к столу. Будто собственная воля отказалась довершить сделанное инстинктивно движение, скованная страхом неотвратимой беды. Лицо Алексея даже побагровело от крови, бросившейся в голову, а биение сердца перехватывало дыхание. Отец Герасим свой приказ "пей" сам машинально как-то привёл, не упуская времени, в исполнение. Подняв руку Алексея, приросшую к чарке, он направил её прямо в

отверстый рот сына Лукерьи Демьяновны. Как это случилось, он не помнил, и слова отца Герасима, сопровождавшие его действие: "Вся на пользу, с благословением" — отдались в его ушах, как бы одновременно повторенные невидимым хором на разные тоны.

Или напиток был крепок очень, или напор внезапных ощущений в свою очередь был силен и быстр, но только у Алексея в глазах все закружилось. Блеснула как бы молния, а за нею на мысли и на чувства лёг прозрачный туман, сквозь который все видимое представлялось в обворожительной форме приятности и новости для слуха и глаз. Каждое слово отца Герасима и дяди получало особый смысл, задирающий самолюбие и любознательность Алексея; а смысл слов обоих его собеседников был и сам по себе таков, что познание добра в нём на время уступало представлению зла в красоте, ему несвойственной. Мало того, слова "зло" и "порок" совсем не слетали с уст просветителей неопытного мальчика. Они о самом грязном выражались как об обычном и естественном порядке вещей и об узнании его на опыте — как о необходимом изучении жизни в её неизменных отправлениях.

Общность почерпнутого из застольной беседы в доме священника в незрелых понятиях Алексея Балакирева сложилась на первый раз в следующие три неизменные, как он поверил, положения жизненной практики обращения с людьми. Первое: делай все, что ты только можешь сделать безнаказанно и на что тебе укажут как на доставляющее удовольствие, второе: не высказывай — особенно перед матерью и теми, кто может довести до её сведения, — намерения проказничать, если в проказах этих видишь себе утеху. А утехи всегда больше в том, — хоть сам что придумашь или тебе подскажут, — что отличается от общих понятий весёлости и приятности. Наконец, третье и самое главное: служба царская — буквальное и строгое выполнение возлагаемых поручений и обязанностей для дураков одних. Для людей же с умом, к числу которых поп Герасим прежде всего причислял Алексея Балакирева и Елизара Демьяныча Червякова, служба должна быть делом только видимости, а в сущности битьё баклушей и протягиванье времени, —

чтобы делали другие, а мы торчали бы да глядели. Можно прикрикнуть, кстати, на тех, кто должен сносить подобные окрики, — нельзя же ничем не показать своего участия в деле! Только чтобы кстати это пришлось и, главное, вовремя...

— Куда ж, к чёрту, дворянину нос совать везде! — прибавил от себя как практикант службы Елизар Демьяныч. — Иное в башку-те просто, братец ты мой, совсем не лезет, да и понятия не имеешь... как и что?.. а стоять на деле нужно — велят. Стой, значит, и смотри.. А улучив время, крикни, к примеру сказать, только чтобы вреда ни для кого... Ино старший и намотает на ус, что, видно, толковит парень... А старшому, коли он столько ж, если не меньше твоего ещё разумеет, и молчанье твоё может иной раз не полюбиться. Молчишь, может, неспроста?.. Запримечаешь дурно, да вида не показываешь, с подвохом чтоб донос сделать, где что неладно?! А старшой, олух, не ведает и видом не видит.. И подумается: может, беда стрясётся, отколь не чаешь, коли под рукой умник. А коли крикнул подручный, — иной раз и невпопад, — старшой смекнёт это самое и спокоен: подчинённый такой же, значит, олух, как и он сам, и дальше носу не видит. Значит — не доносчик... Все и делают через пень-колоду... а дело самое — шито-крыто.

— Воистину так бывает, — умиленно возведя очи к образу, подтвердил отец Герасим. — Слушая тебя, Елизар Демьяныч, истинно, всю эту самую вашу дворянскую службу так и видишь наскрозь... как оно, значит, велось в старину, ведётся теперь, пока Господь грехи терпит, и, може, поведётся напредки, коли... молодой-от царь пообходится маленько от своей крутости, а то...

— Ну, что такое за "а то"? Сперва будет крут, а там как жар спадёт, коли подлинно спознает, что русский человек сам себе на уме, значит, проходим, — ко всему применится. Кричи и ногами топай, с кулаком подступай — он не поперечит — слушает. Спроси: "Сделаешь?" — "Сделаю", — ответит. "Понимаешь?" — "Как же не понять!" А сделает всё-таки по-своему.

Алёшу последние слова дяди привели почему-то в особенно весёлое

расположение. Он принялся хохотать и хохотал до боли в боках.

Поп и дядя умильно переглядывались и как будто ожидали терпеливо, пока дитя уходится, чтобы задать ему новую долю удовольствия, с целью, разумеется, дальнейшего привития понятия о добре и зле в сём тленном свете. Не успел примолкнуть Алексей, поглаживая бока, заболевшие от смеха, как растворилась из сеней дверь, и две девушки в ярких красных сарафанах вступили в избу. Одна держала деревянный поднос, на котором стояли две очень почтённых размеров братины; а у другой девушки в руках на блюде была сахарная коврига с тмином и другими пряностями. Угощательницы подошли к столу и поклонились низко Елизару Демьянычу, как видно хорошо им знакомому, и Алексею Гаврилычу.

Отец Герасим просил Алексея взять братину и поцеловать подносившую: — Так, государь-боярин, у нас обычай ведётся, исстари...

Алексей встал, трепещущими руками принял братину и от волнения, сообщившегося рукам, расплескал вино и ещё более потерялся от своей неловкости.

— Ничего, ничего... боярин... не имей сумленья... К добру — вино расплескать. Пророчит тебе: напредки что сыр в масле купаться будешь... между бабьем... удача. От призору только ты, Машуха, трижды поцелуй боярчонка...

Как опустилась братина на стол, как звонко чмокнула подносительница Алёшу, целуя в губы, и как из братины он машинально прихлебнул с нею, юноша уже не помнил... Сделалось ему только — чувствовал он — так хорошо и приятно, что все мысли и память внезапно словно вылетели из головы, а он утонул в приятности. Новость всего испытываемого играла, разумеется, главную роль в этом обаянии и удовольствии, возбуждая неведомую ещё мальчику жажду чего-то. Жажда эта была — чувственность, и обезумила его она не меньше вина. Оно же, в свою очередь, возбуждало если не воображение, ещё не разбуженное, то животные инстинкты. Что было далее — память Алексея не удержала в себе ничего, кроме поцелуев и питья из одной братины с

очаровательницею в красном сарафане.

Очнулся наконец Алексей Балакирев от своего забвения, но уже картина была совсем другая, и прошлое припоминалось как сновидение, запутанное, причудливое и оставившее по себе тяжёлое чувство недовольства. Дядя спал, издавая храп с присвистом. Сильная тройка лошадей несла повозку сквозь лес, который, судя по светлым точкам, прорезывавшим темно-дымчатый фон чащи на полосе горизонта, должен был перемежаться. Алексею же хотелось теперь, чтобы этот скок коней и полумрак леса подольше держались. Глубокие тени и заунывность глуши лучше соответствовали мрачности его душевного настроения в эту минуту. Он, если б мог, заплакал бы, и, может быть, слезы облегчили бы сердце, занывшее как перед бедою. При взгляде на спящего дядю, голова которого раскачивалась от движения, а на полураскрывшихся губах блуждала неопределённая улыбка не то насмешки, не то нахальства, очнувшийся племянник вдруг почувствовал злость, сам не зная её подлинной причины. И чувства эти, неведомо откуда навеянные, испытывал почти ещё мальчик, который по младенчеству своему и незнанию света и людей не мог все осмыслить. Однако чем-то неведомым он был недоволен и не мог успокоиться, погружаясь вновь в забытье. Алексей не осознавал ясно, что с ним происходит или произошло, но перемену в себе чувствовал, робел и чуть не трепетал с каждым поворотом повозки по зигзагам городских улиц. Как очутились они в городе, Алексей не заметил, занятый собою и своим недовольством. Но вот — путешествию конец, должно быть, кучер остановил лошадей и сошёл с козёл. Вот он расталкивает бережно Елизара Демьяныча, будя и повторяя громко над ухом его: "К приказу доспели!"

Спящий очнулся. Вылез из повозки, не без труда и кряхтения, при помощи возницы, и велел Алексею выйти и следовать за ним.

Они встали перед кирпичным строением, напоминавшим больше всего монашеские кельи с выходными дверями между каждыми двумя-тремя узенькими оконцами со вставленною слюдою или с пузырьём. Из дверей входил и выходил народ, торопливо о чём-то переговариваясь. И Алексей

с дядею прошли за другими в одну из дверей в сени, а оттуда — в избу, полную народа. Говорила разом сотня здоровых голосов; толпы стояли около столов. К одному из крайних столов подошёл Елизар Демьяныч и тронул какого-то дельца за плечо, в то же время положив ему через плечо на бумагу сколько-то серебряных мелких монет.

Проворно куда-то смахнув их, делец со словами: "Добро пожаловать!" — взглянул вскользь на Елизара и Алёшу и лаконически выговорил, не глядя на Балакирева:

— Недоросль! Как имя и сколько от роду?

— Алексеем зовут, стряпческий сын, Балакирев.

— Куда внести? — задал вопрос делец уже дяде.

— Да нельзя ль нам с племянником в один жеребей, на лесосеку... поукромней.

— Лесосеки, Елизар Демьяныч, у Александра Петровича поспрошай; он велел к себе посылать. Заверни-ко в казенку, он таперя-тко отдыхает... Я тебе, родимый, как есть поноровлю, по старинному твоему неоставленью нас. И парнишку с тобой впишу, все едино... А к самому — по дружбе открою — без десятка ефимчиков не подходи... коль говорить пожелаешь... Это перво-наперво... А затем он те скажет: сколько, за что и как доложить придётся...

— Тяжёленько, да делать нече... Племянник пусть у тебя побудет, Истома Фадеич.

— Пусть постоит... не прогоним... Только ты скорей: кончаем всенепременно сей вечер... Наутро пошлём списки на Воронеж, в шатёр государский. По лесосекам, окромя тихососенских, все, почитай, порешены...

— Спасибо, что наставил на ум... Стой, Алёша... Я ненадолго...

И дядя скрылся в толпе, так что Алёша не заметил, в которую сторону, только не в двери. Елизару Демьянычу пришлось сделать всего два шага к печи, занимавшей большую половину левого угла мрачной комнаты, где помещались приказные дельцы и куда приходили просители. За печью был узенький проход в казенку с красною

оконницу в три шага вдоль и столько же поперёк. Но и эта клетка по условиям места и времени представлялась обширным кабинетом для особы начальника. В те времена на Руси размеры каменных жилых помещений были чересчур малы, и для одной особы девять квадратных аршин было очень обширным пространством. Тогда в палате трех саженой длины и двух с половиной саженой ширины сидели по двадцати приказных за пятью-шестью столами, из которых к каждому должны были подходить люди сторонние; да под столом и около стола нужно было держать дела на столбцах в коробьях разной величины.

И в каютке начальника были книги и столбцы да висела одежда его. Единственная лавка служила не просто для сиденья за работою, но и постелью для отдыха. Стоило развалиться на полавочнике, и привычный к передрягам делец чувствовал себя в покое, удобно. Александр Петрович Протасьев — покуда думный дворянин и затем окольный, кончивший карьеру ссылкой за взятки, — систему поборов с просителей довёл до утончённости истинно художественной. Если он не писал, то, постоянно лёжа на лавке, принимал просителей, бесцеремонно обходясь со всеми и прямо заявляя свои условия.

Голова Елизара Демьяныча приподняла сукно, служившее завесою, скрывающею от нескромных очей внутренность казенки начальника, который, как и приказные, проводил в ней всё время от утра до вечера. Протасьев, лёжа брюхом на полавочнике, кивком головы пригласил посетителя наклониться к себе. Не спрашивая его ни о чём — потому что говоренное за печью в казенке было слышно отлично — забарабанил ему вполголоса, скороговоркой:

— У нас тихососненские ходят от шестидесят пять до восьмидесят. С сотни подвод прикладывается по три алтына, за десяток в неделю... За людьми не стоим: бери сколько хошь, и дворян такожде, окромя стряпчих... А внеси чистоганом наперёд по расчёту, да подписку отберём, что указ великого государя вычел и сведом ты, имярек, что требуется....

— Нам бы с руки была середня плата... семь десятков могим, а насчёт подвод не можно ль оттулева, с места выправить по записи, сколько

брать в нашу версту.

— Не мы, голубчик, тамо правим... Коли бы нашенские участки были, мы бы... все едино... а выпускать сокола без простриги — поминай как звали... Берём сполна по сему по самому вперёд... И спускать нече... дело любовное... По расчёту на участок, в одну выть — пятнадцать подвод — сорок пять алтын в неделю. Да на рубку по указу, в двадцать недель с полуседмицею, шестьдесят три ефимчика выложь. И дадим тебе наряд, как есть чистый: людей забирай и подводы, и на работы ставь, и деревья вывози как сам знаешь. И приёмщики тебе ни синя пороха, застреки не учинят; и в вашу сторону ни один рассыльный не заглянет, и все, что пришлётё, примут без запинки... Нам, значит, дал, что должно, и мы... не олухи, не бездельники, не огурщики ... Бога как есть помним, по-христиански.

— Так-то так, да тяжёленько за один раз, — ответил тоже шёпотом Елизар. Протасьев перевернулся на другой бок и замолчал.

Елизар попробовал шепнуть в ухо неподатливому вымогателю:

— Половинку нельзя ли теперя, а половину...

— Мараться не стоит, — сквозь зубы процедил Протасьев и ещё раз перевернулся.

— Коли все, что с собою есть, выложу... все не хватит... — с отчаянием высказал Елизар и поник головою.

— Привези из дому чего не хватит... нам все едино; а коли дома нет — чего ж суёшься?.. Намеренье есть с лихвой зашибить, а поплатиться неохота... Вот и знай проходимов!.. — словно правый, с сознанием достоинства закончил Протасьев.

— Верь Богу, милостивец, в мошне ни шелега больше сорока восьми ефимчиков... А в полсотню нельзя ль землицу с леском поставить?

— Не след бы нам в такую мелкоту пускаться... а буде вправду недохватка, так уж, жалеючи тебя, по отказной памяти два ста четых за пятнадцать рублёв возьму... Что с тобой делать!.. Не хочется истинно тебя в затрудненье оставить...

— Не могу в точность сказать: два ста аль с лихвой, никак, ещё будет

землица племянникова, от сестры отцовская часть... Балакирева Алексея... что в одну версту со мной, к себе беру его под руку.

— Почему не так, коли даёте, ты али он — нам все едино. Вели Фадеичу настрочить, а Лукаш, земской, изыщет с отказчика положенное по новоуказным статьям и справит как следует на нашу хозяйку. Федосью Протасьеву Александрову жену Петровича...

— И так можно...

— Истома! — Голова дельца показалась из-за сукна. — Елизар Демьяныч с женой моей о спорной земле и покончили на том, что ей, Федосье, владеть половиной, двумястами четьи в поле с лугами и санными покосами, бесповоротно... Напиши, со слов отказчика.

— Ино можно и племянниково имя проставить?

— Можно... Коли он подмахнёт... Грамотей он у тебя?

— Умеет руку приложить...

— Ну и пусть... Да лесосеки пай любой на Тихой Сосне закрепи на имя его, Елизара, с племянником Алексеем и наказ один двоим дай, за рукоприкладством на памяти, в царский шатёр, по нашему повытью ...

— А на чернила да чтоб рука не изменила... сколько, Елизар Демьяныч, накинешь? — спросил Истома.

— Из балакиревских десятку четьи, голубчик, больше не могу... Надо и парню оставить отцовского, до своей заслуги, коли сможет...

— Так и быть... а, сам знаешь, маловато... письма, братец ты мой, пропасть...

Елизар промолчал и полез в карман. Протасьев насупил брови, и голова Истома скрылась за сукном. Александр Петрович перевернулся лицом к Елизару и подался на полавочнике назад, оставив перед собою место чистое. Елизар стал класть полудюжинами немецкие талеры, называвшиеся ефимками. Выложив восемь раз по полудюжине, он вздохнул, поклонился и показал, что кошель пуст.

— Делать нечего! — с интонацией добродушного соболезнования выговорил Протасьев, смахивая кучу талеров в кису шёлковую, на вздёржках прицепленную к углу скамьи между стойками.

— Счастливо оставаться, Елизар Демьяныч! Всё будет так, как хотела твоя милость. Знай наживай, не зевай, а нами останешься доволен! — и Протасьев облапил, расцеловал и благословил даже большим крестом Елизара, отпуская на доходное дело, которого выгодность у него расчислялась по пальцам.

Елизар подошёл к столу, за которым писал дьяк Истома отказ десяти четьи для себя, видимо торопясь этою работой.

— Готов один отказ! Он подмахнёт и так? — показывая глазами на Алексея, молвил делец Елизару.

— Да! Алёша, садись и подпиши, как тебя величают, и прозвание выпиши полное...

— Не гораздо я, дядюшка, вывожу кси это непутное, — нельзя ль како с словом?

— Пиши как придётся ловчее... все едино, лишь бы прочесть можно: Алексей Балакирев, а не Андрей Бурлыкин...

— А для чего мне писать? по службе что?

— Начинать службу, Алёша, надоть, и где ни служи, везде благодарность нужна: сухая ложка рот дерёт... Я тебя делаю своим наследником, значит, моё — твоё, а твоё — моё! Понимаешь? Требуется дать на братию, что нам жеребьей лесосеки дали на царской службе: в кумпанствах заготовку леса на Тихой Сосне, в борах... Там работать будут на нашем паю пятнадцать подвод да тридцать рубщиков... а мы с тобой — хозяева, набольшие. Почествовать его милость государя думного негоже малостью, вот из твоих... то есть из моих, буде бы я тебе не передавал своего поместья... и уступаю я два ста четьи в поле.. А на отказной ты подмахни: "Алексей Балакирев", — значит, моё все отныне и довеку — твоё...

— Ой ли! Ай да дядюшка!.. вот, значит, душа!.. И этот мужичок нам исправит... твоё — за меня-то?

— Как же!.. ещё бы!.. это своим чередом, а теперь пиши покамест, как я тебе говорю...

— Ужо я те покажу мужичок какой я тебе дался, щенок! — сквозь зубы

процедил обидевшийся дьяк Истома, ехидно глядя на глупенького Алексея, покуда тот выводил "аз" и "люди" и задумывался над выражением звука "кс".

Наконец, впрочем, он поставил проворно какой-то ни с чем не схожий выкрутас и дальше без затруднения уже проставил буквы фамилии своей.

— И здесь ещё подпись должна быть тоже, Алексей Балакирев, — внушительно твердил Истома, подсовывая свою отказную на десяток четьи.

И эта память украсилась каракулями Алексея.

Истома велел утром явиться одному Елизару за наказом и отпустил дядю и племянника, успевшего прочесть отказную жене Протасьева. Слово "двести четьи" крепко врезалось в его память, и не давали ему покою слова "из моих отцовских".

Выйдя из приказа и садясь в повозку, чтобы ехать на постоянный двор, Алексей хотел тотчас выпросить дядю, но вид дяди был не просто суров, а гневен. На бледном лице его глаза горели в полном смысле зловещим пламенем, нижняя губа судорожно подёргивалась, и весь вид его выражал бессильное бешенство. Он беспрестанно плевал и шептал какие-то угрозы; с языка старика беспрерывно срывались бранные слова: "вор, разбойник!"... и вслед за ними, шёпотом: "уничтожу... выведу на свет Божий... мошенники!"

К кому относились эти слова, понять не мог Алешенька по своей ограниченности и непониманию жизни; не мог он понять даже самых отношений к себе благодетеля, под видом благотворения отнимавшего у него последнее. В эту минуту дядя внушал племяннику безотчётный ужас, и впечатление его не скоро потом забылось. Так что страх сковывал уста Алёши, мешая ему спросить дядю — как разуметь следует отцовские земли, если он наследник его, Елизара?

На постоянном дворе вечером повторилось угощение Алёши крепким вином из братинки, и опять не обошлось без дивертисмента со вводом певиц и плясуний, позволявших себе много такого, от чего тогдашняя

женщина даже не строгой добродетели сгореть могла со стыда. Но стыда не знали, кажется, или забыли о нём совсем служительницы кабацкой Терпсихоры. На этот раз увлекали они не раз Алёшу в свою живую кавалькаду, приводя его — похлопываниями да подхватываньями в бурных движениях — в какой-то неизвестный ему задор, прибавлявший отваги. Он и сам принялся откалывать коленца — избоченивался, выдвигая брюхо, притопывая каблучком, и с ухарскою бесцеремонностью хватал то ту, то другую плясунью... Дядя, как знаток дела, при каждом подобном движении расходившегося племянника возбуждал в нём ещё большее рвение на такие подвиги ободрительными возгласами: "Ай да Алёха! Ухарь!.. молодчина!.. точнёхонько как я в старину... не сдавай... забирай дальше!.. Вот так, вот так!" Даже один раз засвистал Елизар Демьяныч, выделявая совершенно птичьи трели. Густою дробью раскатывался свист, от которого мурашки забегали у Алексея по коже. Наслушавшись от няньки былин и сказок, Алексей невольно подумал вслух: "Точнёхонько Соловей-разбойник". Дядя взглянул многозначительно и улыбнулся. Но свист, должно быть, был неспроста, потому что сердце защемило у Алёши, расшевелив в нём побуждения, бросающие в жар и холод. В глазах у малого потемнело и в ушах пошёл такой трезвон, что чудилось ему — заходил пол ходуном. Струя горячей крови бросилась к мозгу, и дыханье занялось от ускоренного биения. Инстинктивно, произвольным движением руки он силится оттолкнуть от себя плясунью и остановиться, но она хватает за другую руку, а её подруга обхватывает стан мальчика, и кружатся все ещё в более бешеном коловороте. Силы почти оставляют Алёшу; но дядя передаёт плясунье братину, и она ловко вливает в раскрывшийся рот молодого человека такое количество животворной влаги, что по жилам — чувствует он — разливается огонь. Он себя не помнит...

Дядя хлопает в ладоши и стучит по столу, словно не владея собой, а у племянника все предметы прыгают в глазах. Стол и скамьи словно кружатся, и Алексей, теряя равновесие, падает, увлекая за собою скатерть со стола и шандал с восковой свечой, освещавшей избу.

Наступает мрак, и лежащий Алёша чувствует, что его покрывают поцелуями чьи-то горячие уста и жмут его руки чьи-то пламенные руки.

Дальше он утратил сознание.

Очнулся после оргии Алексей опять не рано, при дневном свете. Ощупал вокруг, не раскрывая ещё глаз, и чувствует — кто-то спит подле него на ковре. Открывает глаза и видит женскую голову на его подушке. Припоминает вчерашнюю пляску и убеждается, что подле него плясунья. Где же дядя и зачем она здесь очутилась? Страх отчего-то берет Алёшу. Ему теперь хочется уйти отсюда поскорее. Не без труда выползает он из-под груза одеяла, подбегает к двери — заперта. Он начинает кричать — дверь не отворяют; а крик его будит спящую, и она начинает его кликать дружески:

— Алёша, Алёша!..

Молодой Балакирев сел на скамью и поспешил набросить на себя кафтан, ничего не отвечая, хмурясь и совершенно теряясь в неловком своём положении.

Бесцеремонная ночлежница тоже встаёт и, в чём спала, садится подле Алёши. Начинаются непрошенные нежности, уверения, что юноша привязал её к себе ей самой неведомо как. Мальчик пятится сначала от потока нежных слов и отстраняет руки, силящиеся обнять его, но мало-помалу уступает. Вдруг растворяется дверь, и является дядя, несколько не удивлённый сценою и словно не замечая, что племянник не один. Мальчик сперва поражён неожиданностью, потом сам начинает говорить и оправляется от смущения. Вносят угощение. Едят и пьют, как будто ничего не случилось и все в порядке.

— Подкрепимся, и ехать пора к месту. В приказе я был, пока спал ты, — объясняет Елизар Демьяныч. — Вот и наказы и памяти, — показывает он кипку мелких листков бумаги с выведенными в строку каракулями.

— А до завтра нельзя остаться? — спрашивает вдруг племянник тоскливым голосом.

— Ни! Ни часу нельзя промедлить... Воевода ведь здесь!..Город! Как дали наказ, так и пошёл...

— А домой-от когда же, к матушке?..

— После.. Прежде на работы нужно глаза показать да присмотреться, как там и что такое деется.

— А-а?! — И этим "а-а" поперхнулся словно Алёша. Он низко опустил глаза и тоскливо кивнул головой в ту сторону, где сидела ночлежница.

— Грунька после нас навестит.. Не леший её съест... Твоя же будет, — смеясь, заверил Елизар Демьяныч.

Слова его покрылись звонким смехом особы, величаемой Грунькой.

— То-то же, — прибавила она, глядя своими бойкими глазами на грустного юношу. О мыслях его самого при спросе ни она, ни дядя, как видно, не считали нужным больше осведомляться: того ли ему хотелось?

А если бы кто спросил теперь Алексея Балакирева о причине его невольного вздоха, то услышал бы совсем не подходящее к словам Елизара Демьяныча и Груньки. Этот вздох, вылетевший у юноши при словах дяди, говорил скорее о нежелании видеть подле себя почти неизвестную ему особу. И присутствие её, навязанное дядею, было для него злом неотвратимым и страшным. И он сам своим ещё детским умом не понимал, как все это сложилось, а уж тем более не способен был сам все устроить. Однако ласки навязчивой подружки и жгучий напиток сделали своё дело, и когда, подкрепившись, дядя и племянник уезжали на службу царскую. Алексей на прощанье чмокнулся не раз с Грунькой — совсем по-дружески. Ни он, ни дядя не возражали её заверениям, что она не замедлит своим посещением и намерена гостить в лесах на Тихой Сосне. Алексею, впрочем, и в голову не приходило ещё ничего подобного, просто потому, что он не успел составить никакого понятия о житьё-бытьё в лесах. Одна мысль, что там будет, заняла теперь вполне весь ум молодого человека, не оставляя в нём места ничему другому. Подавленный близостью нового положения, Алексей, сидя подле дяди, с ним даже не заговаривал. Он упорно смотрел слезящимися глазами в тёмную даль и не замечал движенья повозки, прыгавшей по набросанным как попало соснам, тут же срубленным и погруженным в топкую грязь. Лошади шли неохотно, но ступали бережно по неровностям древесных

стволов, выбирая твёрдую точку опоры для копыт и избегая наступать на торчащие из грязи скользкие ветви ельника. Скука перехода через топь ещё больше усилила тоску Алексея, и он не мог удержаться от плача. Услышав начавшееся хныканье, дядя не выдержал уже и сердито окликнул:

— Это что ещё? Не прикажешь ли, государь Алексей Гаврилыч, матушку кликнуть слёзки утереть? Дурень! Я ведь везу тебя на службу царскую, а не замуж отдавать, ко гневной свекрови... Нужно на деле стоять да уметь приказывать и взыскивать, а не рюмить. Воют тогда, как бьют, да и бьют — выть не велят Выбрось из головы бабьи бредни да будь дворянином, как есть молодцом! Уж не мальчик теперь, коли Груньку спознал!.. Нужно дело говорить человеку: как и что требовать на работе, а мальчишке-рюмекакое дело втолкуешь, коли он раскис до того, что слез унять не может, сам не знает, за что и про что!.. Слушай! Как приедем, перво-наперво найду я наш участок и приёмом займусь, людей и того, что надо для рубки. Коли шестьдесят с лихвой ефимчиков отдал Протасьеву, значит, нужно выручить втрое и сообразить, которое дерево в нашу пользу пойдёт при рубке и сколько подвод на вывоз на свой пай лесу употребить. Да и выбрать неприметную тропку в объезде. Счёт-то ты смекаешь, к примеру сказать, за сотню?

— Чего сотню, дядюшка... ино орехом у Поликарповых с ребятами в кучки складал я попрёжь других по шестидесят и по семидесят.. а дальше...— Он замялся, видимо затрудняясь, а дядя вновь ехидно засмеялся. Злость его разбирать стала теперь, уже ничем не сдерживаемая.

— Экого олуха сестричка выкормила! Бессчётный дурень!.. до семидесят чтёшь... эку вяху молвил!.. А перстов на руке сколько — решишь? Не тебе стало реветь, а мне, старому дураку, что нянчиться придётся с тобой, олухом. Заруби на носу, болван, что семьдесят да десять — восемьдесят люди называют, а к восьмидесят десятков — девяносто будет, а девяносто с десятком — сотня... Крепко это запомни... Без того пропадёшь на службе. Счёт первое дело знать... Слышал?

— Слышал, дядюшка, — ответил Алексей, уже не плача.

Счётная мудрость затронула его любознательность. Природный ум у него был неплох, да неведение, круглое до сих пор, не давало случая изощрять врождённую сметливость.

— Баишь ты, семь десятков с десятью — восемь десять, а восемь десять с десятью — девяносто; а к девяти десяткам десять придать — сотня целая... К примеру сказать, — прибавил уже радостный от неожиданного расширения знания своего Алексей, взявшись за большой палец левой руки пальцами правой, — это десяток, один, это два, — молвил, захватив второй палец. — Так — тридцать, к примеру, — держась за три пальца, — а так — сорок, — взяв четыре. — А вся пядень — полсотня. А так шесть десяточков, — и сам торкнул пальцем правой руки в ладонь левой, — Этак семьдесят будет, — повторил то же действие двумя пальцами, приложил три пальца к левой ладони и выговорил: — Восемьдесят уж! А эва — девяносто, — соединяя ладони, подогнув большой палец левой руки. Разогнув его, соединил обе ладони, крикнув: — Сотня целая, значит!..

Как ни сердит был Елизар, а улыбка одобрения мелькнула в углах рта его. и он прошептал, успокаиваясь:

— Сладим как-нибудь.. Смекает, так направить можно — не дерево в самом деле.

Урок счётной хитрости был сделан как нельзя более кстати, и пища для юного ума Алексея, предложенная в форме грозного наказа, дала направление мыслям молодого Балакирева в полном смысле дельное. Он уже под напором новых побуждений забыл тоску свою и стал озадачивать дядю запросами, доказывавшими, что мальчик способен быстро схватить всякую мысль. Да ещё он успевал сразу так поставить вопрос, что ответ на него давал нить для полного уразумения предмета, за минуту ему неизвестного. Путешествие, таким образом, приняло недуманно-негаданно совершенно иной характер — наставительный на дело, а не портивший, как нужно было дядюшке-наставнику, задумавшему сделать из племянника раба развратом.

В три дня, хотя и по скверным дорогам, отъехали путники от Владимира больше шестисот вёрст окольными лесными путями, направляясь через бывшее рязанское княжество. Они уже вступили в область воронежских лесов, оставив в стороне дикие поля тамбовские и реже встречая посёлки. Дороги, впрочем, оказывались более людными, чем в населённых местностях. Приходилось обгонять небольшие ватаги пешеходов, топорников, редко сталкиваясь со встречниками. Все показывало близость случайного сгона народного на окраину. Ясно было, что не произвольно и не навсегда. Кое-где стали попадаться и обозы с домовыми запасами, сопровождаемые двумя-тремя жожаками из дворянских поместьев.

Дорога, слабо проторённая, беспрестанно меняла ширину и направление, делая колена в обход топей и наталкиваясь в конце угла на какую-нибудь естественную приметку. Вот белеет издали расщеплённая осина, вырезываясь на мрачном фоне векового бора. А тут громадных размеров пень на каменистом косогоре, обросший молодым тальником, кажется прикрытою обрывками ковра травяного цвета головою великана, започивавшего в глубине леса. Вот издали несётся не то гул, не то топот, смешанный с говором громких голосов. Ближе и ближе. Можно различить голоса даже. Скачет, десятка в три, кучка всадников. Нагнали они повозку дяди с племянником и перекинулись на лету двумя-тремя возгласами. Признали Елизара служилые люди, и он опознал знакомых. Это были десятники, посланные впереди Протасьева на Воронеж.

Пропустив эту ватагу Елизар Демьяныч сказал племяннику:

— Ещё разве будет один ночлег взят до Вороны реки, где временный шатёр воеводский. Ты, Алёша, теперь знаешь, как и что... Понял?

— Как же, дядюшка!

— Сумеешь развести людей, как — я те рассказал — делается обычно?

— Не забыл, известно. Мужик от мужика в десяти шагах, а подводу от подводы — на тридцать шагов. А в ряду ставити на полтретья ста шагов больших, мерных, а...

— Ну довольно. Вижу, не запоматовал. Так точно наказ повелевает, буде

препятия особенного не встретится и люди придут на срок, и недостачи ни в чём не окажется.

— Бude препятия особенно не встретится...

— Это не повторяй за мной, а памятью про случай, а главное, остро гляди, изобразив десятников, чтобы не воровали и нам за огурство таких воров в ответе не быть... А паче нам свой барыш наблюсти, не впротор делу да набольшему не в примету, чтоб доля ещё не давать, кроме срывки во Владимире — на приказ и на воеводу. Здесь приставники жадный народ тоже, да не в пример легче городских обирал... Известно, свой брат же... коса на камень находит, а перемочь нашего брата сквозника, что смекает по первому слову, куда ему? У меня, к примеру, ничего не усмотреть, коли бы сам везде был. Новик учнет придирается к пустякам, думая горлом взять, я же ему дело говорю, а своим глазами знать даю, что делать наперёд. Все показывается шито да крыто... и на месте. Уж уговорено все, кому сколько и за сколько лесу моей рубки; в одно место везут, а в другом оставляют. А за оставленным в своё время приезжают сами и... берут. У меня рубщики и лес даровой; значит, за что ни отдашь — все мне чистый барыш; а им чем дешевле достать, тем лучше... А торговым сотням струги выставять из своего лесу, стало, покупать приходится... Вот в чём самая суть... Вот на чём я ворочу своё, что вперёд переплачено думному да дьяку! Правда, взяли они да путь показали: как и с чего ворожить... На то с дельцом истовым и приятно дело вести. Дать-то всякому приходится, а от дельца-то с походом воротится... Это, Алёха, главное, смекай. Умный человек Александр Петрович, за то и думный теперь... и вотчин понакупил страсть... И Истома такой же; у него в посуле верная мера: чтобы двести нажить — двадцать ему подай. А сумел не двести, а триста слупить — все твоё!..

Алексей из бесед дяди во время дороги понял хорошо всю утончённую науку хапанья без страха и трепета по премудрому правилу: коли ты не возьмёшь — другие хапнут. А кто ж себе враг?.. На то и велика казна царская, что всем бывает от неё пожива и хватает на все... Хватит, значит, и на наш пай.

Царь Пётр Алексеевич задумал дело новое: флот соорудить общими жертвами со всех сословий. Посошников и топорников нагнали со всех концов обширной Руси: рубить на сооружение сотен судов из непроходимых лесных пущ — без счёта сначала и без меры. Ни сметить количества, ни приладить спервоначалу штуки длиной и шириной и обхватом, куда какая требуется, никому в новом деле и в голову не приходило. Изловчается человек примером да опытом. Советники царские, раскладку на всех судовую размечавши, одно рассудили: дворянство людей с поместьев выставить на работу, пожалуй, может; и люди эти могут отработать урок на своём хлебе, бесспорно. И деньжонок, алтынами накидывая на число дворов, собрать можно мастерам на жалованье; но — не больше. Стало быть, лес должен быть для вотчинных работников и для поместных — казённый. Власти духовные в ту же статью идти могут, и с монастырями. А посадские деньги огребают со всего в торговле — могут и лес купить, и мастерам, при деньгах в кармане, переплатить больше. Да и поприжать не мешает аршинников-грабителей, благо случай есть. Раскладка утверждена. В приказы и по городам послана для исполненья. Приказные получили и смекнули: на чём, выполняя строгий наказ, поживиться можно. А затем — мы видели выше — тонкий делец по своему времени Александр Петрович Протасьев у себя и таксу завёл с дворян, вызываемых в надсмотрщики и пристава при рубке.

За посулу ловкий дьяк доброхотным давальцам, вроде Елизара Демьяныча, открывал и цель побора, и средства воротить внесённое, да ещё и с лихвою; будь только сам плутоват, расчетист да оборотлив. А все эти качества, так сказать, тонувшие в море ненасытной жадности, были основными стихиями характера Елизара Демьяныча, мгновенно сообразившего и ещё быстрее решившегося действовать. Алексей взят был им преимущественно для того, чтобы за счёт его отцовской части расплатиться с приказными, да и в случаях дальнейшей надобности прибегать к этому источнику. Это ему удобно было сделать, развратив племянника и приохотив его к наслаждениям, а для того он должен был

усыпить его совесть и все чистые побуждения и выставлять пороки за обычные явления, свойственные людям, действующим по своей воле. Всякое дело представлять умел мастерски своему племяннику Елизар Демьяныч только с одной стороны: грязи и зла. Целью любого дела он видел только одно: захват в свою пользу и нераздельное владение, не гнушаясь при этом ложью и низостью. Истолковывая требования службы, он учил всеми хитрыми уловками отводить глаза от своих корыстных действий, заставляя работать земских работников прежде всего в свою пользу, а на государственное дело уделять лишь десятую долю добытого лесного материала.

Объяснение наше должно представить в настоящем свете злую науку жизни и службы. Наука эта, преподанная хитрецом дядей неопытному, несмышлёному и легко все ухватывающему Алексею, была так зловеща, что нетрудно догадаться, куда она могла привести его. Курс же превратного понимания жизни, её цели и стремлений прочитан и усвоен понятливым учеником во время пути ещё к месту будущих подвигов.

Была пора весны, согнавшей снег, но ещё не успевшей развернуть листа. В лесах, граничивших с раздольными лугами юга, вдруг наступили жары днём, а с наступлением вечера — туманы от пара оттаявшей земли. В такое время года открываются в глубине леса такие тропки, которых летом и не заметишь за роскошным зелёным убором ветвистых дубов и ясеней. Две эти породы деревьев в обилии попадались на участке Червякова и его племянника, Алексея Балакирева. Елизар Демьяныч в зимние месяцы успел привести в исполнение почти все свои замыслы о наживе, в надежде на которую он сунул Протасьеву немалый куш вперёд. Внося же все, что выговорено, он небоязненно работал на свой пай, открыто рассылал посадским кумпанщикам казённый лес на казённых земских подводах да по расчётным биркам получал все, что причитало, без задержки. Он был такой человек, что, устроив дело, думал только о наживе, о дальнем не заботился, только по мере расширения дела ещё настойчивее повышал цены на свои услуги. Он не заботился о том, как о нём будут думать люди, вступившие с ним в сделку и видевшие только

усиление поборов его и невозможность отделаться от кулака. Это, впрочем, общие невыгоды дел с кулачеством, которое, заботясь о быстрой и как можно большей наживе, вызывает неудовольствие обиженных и желание отплатить, разумеется, тою же монетою. Ещё больше озлобления возникает против кулака-монополиста, каким по случайному стечению обстоятельств и вследствие своей удивительной способности захватывать везде оказался для кумпанщиков Елизар Демьяныч Червяков. От неудовольствия дошло до открытого ропота и ожесточённой брани со стороны несчастливцев, принуждённых пользоваться его услугами. А худая молва — говорит пословица — далеко бежит, и успела она в короткое время дойти до ушей Сашки Меншикова, наушника царского, которому доносили — где что неладно, не служилые, конечно, люди, обделывавшие дела заодно, при общем дележе, а обираемые посадские. Узнал Сашка, что изворотливый и юркий Александр Петрович Протасьев всему злу голова, а лучший человек по его отзыву Елизар Червяков — мошенник и грабитель, каких мало, даже в то горячее, неразборчивое время. Сам же Червяков при начислении себе барышей способен был всех меньше к осторожности. Жадность в нём, однако, равносильна была животным побуждениям и жажде наслаждений в его вкусе, причём бабы и вино играли первые роли. При благоприятстве судьбы, сыпавшей в кошель щедрую и непрерывную подачу вымогаемых алтынов, совсем, можно сказать, оскотинился развернувшийся кулак. В мыслях своих он насчитывал с дерзкою отвагою тысячи и тьмы алтынов и не жалел тратить на кутёж. А тут и случай вышел раскошелиться во всю варю. Грунька выполнила обещание и привезла подругу. Они приехали гостить в лесах и радовать деятельных поборников хапанья, подвизавшихся уже тринадцатый месяц в пустыне, где с раннего утра раздавались мерные звуки топоров, крики рубщиков и команда носчикам. В самой лесной чаще, углубляясь в неё по мере вырубки, заседал распорядившийся делом рубки и вывоза приказ в лице Елизара с племянником. Они рассылали указы свои через двух подьячих, имелось ещё не один десяток урядников Елизар и Алексей

отдавали распоряжения словесные, дьяки писали, урядники счёт вели и наряжали из подвод обозы, вёзшие лес по назначению. Прибытие Груньки нарушило обозный деловой порядок. Неожиданным появлением на сцену бабы возбудили, разумеется, сперва удивление, а потом расспросы, шутки и балагурство очень недвусмысленного свойства. В этом оказывался неистощимый ум Елизара Демьяныча. Алексей в три месяца дядиного воспитания стал уже другим человеком: понятлив стал на плутовские штуки, а необузданным животным побуждениям дядя приучил его отдаваться без стеснений, сам подавая во всём пример.

Подьячие по случаю приезда гостей удалились сами работать на свой пай, получив наказ вести дело и доложить после, благовременно. После первых с гостями шалостей — совсем не к лицу и не по летам — у Елизара Демьяныча в разгулявшемся воображении мелькнула мысль разом двух бобров убить, распотешить приказчика Змеевской засеки да стрелецких голов, содержавших лесной объезд. Могли ведь они, в случае неладов, захватить вывозимый лес для торговли с кумпанщиками. А промедление здесь в один только день в горячую пору могло лишить кошелёк Елизара Демьяныча недельной выручки, то есть заставить даром проработать неделю, внося за неё сборщикам Протасьева что следует. Такие нужные люди, как объездные головы, были к тому же сами хлебосолы, порой наезжали к Елизару, где угощались до отвала, а иногда сами угощали искушённого жизненным опытом старца наиболее ценным им развлечением в пустынном лесном пребывании — песнями бродячих цыган. Разумеется, оставляли они у себя долее прекрасный пол из табора, выпроваживая мужчин да старьё заблаговременно. Как не показать таким угодникам своего радушия и готовности отплатить приглашением на пир? Здесь царицами праздника должны быть Грунька с Фенькой, героини-странствовательницы, прибывшие налегке, только на одной подводе, но не забывшие гусель да яркого гардероба. Обе обладали богатырским сложением, с развитым торсом, звонкими голосами в песнях и длинными косами, которым могла бы позавидовать любая султанша, воспеваемая восточными поэтами. К наружным прелестям во

вкусе москвичей XVII века прибавьте готовность на все и вся, бесцеремонность в словах и необидчивость на выходки других, да способность пить все, что даётся, и в таком количестве, сколько предлагается. При этих добродетелях Грунька и Фенька обладали в надлежащей мере и плутоватостью: умели воспользоваться минутой утехы, чтобы извлечь для себя из приятного расположения заинтересованной особы возможно больше выгоды, правда, жертвователю, памятуя степень наслаждения, не каялся. Совместите все это в тип миловидных, в русском вкусе, молодых особ, цветущих здоровьем и беспрестанно заливающихся искренним смехом, и вы будете иметь понятие о посетительницах Червякова и Балакирева в глуши лесной трущобы. Раскаты смеха, поцелуи бесцеремонных развлекательниц, возлияние из братины — незаметно сократили весенний день, так что гости с хозяевами не заметили спускающихся уже сумерек.

При гаснущем же сиянии светила, когда в лесной чаще был почти мрак, приехали званые гости, успевшие выспросить у намётанных посыльщиков, для чего их зовут спешно. А узнав цель приглашения, каждый взял с собою угощенье, какое нашёл. Знали они, что наскоро в лесу ничего не найдёшь, и каждый желал своим паем вступить в кумпанство для затеваемого пира.

После обычных лобызаний приезжих с хозяевами привычные к делу жильцы наскоро накрыли стол покоем да устали узорную скатерть всяким съедобным и лакомством: чего хочешь, того не проси уж, а сам бери своей пятернёю.

Братина заходила вокруг собеседников, и зажжённые пучки лучины, наторканной в стволы обрубленных деревьев, всей сцене кутежа придали характер шабаша ведьм на Лысой горе. Нестройные звуки там и сям заводимых пьяненькими песен, пляс грузных пировалычиков, увлекаемых беззастенчивыми гостями, которые от вливанья живительной влаги делались все нахальнее, действительно обращали пир среди леса, ночью, при дрожащем от сотрясения воздуха освещении

во что-то фантастическое. Гул от звуков на поляне в глуши леса отдавался где звонче, где глуше, и весь лес, если углубиться в него с дороги, казался оживлённым.

Приехали вовремя к началу пира три сотника, а приглашено было четверо. Начиная, впрочем, пировать, заботливый хозяин послал навстречу запоздавшему на три тропки, вводившие в лесную чащу с поля, людей своих, чтобы гость впотьмах, грехом, не попал в омут какой ещё вместо угощенья.

Проводников отослали, сетуя на запоздавшего друга-товарища, а сами — по пословице: семеро одного не ждут — решили не отсрочивая утолить скорее жажду и приняться за предложенные яства. За этим делом, разумеется, совсем забыли отсутствующего, и все были, как называется у военных, на втором взводе, то есть в состоянии неясного понимания, что вокруг происходит, когда один из посланных на тропку подбежал, запыхавшись, к столу и крикнул: "Прибыл его степенство!"

Алексей, уже готовый чокнуться полной чаркою с Грунькой, отставил руку, чтобы приветствовать запоздавшего. Один голова объяснялся в любви подруге Грунькиной, и почему-то у обоих слезы лились из очей, едва видевших. Елизар Демьяныч, который усердствовал при угощении больше всех, старался, как хозяин, пример подавать, даже дошёл до приятного усыпления. Голова его склонилась, а на полуоткрытых устах явилась странная улыбка: может быть, правда, что Морфей убаюкивал хитреца повторением житейских сцен наизусть. Сам Червяков рассказывал с похмелья, что во сне главенствовал и приказывал он людям особой породы. Они прогуливались вверх ногами и в птичьем обличье со звериными хвостами писали вместо подъячих. Двое пирующих, люди крепкие, меньше охмелевшие, вели ещё беседу с приказчиком об ожидаемых магарычах. Он же покрывал густые голоса своим звонко-серебристым дискантом, резавшим непривычный слух до болезненности:

— Врёте вы, собачьи дети! Вам не по полутрети алтына, а по полтора только, а полтрети мне подай! Наше дело, будем говорить, правое — не

усмотрел!.. Проехали другой дорогой... весь бор не обрыскать... семь вёрст в едину сторону... а нашему брату — первый кнут: зачем вывозную память скрепил...

— Первый, подлинно!.. сам проговорился вор, забывший суд Божий, коли душу свою продал дьяволу за корысть проклятую! — ответил громовой голос подошедшего к столу приезжего в охабне.

Приняв его за стрелецкого голову, посланный довёл его бережно к месту попойки. Он, как мы видели, поспешил возвестить о приезде за несколько мгновений, но его никто не слушал, а голос гневного укора, загремевший в ответ на речь хищников, произвёл магическое действие.

Стрелецкие головы вскочили и первые с криком "Великий государь, помилуй!" — грохнулись на колена.

Слова "великий государь", произнесённые узнавшими голос царя Петра, и в пьяных произвели переполох. Что касается до прислуживавших за столом — эти бедные люди просто оцепенели. Приспешник Елизара Демьяныча, Захар, явившийся из балахнинской усадьбы с первым обозом съестного, ставил перед гостями киселёк миндальный с корицей в виде острога с башнями. При громе гневных слов царя Захар своё художественное произведение не успел даже опустить из рук. Он так и замер с ним, занеся блюдо при помощи поварёнка Сеньки над лысиной Елизара Демьяныча, не чуявшего грозы в сладком сне. Дрожание рук у Сеньки и Захара скоро перешло в онемение пальцев, неспособных удержать тяжесть, и блюдо стало клониться набок, но как-то счастливо само опустилось на стол. Только разрушилось кисельное сооружение и залило грудь да нарядный кафтан Амфитриона сладкою вязкою массой.

У проливавшего слезы и у подруги его глаза широко раскрылись при звуках громового упрёка и возгласа: "Помилуй!" А Алёша по неопытности своей скорее с удивлением, чем со страхом, не поднимаясь взглянул на того, кого называли царём испуганные, просящие пощады стрелецкие головы.

— Что это за парень? — раздался грозный вопрос царя, уже относившийся к Алексею.

— Я-то? — ребячески ответил Балакирев. — Изволишь видеть, с дядюшкой, набольшим здесь, на рубке... дворянин Балакирев.

— Знай же, с кем говоришь! — крикнул на Алексея молодой человек, в это мгновение ставший подле грозного допросчика.

Алексей поднялся с места, как и все прочие, не исключая девок, кроме спавшего Елизара.

— Говори правду, о чём буду спрашивать! — менее грозно молвил государь мальчику, как он понял, меньше всех виноватому.

— Что изволишь, милость твоя... ц-цар-ское велич-че-ство!.. — машинально и робко ответил Алексей, мгновенно отрезвлённый.

— Что вы здесь делаете?

— По наказу думного, Александра Петровича, справляем рубку, а теперя случай выпал... гости.

— Пируете?

— Изволишь видеть сам.

— Простительно было бы, коли б дело справили, и Ивашку Хмельницкого вспомнить... да вы воруете много... казну мою грабите... торгуете лесом, мерзавцы, словно он ваш, из вотчин, а не государственный... Как же смели вы корыстоваться святыней?!

— Государ-р-ское величество, я справляю что следует... дядюшка Елизар прикажет — отпускаю на Воронеж бунты дубовые, а воровство ль — того не знаю... А алтыны еженедельно вносим приказчикам Александра Петровича... А от его наказ: эти самые алтыны навёрстывать как знаем... да дядюшка взнёс к его милости шестьдесят рублёв да три рубля ефимчиками необрезными счётом... и воротить своё надоть... Доподлинно это знаю.

— За что шестьдесят три рубля? Это опять новое... Кикин, допроси про все... и доведайся... Коли вправду не солгал ты, так и быть, помилую тебя... ради...

— Крайней глупости его, — прибавил бледный молодой человек, выговоривший перед тем Алексею: "Знай, с кем говоришь". — Ему, государь, поучиться бы ещё нужно теперь.

— Какое ученье пойдёт на ум, коли с сударками спознался? — возразил Кикин.

— Сколько тебе лет? — спросил государь.

— Шестнадцатый пошёл, с Алексея Божья человека.

— А давно пьянствуешь?

— Дядюшка велит, что ж... как на службу записался.

— А какой такой дядюшка твой?

— Започивал он теперь, вона... — и перстом указал на спящего Елизара.

— Кто же он такой?

— Елизар Демьянов Червяков, стряпчий, — ответил один из стоявших на коленях стрельцов. — Он взял участок рубки... а мы, государь, стражу посланы содержать, объездом... и сюда заехали по приглашению...

— Одно слово: рука руку моет! — с гневом отозвался государь.

— Помилуй, виноваты! Нельзя нам, беднякам, вывозу остановку чинить... Приказано с билетами пропускать, а билеты Андрей Фомич, приказчик, выдаёт, вот он! — указывал на съёжившегося приказчика. — Нам, хотя бы и подлинно ведали, что на продажу, а не на работы... с ярлыками велено пропускать...

— А донести... почему не донёс?

— Донос мой к самому вору, к Протасьеву, в шатёр придёт... Он тебе, государь, доносчика вором и поставит, скрывая своё воровство!

— Встань!.. Правое слово сказал... За признание прощаю... Вяжи всех, кроме этого малого... Челядь да девок отпустить... Приказчика и пса старого, вора... допросить и — на осину!.. С другими расправляюсь... Вы двое, Александр Меншиков да Кикин, останьтесь; в досталь все разберите, как есть... Велик Бог правосудный... Привёл меня с вами на кару ворам бездельным...

— Виниус! Ты скачи сей же ночью на Воронеж, назад и посади за приставов вора Алексашку Протасьева, а нам медлить нечего...

И государь поворотился; приказал светить себе, взяв лучину. В это время какое-то существо, бухнув в ноги государю и всхлипывая, крепко ухватилось за них.

— Говори, что тебе надо? — спросил царь милостиво. Грозен он был, да скороотходчив.

— Прости, государь, боярчонка моего, Алексея Гаврилыча... Вор твой царский, Елизар Червяков, сгубил ребёнка... Маменька плачет, чай: кой месяц здесь держит, ворог, да в винище втравляет... да девок водит... Сам бы младенец не смыслил... Маменьке отдай, государь... была у тебя у самого матушка... Помилуй!..

— Быть по-твоему. Встань, старик. Вези мальчика к матери!.. Пусть выкурит дядину злобу, коли сможет... Не хочу брать на совесть вину неразумия. Кикин! Опроси все и отпусти его с этим стариком к матери... Пусть не плачется на меня.

— Один сынок, батюшка!.. неразумен... Слезами обливался я каждодень, глядя, как спаивал старый леший — грабитель... Робенковы, слышь, четьи Протасьеву записал, во взятку, и дьяку такожде... Помилуй!.. Коли воротишь награбленное, женить позволь — исправится!

Царь махнул рукой:

— Вставай! Будет все как сказано... Черкни, Кикин, и это в прибавку... Улики сами собой открываются на казнокрадов проклятых... Корень зла надобно искоренять... Ты, Меншиков, разбери все до тонкости — подьяческие плутни... За приказчика прежде всего принимайся.

И, приходя в обычное спокойствие, молодой государь пошёл с небольшой собравшеюся свитою к выходу из леса, горящая лучина освещала им путь.

Кикин занял за столом место прощённого головы, принявшегося вязать приказчика.

Будущий страдалец за царевича сам был кутила и не последний взяточник, но никогда не терял случая угоститься, тем более на чужой счёт.

— Садись, Александр Данилыч! Добру зачем пропадать даром? И вы, птички залётные, не перечь ни в чём... Мы теперь здесь вольны распоряжаться... И ты, малец, наедайся на дорогу, да будь разговорчивее. Узнаем, что нужно, и без допросов с пристрастием.

Глава II. МОЛЕНО, ХОЛЕНО, ОБЕЗДОЛЕНО!

После обедни Лукерья Демьяновна легла маленько отдохнуть. Она, бедная, ночи напролёт не смыкала глаз в слезах об Алешеньке, увезённом Елизаром Демьянычем на день и как бы сгинувшем вместе с ним. Уж и рассылала нарочных до Нижнего и под самую Рязань, да одну привезли весточку: "Елизар Демьяныч с племянником на службу засланы, а куда — неведомо". Вот и Христов день прошёл, и Фомино воскресенье, и на Радоницу к родителям на погост сходили, и уж согрешила от нестерпимой тоски Лукерья Демьяновна — чарочку выпила за Алешеньку.

"Может, не живо дитя моё?.. С того брат и не пишет... думает, легче матери не знать про потерю... Слез не достанет на век мой оплакать Алешеньку".

Приехала от обедни из монастыря, где панихиду отпела за "напрасною смертью скончавшихся", и словно от сердца отлегло... За обедом попадьё Герасимовне, что всюду с помещицей ездит и живмя живёт у ней на сиротстве, поднесла рябиновки и сама испила несколько капель из чарочки по её совету... все, думает, куражней будет.

Отобедали вдвоём и полегли на успокоенье. Только смежила глаза Лукерья Демьяновна, как стала засыпать. Вот сквозь сон слышит, называют её по имени, потом кличут: "Маменька!"

Забилось сильно сердце у помещицы при звуках знакомого, казалось, голоса, и она открыла глаза. Посмотрела вокруг себя: никого нет. Вздохнула тоскливо, обманувшись в ожидании, и постаралась забыться. Сон на этот раз вступил в полные права над помещицею и не выпускал её долго из своих обольстительных объятий, рисуя ей в причудливых узорах несбыточных видений знакомые лица обоих её супругов. Да будет ведомо читателям нашим, что Лукерья Демьяновна пережила два раза улыбавшееся семейное счастье. В первый раз за Антипа Андреевича Скуридина, старца за шестьдесят лет, выдали её всего на пятнадцатом году, и с этим дедом провела она безбурных три лета, ухаживая за

немогшим, расточавшим ей ласки скорее родственные, чем супружеские. Бессилие в прямом смысле этого слова довело Антипа Андреевича до невозможности повернуть ни ногой, ни рукой и неприметно и для него, и для других прикрыло туманом умственного забвения тлевший огонёк жизни в бездвижном живом трупе. Освобождение от уз телесных этого страдальца было началом весёлых дней для восемнадцатилетней вдовы его, которой по завещанию, написанному на другой день свадьбы, Скуридин отказал все своё движимое и недвижимое. А он был человек не бедный для своего времени и, хотя дослужился всего до стряпчего, владел вотчиною от предков в восемьсот четъи да, кроме угодьев, — ста двадцатью дворами. Божья милосердия, с венцами золотными, целый угол оставил, да монисто зёрна гурмыцкого, женино, в полтретьяцать рублёв, окромя всякого другого богатства. С таким приданым присватался к молодой вдове молодец — картина, ростом девяти вершков — подразумевается сверх двух аршин; глаза насквозь пронизывали; кудри — не надо шёлку чёрного, шемаханского. От роду ему было двадцать лет и три, а на четвёртый перекаатило; звался Гаврилом Никитичем из роду Балакиревых. Всяким талантом молодец не обижен, а храбростью преизлиха, паче всего. За то в чигиринском походе турка безжалостный пырнул его навывлет рожном каким-то, и зачах Гаврило Никитич. Не помогло лечение знахарское. Настоев тысячи корешков перепил, а только мало-мало отходил к лету, а за осень опять гнуло в крюк. Промаялся так года два, да на самое Благовещенье сбирался в Москву поехать благодаренье принести милостивцам за пожалованье в стряпчие, а вместо этого прихватило накануне, и в праздник Богу душеньку отдал — к обедням, в колокол. Что было с женой, и сказать нельзя: водой трижды отливали. Свекровь уж с отцом духовным уговорили кое-как: жить тебе, мол, нужно для сынка, отцово подобье, для Алешеньки... И скрепилась вдова разумная, возверзив на Создателя печали свои.

Этого-то, дорогого муженька второго, увидела теперь во сне Демьяновна. Приехал словно из похода; сел на постелюшку. Глянул

ясным соколом и молвил, как обычно сожительницу привечал:

— Рада ль, Луша, гостям?

— Как же не рада?.. друг сердечный мой!.. — и сама залилась слезами, стала мужу жаловаться: — Нашего Алешеньки лишилась...

А отец-от ей:

— Как лишилась? Живёхонек... здоровёхонек... Да проку-то в том что?..

— Как сказал, так словно и пропал... А Лукерья Демьяновна проснулась и раздумалась: что бы сон сей предвещал?

Да смотрит в окошко... Каких-то двое — странников, должно — во двор вошли. Некошно таково на них облаченье; поборвались гораздо... И идут к крыльцу... Словно так им и следует. Всматривается Лукерья — знакомые лица.

Попадья встала тоже и, из-за плеча помещицы глядя на подходивших, подумала: кто бы? Вот мелькнули двое эти за крыльцом, и немного спустя голоса раздались. Распахнулась дверь, и Алешенька, подросший, похудевший, заветривший, бросился к матери и упал к ней в ноги, рыдая. Селиверст, старый слуга, стоял поодаль, осторонь. Лукерья Демьяновна, кремень-баба, теперь, под впечатлением сна вещего, дала полную волю слезам.

Уходившись немного, спрашивает она у Селиверста, не мешая плакать сыну:

— Все ль подобра-поздорову?

— Можно баять, подобра-поздорову; а можно и нет сказать.

— Как так?

— Да боярина своего я на старости лет слезами рабскими отмолил от наказанья у царя-государя... А государь, братец твоей милости, на осинке болтается... Буди воля Господня!..

— От какого наказанья?.. Как братец... на осине?

— Истинно так, государыня... Накрыл государь-царь беспутство господ наших, Елизара Демьяныча, прости ему, Господи, согрешенье за муку; по делам его хотел опалу возложить на дитя твоё милое... Не столько винен малый, разумеется, как старший, всему злу корень, государыня!..

— Какое же беспутство?.. Все по ряду, как следует скажи... Недаром сердце-то и ныло у меня изо дня в день... Ах, бедный братец!..

— Не жалею об нём, боярыня... Не было у тебя, и не дай Господи пущего ворога, как — упокой, Господи Создатель! — Елизар Демьяныч был... Спортил он твоё чадо, Алексея Гаврилыча... Вымолил я пощадить его, неразумия ради отроческого... Как будто и помиловал царь-государь... А кого он там бояр молодых поставил... дело вершить... как они найдут... Молить Бога надоть, чтоб пронесло беду горшую... Александр Васильич Кикин, отпуская нас, сказал, правда, что, даст Бог, ничего... минует зло... А как знать, что там выищется... ещё воровства...

Лукерья Демьяновна больше не слушала, залившись горькими слезами и прижав к себе сына, по словам старого вестовщика чуть не чудом ей возвращённого.

Мать пожелала услышать от сына все, как и что произошло с отъезда его из-под родительской кровли.

Можно представить себе затруднительность выполнения воли матери для героя нашей повести: благодаря развратителю дяде уж он понимал, где добро, где зло, а и утаить и отрицать все нельзя в присутствии Селиверста, старика, не способного лгать или покрывать вину боярчонка.

Сам Алексей, конечно, многое не одобрял, даже при своей неопытности, в поступках дяди. Но старый искунитель был умён и успел привить неопытной душе Алексея чёрное начало лжи. Вкусивши разврата и изведав стыда, уже отличный от детских о нём представлений, молодой Балакирев не все мог высказать, чем мучилась его совесть. Для молодости подчас злое привлекательнее доброго; доброе открыто и ясно, тогда как недосказанное, запрещённое имеет всю прелесть таинственности и подстрекает любопытство, возбуждает желание изведать сокрытое. Изведавший же сладость запрещённого плода догадывается по мукам своей совести о неприличии им совершённого и потому всегда старается представить свои деяния в более благовидном свете.

Мать, слушая о подвигах сына и действиях своего братца, наказанного

судом Божиим так страшно и неожиданно, тихо плакала. Слезы эти, однако, не облегчали сердца страдальцы.

Слушая рассказ сына, она испытывала такие муки, которые знакомы только матерям при бедствии детей. Когда речь дошла до выданного обязательства на отцовское наследие Алёши, Лукерья Демьяновна схватила себя за голову и так сжала виски свои, словно в них она чувствовала невыносимую боль. Слезы ручьём полились у неё из глаз, и с рыданиями, услышанными в первый раз ещё, как знакома с нею попадья, помещица несколько раз повторила:

— Господи! за что свыше сил на мне отяготела рука Твоя! Родня была мне всегда враждебна... брат — всегда злодей и первый ненавистник, но такого зла не могла я и думать от него...

— Да это самое, маменька, дядюшка молвил — не внаклад мне... Все едино: моё — его и его — моё!

— Болвана вырастила — вот и наказание мне от Создателя! — с сердцем ответила как бы себе Лукерья Демьяновна, не обращая и взоров на сына.

— Оно, конечно... боярыня... — ввернул в речь Алёши старик, — може, и воротят наше... детские четьи; коли хватит недвижимого покойного братца нашего... Александр Василич, Кикиным прозывается, господин хороший, обещал государю царю все как есть исписать... А царское величество у-у как памятлив и проицаньем Божеским, сдаётся, наделён... На боярчонка нашего только раз крикнул: "Говори, говори правду истинную!" А как начал резать Алексей-от Гаврилыч про всякие художества, как дяденька их милость учил, — государь смекнул сам государским своим разумом, что он, малопонятный да молодой, неопытный человек, что твой воск: что хошь с его лепи, коли совесть не зазрит пожилому, разумному... Коли б не такого разуму был покойничек, не сгубил бы себя...

Умиряющее вмешательство верного слуги в другое время, может быть, и не по нраву бы пришлось, а теперь возымело хорошее действие. Лукерья Демьяновна хотя и продолжала лить слёзные потоки, но всё же несколько ободрилась и уже с большим спокойствием спросила старика.

— Что же говорили бояре, коим государь разобрать-то велел братцевы вины да протасьевские... насчёт Алексея моего?..

— Да никак, то ись, они его... не замают и тронуть не думали, потому что юн человек, видят... Насчёт выслуги баили — не ладно, может; а может, обойдётся и оно... Только, отпускаячи, велели мне твоей милости довести: коли потребно будет, Алексея Гаврилыча на улики вора подьячим вытребовать может... в Москву. А его не коснутся... Государь одно слово изрёк: милую. А я смелость взял, ноженьки государски обнял и зычно крикнул: "Помилуй, государь, у маменьки сынок один, не вели казнить дитя неразумное... Кто не виноват тебе аль Богу не грешен?.. А насчёт баловства, — говорю, — дозвожь, государь, женить государыне-родительнице, ино истину говорят: женится — переменится... Спознает жизнь и добро — будет слуга тебе..." И царь-государь помиловал — велел женить...

Водворилось молчание. Старик пододвинулся к двери и, видя, что помещица поникла головой в раздумье, тихонько вышел. Несмотря на свою простоту и жизнь в деревне, старик понимал, что мать сыну наедине теперь, может быть, захочет сказать, а при нём, хотя и верном слуге, сдерживается, и это ей больнее — пересиливать себя.

Действительно, с уходом слуги Лукерья Демьяновна, несмотря на присутствие попадьи, которую считала своим другом, разлилась потоком упрёков сыну.

Но это уже была буря, разогнавшая тучи и кончившаяся полным прощением возвращённого блудного сына.

Наутро нарядила помещица своего ходока по делам Гаврюшку Чигиря в Москву проведать насчёт взысканья за торговлю казённым лесом с крепким наказом отписать с мужичками же, попутчиками аль земляками, как и что.

Ответ получен успокоительный, правда, но доведено до сведения, что неженатых дворян, неграмотных в дальние места рассылают. А те, которые в летах, да женаты тем паче, обложены будут, может быть, полтинными деньгами; но от службы можно им избыть аль людей своих —

пятерых ребят — выставить за себя в новые полки, что, как слышно, набирают. Это известие и свои планы по поводу его Лукерья Демьяновна высказала своей неизменной советчице попадье Анфисе Герасимовне:

— Видишь, мать моя, как Бог-от милостив до нас, грешных.

— Кому же, государыня, и миловать нас, грешных, как не Создателю... Он, Батюшка, знает раньше прощений наших, елика нам потребна... Он...

— Ну... завертела поставом... Эка спешка, прости, Господи... не дала вымолвить всего, а своё завела... Исчести милость Создателя и премудрому Соломону невмочь, не токмо нам с тобой... Я не то хотела тебе поведать... Что ближе к нам, то и на уме, и на сердце... Гаврюшка исповедал, что женатому и при грозном царе-батюшке вольгота даётся... значит, пока Алексея не потребовали — обкрутить скорей, и концы в воду! Ты, мать моя, совет дай, к кому нам сходней сваху заслать? Вот у Еремеевых две дочки всего, а родни окромя ни синя пороха и вотчинка на стать... и нам по суседству... и дворы исправные... и домашество все есть, да чистоганом после матери перепадёт на сестру сотняга и больше...

— Родная, Лукерья Демьяновна... так-то так, да еремеевские девки Алексею Гаврилычу не под стать будут: Федосья, старшая, убога и недослышит, да и за тридцать, говорят. А Марфуша из себя больно невзрачна, хоша и молода. Да и глупенька... сама знаю...

— И, голубушка!.. На что в жене ум? Достаток — другое дело. Да была бы безответна, да мне была бы помощница... И красива выйдет иная, а как повалят дети, баба делается на себя не похожа... Годков десяток — мало чем от старухи отличишь... Да ещё скажу, глуповатые беззаботны, так им все как с гуся вода... А умница да красавица — и в хозяйстве свои порядки начнёт заводить, и мужа под башмак заберёт ради пригожества, и свекровь ни во что не поставит...

— Одначе, родная, и пень-от, может, Алексею Гаврилычу не приглянется, а человек он молодой... Да теперь, коли дядюшка шаль таку малому показал, и подавно разбирать станет, чтоб пригожа была да слюбна...

— Н-ну... Алексей теперь у меня много не плавай... Могу ему нос утереть...

Мной, скажу, только ты и дышишь, коли государь царь, над матерью сжался, помиловал неразумного... Коли неразумен — из послушанья не выходи: лучше твоего рассудим, что тебе приличнее будет...

— Все, конечно, так, государыня... Да детки нонечка не те уж, что встарь было... Вишь, может, воспокаился и, вину свою ведая, со смиренством покорится... А все бы, мой совет, поискать попрigлядней Марфушки еремеевской... Не клином же свет сошёлся? Вона, у Синцовых есть Оленушка. Одна дочь, и дадут за ей десять дворов, да усадьбу, да рыбный пруд, да бабкиных — отказанных — шесть душ, и мельница, да на Вятке три пустоши, да остров, да доля в пушном промысле. Маткина мать из купечества и внучку любила, души не слышала, все ей одной отказала... Вот так невеста Алексею Гаврилычу, не еремеевской чета.

— Да не отдадут за моего... ни за что. Наши Червяковы с Синцовыми испокон веку враждовали, а Татьяна Степановна за Дмитрия взята опять из враждебной нам семьи Климовых... Она чуть было у меня Гаврилу не отбила, да в немочь пала, а нас покрутили... Ни я к ей, ни она ко мне через порог не переступит...

— Ну, Зимнинские: есть дочери три, никак. Из себя ничего...

— Голышки... да и род худ... Дед — завзятый вор. Отец кнутом бит... Таких не приходится в родню... Да, почитай, не развязались ещё с прошлыми грехами... Отбили кнутом, а все таскают, хоша со ссылки ворочен...

— Ну, так Макавеевы — чем не родня будут? Земля к самой Клязьме; лесу достаточно. Мужики в селе зажиточные, все яблочники. И связи есть, в родне воеводы — в люди выведут...

Лукерья Демьяновна задумалась. Макавеевых ничем нельзя было похаять.

— Пожалуй, мать моя, от макавеевских я не прочь, коли судит Бог породниться... Только Феклуша — смиренница, нече сказать — очень уж тиха и рябовата, кажись...

— Чутьочку рази... А уж взгляд... смею доложить... соколиный; подлинно и песенница какая, и плясунья.

— Эка греховодница ты, матушка!.. Пристало ль невесту корить такими художествами!.. Не к чести девической... Не цыганка, прости, Господи...

И расхохотались.

— Я, государыня, не корить намерилась, а слышу, по-нонешнему, в Белокаменной у самих что ни есть выше подымай повелось, чтобы баба плясовита была да норовита к утешенью мужнему на всяку стать немецкую... Ино и плясунья, коли мужу не приглянется, так другим прочим... а мужа в люди выведет...

— Н-ну.. от этаких выводов побереги нас Господь... На то уж пусть будут, как и есть, немки непутни горазды... а наши русачки пусть в дому остаются: хозяйским глазом за добром приглядывать... А муж коли баловством, по грехам, зашибётся, жене не зазорно... А коли жена... избави, Создатель, и от слышанья о чужих, не токмя от виденья у себя...

— Прости, государыня милостивая, ты, никак, и взапрямь осердилася... Я ведь шутки ради ввернула... И наша девушка коли пляшет — загляденье, то при честном при всём народе, во девичьем хороводе, а не где-нибудь... А уж куда смышлена и сноровлива, хоть в ушко вдевай... везде поспела...

Лукерья Демьяновна погрузилась в думу и насупилась. Слова попадьи ей казались не столько обидны, как любопытны, и намёк на возвышение мужа через жену был не с ветра взят, а с примера — в ту пору далеко не так редкого в московском мире. С конца XVII века могли иметь место в уездах о Святках и машкарады немецкие, и никак уж не новостью были слухи, что у великих бояр воротилы-дельцы выходят через жён. Один Илья Данилович Милославский, тесть царя Алексея Михайловича, немцам подражая в житьё, столько себе позволял бесчинств и захватов жён у мужей, что кроткий государь запретил даже себе рассказывать о его подвигах, чтобы даром не кипятиться. У Ильи Даниловича была ватага любимцев, и первая выслуга их перед милостивцем бывала по женской части. Взятки и приносов "поминок" он, конечно, тоже не отвергал, но и за большой куш делал меньше, чем за приглашенье навестить лебедь белую в одиночестве, поворковать с голубкой на досуге. Ну и пошло... И стало не то воевода на городе, не то в своём пашалыке — паша.

Положим, эти наши московские гаремов не заводили у себя — убыточно, а досуг-недосуг проводил правитель всё время, почитай, в тихом омуте, убегая света Божьего да в свою избу глаз не показывая.

Родитель невесты-плясуньи сам получил и честь, и место по милости щедроты Ильи Данилыча и после него за Милославских держался крепко, а как царевна убралась в Новодевичий — Милославчикам жутко стало. Тогда и щедрый помещик Рюхинский, принимавший во время оно только московскую знать, спустился пониже: заискивать стал у своего воеводы. Ловкий человек скоро успел подделаться и поправил было дела свои, да вдруг смерть пригласила посетить мир неведомый... Осталась вдова — женщина с умом, матушка взрослых дочек, на которых у неё были свои виды. А правду сказать, девушки чем старше росли, тем становились пригожее, так что женихов не оберёшься. Лукерья Демьяновна с умною вдовою, рюхинскою помещицею, всегда водила хлеб-соль и готова была, не рассуждая долго, с нею породниться. Только сразу так не могла представить себе перспективы женитьбы сына на её дочери. Ей досадно было, что не она первая догадалась об этом, но досада эта скоро прошла. Попадья не раз искоса взглядывала на благодетельницу, не смея заговорить первой, хотя и замечала в чертах успокоивающейся помещицы настроение благоприятное к дальнейшему плетенью словесной канители по узору, ею предложенному. Вот дыханье Лукерьи Демьяновны сделалось порывистым, ноздри немножко начали раздуваться, и в углах рта мелькнула тонкая улыбка, давно ожидаемая наблюдавшею попадьею. Значит — все теперь можно. В думной голове Балакирихи выгоды соображены и взвешены, и она уже мысленно считает барыши от союза сына с дочерью рюхинской владелицы.

— Ты, мать моя, не подумай, — обратилась Лукерья Демьяновна к своей советнице, — чтобы разумные словеса твои приняла за что ни на есть неладное. Спервоначалу, конечно, показаться может — плясать будто девушке не к чести... А раздумаешь: время... люди...— она вздохнула, — все суета! Что город — то норов... Пляши, по мне; было бы не зазорно, только бы пальцами не стали показывать: эка, мол?! Не та пора теперь. А

Наталья Семёновна хлебосолка, нече молвить пустого... И достаточные люди... И нам совсем под пару бы... Послать было Алексея в Рюхино за чем-нибудь... Ведь дочери все торчат в передней избе да гогочут... Увидит ненароком, — ино и смотрин не делать... Да! вот что: можно Алексею наказать, что, мол, матушка, Наталья Семёновна, тебя видеть бы желала, да недомогает — нога развилась... Ступить не может... а спор бы могли мы один на один покончить полюбовно... не тешимши приказную волокиту...

— Прераспрекрасно!.. Уж что говорить... Тебе ль ума-разума у кого занимать!

— И ведь так... ладней будет... Ни за что не понять подлинного-те подвоху... Сына, скажет Наталья Семёновна, коли засылает — почтенье отдаёт...

Позвать Алексея, и объявить свою волю скучавшему юноше: приказ ехать всенепременно, завтра же с утра, в гости в Рюхино — было делом нескольких минут.

Сын молча выслушал и принял, стало быть, к выполнению.

Перенесёмся прямо в Рюхино и мы. Алексей Гаврилыч уже в сенях, и Гаврюшка Чигирь, с ним посланный, объявляет рюхинскому дворецкому, кто приехал к его помещице, зачем и от кого.

Сени, в которых происходили переговоры, не так велики, тёплые, с лежанкой и махоньким оконцем волоковым, теперь открытым для света. Стало быть, хотя и в полумраке, но различать можно предметы. Полумрак этот, напротив, должен усиливать полоску света сквозь щель в дверях повалуши, не совсем плотно притворённых; а повалуша с частыми оконницами и на восток прямо. Было утро, и одно из самых очаровательных.

У средней оконницы красного дома на полавочнике сидят две дочери хозяйки, очень одна на другую похожие, но только лицо одной несколько серьёзнее, а с уст другой, кажется, совсем не сходит приветливая улыбка, сообщающая румяному лицу с неправильными чертами наивное выражение балованного дитяти.

В щель так удобно было видеть девушек Алексею, и он этим удобством

воспользовался со всею бесцеремонностью человека, привыкшего действовать по первому впечатлению. Недавнее прошлое юноши, крепко засевшее в его чувствах и помыслах, мы уже хорошо знаем, и, стало быть, не может быть для нас тайною настроение ума Балакирева, знакомого Груньки. Он почему-то (не потому ли уж, что не видел других женщин?) в первую минуту нашёл в смеющейся девушке сходство со своею гостью на Сосне. Но это было одно мгновение. Поверяя первое впечатление, Алексей решил, что здесь не та особа, но во сто раз краше и живее, без напускного веселья и излишней свободы жестов. Положим, и у этой при разговоре руки движеньем дополняли силу речи, но движение движению — рознь, здесь они выражали особенную природную живость. Нашлись и другие особенности, доказывающие несомненность превосходства боярышни рюхинской перед Грунькой. Раскаты же непринуждённого смеха были и у здешней очаровательницы те самые, которые трогали за живое страстную натуру Алексея. Слушая звуки этого смеха и глядя прямо в бойкие глаза шутницы, сын Лукерьи Демьяновны готов был в этом положении стоять сколько угодно, не замечая времени. Оно между тем не останавливалось, и много уже кануло в вечность минут со времени ухода в дверь повалуши рюхинского дворецкого с докладом. Доклад был выслушан кем следует, спокойно. Было сделано несколько вопросов докладчику. Однако рюхинский дворецкий при всей своей оборотливости не мог приподнять завесы, скрывавшей подлинную цель приезда сына помещицы Балакиревой. Неудовлетворённая его ответами боярыня решила принять посла. А для приёма нужно было одеться да явиться, не роняя своего достоинства. Политика же в этом случае подсказала наилучший исход — заставить ещё подождать приехавшего гостя. Однако всему бывает конец и должна последовать перемена декорации в повалуше: с заменой группы двух девушек, сидящих у окна, выходом из внутренних апартаментов матушки их.

Наталья Семёновна летами была помоложе Лукерьи Демьяновны и одевалась, по времени, роскошно, что твоя боярыня. Штофный, красный с зелёным отливом и цветами, обшитый широкими золотыми галунами,

сарафан, в котором выступила она в свою парадную залу аудиенций, был нов и ярк; кокошник парчовый и фата — тоже чуть не с иголочки; черевки, низанные жемчугом. И в этом наряде — даже не для такого простака, как Алексей Балакирев — могла помещица показаться чуть не царицею. А если прибавить особенную заботливость о цвете лица, как понимали в то время, то и возраст боярыни был сокращён чуть не наполовину. Так что малому знатоку женских прелестей могла бы вдова показаться сестрою сидевших у окна, но сравнения нельзя было сделать из-за исчезновения дочерей при входе матери, пославшей их в светлицы свои.

Исчезновение приятного видения, приковавшего к месту любопытного Алексея, было для него сигналом приготовления к встрече со старухою, как он думал.

Каково же было удивление молодого человека, когда вошёл он в растворённые двери повалуши и встретился глазами с приветливой улыбкой красавицы-боярыни, назвавшей себя домовладелицею.

Речь по наказу, которую мать, посылая его, три раза заставила повторить, вылетела мгновенно из его головы, и он коснеющим от смятения голосом повторял только начало приветствия: "Государыня-боярыня".

Это смятение хозяйке дома особенно полюбилось, как несомненное доказательство силы её чарующих прелестей.

Наталья Семёновна сама заговорила звонким, серебряным голосом, и влюбчивый мальчик растаял.

Хозяйка в высоких выражениях выхваляла достоинства матери своего гостя, а он только глупо ей дакал и ещё глупее улыбался.

Речь между тем лилась обильною рекою из уст хозяйки, не раз, в жару разговора, бравшей юношу за руки, называя его с чего-то милым и собинным. Эти слова поражённый новизною ощущений Алексей Балакирев успел удержать и сумел пересказать дома, отдавая отчёт матери о результате комиссии, на него возложенной. Теперь мог Алексей представить сам себе верность всего напророченного попом на первом

привале, до Владимира ещё. Ласковая Наталья Семёновна не только заговорила, обласкала, а на прощанье чуть ли не расцеловала Алёшу, да ещё в полном и буквальном смысле закармила и запоила сладостями. Продержала она Алёшу в беседе своей — больше чем родственной — до поздней ночи; предлагала даже ночевать, остерегая от опасности ночного переезда домой сына Лукерьи Демьяновны, её будто бы самой дорогой знакомки. И Алексей был не прочь принять приглашение, да Чигирь настоял и упросом выпросил отпустить боярчонка, потому, мол, что маменька изволят, чай, и без того беспокоиться.

Отпуская гостя, Наталья Семёновна просила напередки не забывать, благо дорогу узнал.

— И так доподлинно сказала? — переспросила мать у Алешеньки.

— Доподлинно, — подтвердил он.

— А ты слышал? — задала вопрос Гаврюшке.

— Слышал и я... Да что ж?.. Вестимо, так. Бабища здоровенная... Как же ей не упрашивать к себе напередки Алексея Гаврилыча, коли он, неча молвить, молодец таки из себя?! В покойного батюшку статью.

Лукерье Демьяновне не понравились ответы и замечание верного слуги. Она давала истолкование ласковому приёму в Рюхине полным согласием Натальи Семёновны отдать дочь за Алёшу... Оттого и величала она его, уж заранее, милым и собинным, подразумевая — сынком.

Попадья улыбалась и тихонько хихикала в кулак. Лукерья Демьяновна не утерпела: поехала Наталью Семёновну благодарить за приём сына, а главное — толком переговорить.

Рюхинская помещица приняла её также дружески. Все выслушала. На все согласилась, но только потребовала, чтобы молодые у неё жили.

Этот пункт не принимала, однако, ни за что Лукерья Демьяновна, и дело, начатое так блистательно, готово было перерваться на самом интересном месте, когда после долгих препирательств Наталья Семёновна предложила сделку, честно разрешающую их спор, да ещё с сохранением достоинства обеих сторон.

— Ну, так пусть живут попеременно и у меня, и у тебя... молодые... Твой

сын дорог тебе, дочь моя — мне!

— Изволь... На это согласна, — поспешила решить Демьяновна, уже готовая и на более тяжёлую уступку.

Вскочили обе с мест разом, обнялись и крепким поцелуем скрепили трудный трактат.

— Когда же свадьбе быть?

— Когда хочешь... Мне всё равно... Приданое и теперь смотри.

— Насчёт этого не сомневаюсь... И отдаю на твою волю.

— По мне, чем скорее, тем лучше.

— На той неделе, коли так... Придётся в город посылать за памятью.

— И мне нужно в город съехать, закупки сделать... Да, главное, после брата наследство испроведать.

— Конечно... Что терять своё!.. Поедем вместе... Коли нужно кого о чём попросить, — поладим: народ знакомый в городе... При Иване Богданыче передо мной по струнке ходили...

И самой стало весело.

— Благодарствую, голубушка... Сама было думала просить, да ты, дай те Бог здоровья, высказала... Чего же лучше, коли ты примешь во мне, сироте, участие!

И признательная Лукерья Демьяновна рассыпалась в свою очередь в заявлениях признательности наречённой сватье за родственную любовь.

— И жениха возьмём с собой? — выговорила будто невзначай Наталья Семёновна.

— Да где его взять?.. Позавчера прислали с отпиской ходока из Москвы: потребовали Алексея, писано в отписи: не надолго... в Преображенское... Допросы снять про воровство протасьевское.

Наталья Семёновна дальше слушала как-то рассеянно, видимо озадаченная.

Мать тоже насупилась сентябрём. Несколько минут продолжалось молчание.

— Ведь ты, — после невольной паузы заговорила первая Лукерья Демьяновна, — мать моя, за Алёшу Дашеньку отдашь?

— Зачем же Дашу — молоденую?.. Анфисочка невеста!.. Пригожей и поразумней ещё будет, чем та, прости Господи, хохотунья непутная!.. А что? Не все ль равно?.. Сама знаешь — обычай...

— Так-то так... да наслышались мы, что Даша-то твоя сокол ясный... козырь, а не девка!... Ухарь, одно слово...

— Ну, с чего-те, не знаючи, хаять Анфисочку?.. Пригожа... и тоже весела.

— Ну... а как там? Хороводы водить горазда... которая?

— Да все три, мать моя... Молва на целый уезд, что мои дочери первые плясуньи и песенницы... Соловьём иной раз зальётся Анфисочка... так я, уж на что кремень, сама готова всплакнуть... до того он хватает за сердце — её голос с перекатами.

— А не она у тебя... словно павушка, в круг выплывает, очами заведёт — сердце вырвет... ручкой махнёт — не надо приворотного корешка?..

— Пляшет лучше Феклуша... самая большая... Да она, может, твоему Алешеньке старенька покажется... Не одногодка ли с ним ещё? Отдать — и её отдам ему... Да как бы узнать... которая ему больше приглянется?..

— Коли ты не прочь красавушек своих Алёхе показать... Опять я ни при чём... Мотри только, баба, не накладно ль будет потом... коли злые языки исповедают, что ты по дружбе ко мне всех сестёр жениху выводила?

— Они у меня похожи и на меня и друг на дружку... Ему можно не говорить, а ты меня только не выдай... а выходить будут одна за другой, в одном цвете...

На том и решено.

Сваты, условившись, съездили вместе до города. Новостей навезли. Пересказов на целый месяц хватит. К свадьбе все изготовлено, а от жениха весточки нет. Где он? Что он?

Лукерья Демьяновна стала беспокоиться пуще, чем тогда, как брат увёз. С Натальей Семёновной она почти неразлучно — вместе горюют.

Вот сидят они под вечерок, попивают земляничную водицу, щёлкают орешки. Девушки песни поют, величая княгиней Анфисочку.

Дверь в тёплые сени притворена. Кто-то вошёл туда и примолк. А может,

и слышалось. Матери и дочери смотрят на дверь, и она в одном положении — не растворяется.

Песня, перерванная ожиданием чего-то, раздалась снова:

Это ли Анфисушкин князь, господин,
Это ли светел месяц Васильевнин.
Так ли не краса Анфиса душа,
Так ли не лебедь Васильевна.
Эта ли Анфиса — боярская дочь,
Эта ли Васильевна — княжеская.
Очи — что твой яхонт с подволокою,
Голос — соловьиный, нежный, ласковый.
Снега белей шейка лебединая,
Бровь дугой высокой соболиная.
Взгляд такой вы видели ль, подруженьки,
Как у молодой Анфисы-душеньки?
Молод её князь с ей сравнивается,
Удалью, хваткой похваляется.
Есть ведь удалцов во палате у царя,
Только не видали там такого ухаля,
Каков я у матушки родился молодец,
Как принаряжуся я с милой под венец.

— А которая же, боярышни, моя милая? — вдруг растворив дверь, со смехом вбежал подлинный Алексей и задал вопрос невесте и её сёстрам.

— Шутник...— нашлась за девушек мать. — Коли же это видано, чтобы девушки отвечали на это?

Но Алексей уже стоял перед тремя сёстрами и повторил свой вопрос вторично, не слушая наречённой тёщи.

— Хоша бы и я! — залившись своим серебряным смехом, ответила, не долго думая, бойкая Даша.

— Не слышал, что ли, батюшка, кого величают княгиней твоей?

Анфисушку! — решающим голосом отозвалась Лукерья Демьяновна, и лицо её приняло серьёзное выражение.

Наталья Семёновна ещё раз повторила: "Шутник!" — все обращая в шутку, чтобы не придавать подлинного значения словам, как ей казалось, у Алексея сорвавшимся с языка случайно, и необдуманному ответу младшей дочери.

Но Алексей и в третий раз повторил свой вопрос.

Лукерья Демьяновна вместо слов взяла его за руку, за другую Анфису Васильевну и, сажая её, накинула ей на голову собственную фату свою.

— Вот у нас недуманно, негаданно — и девичник вышел! — как-то неестественно, не своим голосом молвила она затем, ни к кому не относясь и садясь подле Алексея.

Жених, посаженный подле суженой, которую увидел в первый раз и голоса которой он тоже не слышал, чувствовал себя тяжело. Мало того, его ребяческое самолюбие поступком матери было задето за живое. Но мать теперь для Алексея много значила, ей предоставлено царскою волею, и лично высказанною, и в читанной ему выписи прописанною, право устроить судьбу его. Родственные же чувства к ней были убиты коварными внушениями злодея дяди, не тем он будь помянут, который воспользовался неразвитостью Алексея. Конечно, можно ещё было действовать матери на бесхарактерного юношу как на ребёнка. Но хотя в действиях Алексея было покорство дяде, все же не следует забывать, что сцены, им пережитые в короткое время, оставили в душе навсегда готовность ко злу, будь только случай.

Алексей был именно в таком теперь положении: надежды его были обмануты. Когда летел он, по письму матери, из Москвы, он думал венчаться с девушкою, образ которой оставил в душе сильное впечатление в памятный день первого приезда в дом рюхинской помещицы, а вышло напротив.

В Москве подтвердилось, что без новых открытий, обвинивших бы его в иных преступлениях, по процессу Протасьева и казнённого дяди, Елизара Червякова, он, Алексей Балакирев, был чист перед Богом и великим

государем, простившим воровство по неведению, ради юности и неразумия. Получило правильный ход и дело о родовом наследстве Червякова, которое, по показаниям дьяка воеводы Протасьева, государственный грабитель думал передать племяннику от сестры. Правда, резолюция в царском шатре в Воронеже повелевала: наследнику Червякова, Балакиреву, отдать остаток, буде оный получится, за зачётом цены казённого леса, пущенного в продажу. Но личная просьба Протасьева, у которого были сильные заступники, требовала возможного уменьшения цифры ущерба казне, нанесённого им поборами в свою пользу. Кикин, производивший учёт порубки, в своё время от наказания кнутом сам избавился при заступничестве родичей царицы Марфы Матвеевны, а она оказывала расположение Протасьеву. Стало быть, рука Кикина должна была помочь стряхнуть лишнюю грязь с Протасьева: рука руку моет, верно сказал Пётр I, знавший свои современные порядки. Ищейка Меншиков не был в лесах, а столбцы царского шатра из Воронежа в Москву нельзя было везти — остановились бы дела. На суд достаточно было представить и выписи за скрепой. А для выписей можно было ограничиться выборкою одного счёта из десяти, и то таких, которые не на большие суммы, но с дробною расценкой, — чтоб объёмом взять. Как сто коробей таких счётов отправишь, то проверятель выписи одуреет на первом же десятке и совсем в голове его перепутаются понятия: что брать следовало и чего не следовало. А там царю напомнят об ускорении решения и поневоле уж сделают так, как хотят заступники, люди, которым предписано срочно окончить дело и нет возможности просмотреть все бумаги. Самая идея повести процесс именно так внушена была кому следует Кикиным же, и в конце концов добились старатели чего нужно — ссылки да доправки, не более.

А при доправке, расчисленной так, как сказано, уличённые в казнокрадстве понесли, разумеется, меньшие ущербы. Так что добрая половина из наворованного у них осталась.

Тот же ведь Александр Васильевич Кикин, приехав в Москву, заведовал и доправкою: с кого что положено в возмещение убытков казны.

К этому милостивцу Алексей Балакирев, вытребованный в Москву, призывался три раза и в последний раз получил из уст его при разрешении ехать домой практичный совет:

— Коли хочешь, чтобы не волочили тебя долго по приказам из-за наследства дядина, поклонись тысячью четьи да двустами душ царице Марфе Матвеевне... все пойдёт как по маслу. Её величество выпросит у государя указ не в очередь, и ты своё не только не потеряешь, а ещё выгадаешь — без всяких хлопот, заметь. Делами царицы — сестры своей управляет мой приятель Андрей Матвеич Апраксин. Коли согласен ты, я ему сегодня скажу, и будешь ты, молодец, ему знаем. На всякий случай у его милости защиту найдёшь и своего не утеряешь. Не меньше переплатишь подьячим, а таскать станут, все едино. И годы пройдут, а ты все будешь, несмотря на чистое дело, ни у того берега, ни у другого. А сделаешь как я говорю — об управленьи не заботься: без тебя управят все вотчины и что тебе следует исправнее, чем бы ты собирал, в Москву привезут. И в приказе царицыном, домовом, во всякое время получить можешь. Даже, нужда окажется, — знают, кто ты и что ты, — вперёд дадут без слова. Коли сам управитель не решится, царице доложат, на словах, разумеется, и разрешит она, по милости своей, тут же; и выдадут. Так что, парень, знай только кати в Москву за получкой и кути, душа, в полное удовольствие!..

Сами посудите, могло ли такое предложение не прийтись по душе Алексею Балакиреву с его непониманием житейских отношений?

Нечего говорить, что он с благодарностью облобызал руку благодетеля-советчика, предоставив ему — на словах, разумеется — право, что значило здесь то же самое, как бы на письме совершенно условие.

— Ну... желаю веселиться да поджидать от нас зова сюда: подмахнуть отказы и получить известие верное, сколько тебе будет следовать душ и четей, и денег, и прочего добра...

— И скажете тогда, когда получить что можно?

— Конечно... если понадобится, и в ту пору ещё дадут на издержки, да пошлют с тобой стряпчего царицы Марфы: во владенье ввести... Мотри,

Алёха... выручили мы тебя, мерзавца... попомни добро и ты, когда дядиными животами поделишь.

— Батюшка, Александр Василич!.. да что мне с тобой торговаться: что изволишь — сам бери... Позволь только к твоей милости прибежище иметь... После Бога один ты, благодетель, обо мне во благое промыслил.

— Ну... коли говорить хочешь со мной по душе... дела наши с тобой между двумя чтобы были... Никому их и знать не должно... Паче всего берегись дома царицыно имя поминать... не к пути. Слыхал я, что матка твоя проходимка: с жадности, чего доброго, шуму наделает... Тебе ведь не легче будет, коли перекрепить велят на её имя — как братнино... Тогда до смерти её и гляди ей в руки... Что соизволит... А коли молчок — тебе одному всё будет... И выпьешь иной раз... и закатаешься к таким же птичкам, что царь в лесу накрыл... Ну... и всякое другое, при деньгах можно...

— Очень благодарен за остереженье... Ничего не скажу ни матке, ни...

И в такую-то пору случись же такой грех: сажают с молодцом за стол не Дашу-хохотунью, а Анфисочку, может, и впрямь красивей и умней, да на первый взгляд — ни рыба ни мясо.

Устраивает же судьба таким путём общее лихо, и за него непричастным приходится зачастую расплачиваться слезами горячими да жалобой на бездолье.

Таков, к несчастью, и выпал жеребий Анфисе Васильевне. Подвернулась Алексею Балакиреву не сама она: мать так решила. Посадила их вместе за стол свекровь наречённая не в пору и окончательно испортила дело будущих супругов ещё до венца. Люди красуются, стоя под венцом, день свадьбы называют лучшим днём в жизни девушки! Так ли это? — кто и когда спрашивает. На беду Лукерья Демьяновна словам своим о девичнике придала обязательную силу закона, благо венечная память была в руках.

Только миновали Госпожинки; не успел выйти из головы угар от кубков, выпитых на именинах Натальи Семёновны, как пришлось ещё усерднее нализаться одной матери, выдавая дочь, а другой, жена сына.

Платье цветное, яркое, одело стройный стан Анфисеньки; сорочка с рукавами в косую сажень, такая тонкая, что сквозь неё чуть не сквозили плечики невесты, споря белизною с фатою золотошвейной, ничем не отличалась от бледного девичьего личика. Черты его очень миловидны, но глаза, дышавшие добротою, подёрнуты были грустью. Фигура жениха, напротив, выражала такую злость, что не заметить этого было нельзя не только своим, но и гостям, даже не подходившим близко к чете, поставленной на алую тафту подножек.

Грусть в чертах миловидной невесты, на которую, впрочем, не обращали внимания, потому что под венцом показывать веселья вовсе не полагалось, и нахально-злое выражение лица жениха не изменялись, однако, во всё время совершения церковного чина, не изменились и при взаимном поцелуе обвенчанных и как бы замерли на лицах четы, повезённой из церкви пировать.

Положим, и на многих свадьбах того времени можно было подметить подобное же выражение у соединяемых нераздельно до гроба, но здесь находили все что-то особенное, не вязавшееся с обстоятельствами.

— Мотри, Терентьевна, чтобы нашенький Алексей Гаврилыч хвостика не показал зараз же после венца суженой-ряженой! — шепнул няньке боярчонковой кучер Панфил, вводя выпряженных из свадебного поезда коней в мыле в конюшню.

— А почто так тебе... померещилось, непутный?..

— Путны мы аль непутны... а я в заклад голову даю, что Алексей, как есть человек Божий, тягу задаст в странствия. Вот помяни моё слово...

— Да с чего ему?.. Невеста — краля писаная...

Слова провозвестника грядущего покрыты были ударом в лад чуть ли не трех десятков бубён и взвизгиваньями как бы пришедших в неистовство полдюжины мегер. В действительности это был туш в честь новобрачных наличным музыкальным оркестром, которому аккомпанировали постельные свахи, хватившие от усердия ещё раньше возглашения тоста за здравие молодых.

Затем пир пошёл своим чередом с полным, как следует при подобных

случаях, разгулом. И если у бедных ставят последний алтын ребром на свадьбу, то у достаточных подавно было чем залить какую угодно жажду. От отписания явлений обыкновенных и нигде не минуемых читатели позволят нас уволить. И сами они знают, что везде, где свадьбы, даже в наши дни, там крик и гам, в городе не дают во всю ночь заснуть соседям. В помещичьем доме пировали целую неделю. Питухи вставали с отяжелелыми головами с ложа только для того, чтобы снова нагрузиться; а кто не так пить любил, как есть, тот из-за стола не выходил с утра до вечера. Роздыхом, пожалуй, были церемониальные сборы в баню молодых после каши, наутро бракосочетания, но в общем пьянстве это были явления, проскользнувшие в общей памяти едва ли не бесследно.

Неделя пиров, с переездами от матери к матери, имела в результате громадное истребление припасов у обеих хозяек да право каждой из них сказать: "Я как следует гостей угодовала на радостях".

Проявления особенной задушевности не замечено было только в молодом, к которому в полном смысле льнула пригожая супружница, заискивая с трепетом его расположения. Но угодливость её дальнейшего выполнения долга со стороны Алексея Балакирева ничего не вызвала. Он на нежные ласки отвечал неохотно, а все больше ходил из угла в угол да посвистывал. С матерью он избегал даже разговора, как бы чего поджидая.

На самом новолетии за молодым с Москвы гонец пригнал, и с этим посыльным он собрался в тот же вечер. Уехал — и след простыл. Так и сгинул словно.

Молодой в утешенье осталась одна надежда: авось новорождённый напомнит сколько-нибудь черты отца, за что про что оставившего жену — один Бог ведает.

— Родится внук — Иваном назову, Милосливым, — решила бабушка Лукерья Демьяновна, на Анфисеньку обратившая всю любовь свою.

— И, матушка, будет либо нет, далеко ещё... Рожь перемелется — мука будет, — проговорила матушка-попадья, слывшая почему-то в околотке за предсказательницу. Признание за спорщицею этого качества

заставило вдову Балакиреву не начинать бесцельного спора и ещё крепче задуматься.

"Врёшь ты, ворожея!.. — про себя думала Балакирева. — Может, даст Бог, умолить ещё удастся... Чтобы было по-моему..."

Раз забрав в голову что бы то ни было, Лукерья Демьяновна не отлагала исполненья решённого, а тотчас принималась за осуществление своего намерения.

Тут подали ужинать, и помещица принялась убирать за двоих, и все спешно таково. Это означало для домочадцев, что она не в духе и готова выкинуть какую-нибудь мудрёную штуку Основательность этого предположения объяснилась наутро, когда Лукерья Демьяновна собралась в путь-дорогу на богомолье выпрашивать... чтобы внук был Иван Милостливый!

Несмотря на то что спор попадьи вызвал прямо эту незаконную поездку, помещица взяла и её с собою — на свой счёт, разумеется, да посулила ещё по возврате подарить на шугай лятчины. Объездили странницы не только все околотки своей костромской стороны, галицкие пределы и пр., но и в Ярославле побывали, и даже к Нилу Столбенскому, к Кириле Белозерскому и к вологодским чудотворцам наведались. Везде Лукерья Демьяновна щедрую милостыню подавала и все молиться наказывала о внуке, Иване Милостливом...

Возвратясь домой не скоро, барыня сделала недовольную мину, узнав, что Анфиса Васильевна и не думает ещё разрешаться А день прибытия домой оказался уже днём памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прошёл между тем и не один этот день, и не одна неделя, а внук все на свет Божий не является. В ожиданье внука, по зиме ещё, решила Лукерья Демьяновна в деревне Еремкиной для житья невестки соорудить дом о двух жильях, на славу, со всеми затеями тогдашнего плотничьего художества, с петушками и с решётками по краю конька да у окон, с длинными прорезными лопастями нарядных наличников. Просто на игрушечку похож стал в отделке дом безмужней жены Балакиревой.

На дом для будущего внука, а не внучки, не жалела Лукерья Демьяновна даже и черляди на раскраску резных бордюров под коньком крыши. Назначить изволила она дом, так роскошно убранный, новорождённому; а он — быть так греху! — медлил, обманывая постоянно ожидания горячей и нетерпеливой бабушки.

Вот и май на исходе. Никуда не ездила Лукерья Демьяновна, и даже по ближним знакомым, дожидаясь скорого разрешения невестки, с самого богомолья. Наконец не выдержала: поехала к спорщице попадье на рожденье. Жила она в чужом приходе, вёрст шесть в сторону от дороги по просёлку.

Приехала, разумеется, и за обед тотчас. Для дорогой гостьи новорождённая принесла наливочку её любимую; просила откусать, не погневаться. Наливка понравилась. Помещица её посмаковала вдоволь и совсем развеселилась: тараторит себе да тараторит. Глядь в окошко — верховой из дома её мчится.

— Что ты, Яков?

— К вашей милости.

— Не дадут мне, право,дохнуть спокойно... Вот живые люди! Ну... зачем там понадобилась?

— Да Анфисе Васильевне...

— Бог, что ль, дал кого?

— Истинно-с.

— Ну что истинно? Говори кого, олух?!

— Ды слышал — бают — мальчика. Иваном поп нарёк. Отец Данило, как позвали, сам это сказал: "Знаю, знаю, чего Лукерье Демьяновне требуется... Иванушку внука".

— Дай Бог ему здоровья... попомнил, голубчик, моё уваженье... Прости же, Анфиса Герасимовна... уж домой поспешу... Тебя бы прихватила.., да, боюсь, не поедешь... Гости-то, вишь, у самой...

— Ничего, буду

— Лошадку пришлю... Будь же... всенепременно, смотри!..

И помчалась помещица. Лука-кучер только и слышал во всю дорогу

"Скорей да скорей!" Приехала. Бежит к родильнице. Целует Слезам обливается. Готова чуть не на голове ходить. Послала за батюшкой... Пусть, дескать, пожалует, не замедлит... Проведать боярыня желает; какой это внук будет Иванушка?

Отец Данило не замедлил. Взял палку да шляпу и лётом прибежал. Поздравляет Лукерью Демьяновну.

— Да когда, отец, именинник-то будет новорождённый?

— Сегодняшний Иван... Как следует в день рожденья на свет христианину...

— А какой он такой, святой-то, прозывается, батюшка, скажи?.. Не утай!

— Христа ради юродивый, — отрезал поп Данило словно правый.

Лукерья Демьяновна как зарыдает с горя.

— Этого только недоставало на беду мою! — говорит.

Дело в том, что в наше время можно сколько угодно глумиться над подобными — как бы сказали верно — причудами помещицы Балакиревой. Не все ли равно, какое имя дать? Да тут и ещё того меньше. Имя то самое, какое назначила бабушка, да титул святого не такой. Из-за чего бы слезы-то лить? Хорошо нам так рассуждать, живя чуть не через два века позднее. В наше время не придают никакого значения имени новорождённого; не заботятся даже узнать, какого святого память в день рождения дитяти. А в старину имя нарекалось прямо то, какое записано в святцах в самый день принесения молитвы, как бы назначенное свыше будущему христианину, и качество, отличавшее святого, считали как бы предвещанием того, что ожидает новорождённого. Не все так думали — не спорим; из женщин же — очень многие, и в том числе Лукерья Демьяновна. Понятно, что при таком образе мыслей она перенесла своё недовольство с недогадливого отца Данилы и на мать новорождённого, а сама долго не могла осушить глаз, целуя внука и приговаривая "О горе, как Ваня дураком-от совсем будет! Отец негодным вышел. Думала, внуком буду утешена, а как и он-то будет фатуй! О я бедная, бедная!"

Напрасно впрочем, в первые дни и месяцы после рожденья внука

убивалась заботливая бабушка. Судьба, делавшая все не так, как она что заберёт себе в голову, и на этот раз подшутила над нею, может, в наказание за своеобычность. Ребёнок оказался здоровеньким, весёленьким и очень забавным. Вместо верного признака идиотизма, неподвижности и скуки при обжорстве, — чего так опасалась Лукерья Демьяновна, — Ванечка казался младенцем очень живым. Его умные глазки всегда так приветливо обращались к бабушке. Платя за привязанность к гостинцам, чуть не отучила его совсем от пищи бабушка. Её голос — правду сказать, очень резкий — он стал рано узнавать, сперва вздрагивая, а там, услышав её приход, обыкновенно сам тянулся к ней и подавал свои ручонки, предлагая взять его. К году младенец начал все чисто и ясно говорить. Прорезанье зубов вынес без особенной боли и всего-то повалялся да похмурился дня три. Думали, начинается у него только заправская немочь, а уж в ротике и зубочки показались. Чем больше рос, тем больше к себе всех привязывал Ванечка, оставленный отцом, неизвестно где мыкавшим горе или утопавшим в сладостях.

Пора нам заняться и им.

Оставляя молодую жену, её родню и свою мать так скоро после свадебных пиров, Алексей Балакирев ещё не составил в уме своём представления: что будет дальше?

Он просто хотел показать матери, что он не ребёнок, которому можно навязывать что ни вздумается. Относительно подруги жизни, случайно брошенной ему на шею, Алексей так скоро не мог, в сущности, заявить ни малейшей претензии. Собою она была очень миловидна, ухаживала за ним с подобострастием и старалась ласками рассеять любой признак неудовольствия, выразившийся на лице мужа. Но эта предупредительность не оказывала на него почти никакого влияния, так как он принадлежал к числу таких характеров, на которых кокетство и некоторая холодность действуют более, чем ласковость и угодливость. Он только и думал, как бы вырваться из-под опеки матери и жить на своей воле. Придавая словам Кикина универсальное значение, он рассчитывал в Москве оказаться в полной безопасности от требований

службы. Первым делом после разговора с Кикиным Алексей счёл нужным отправиться к Апраксину. Андрей Матвеевич Апраксин хотя ничему не учился и потому знал не более Алексея Балакирева, но годами был постарше и видел не только большой свет московский, выросши в избранном кружке царских приближённых, — но даже Европу, куда был взят царём Петром. Там, однако, Андрей Матвеевич пополнил объём знаний своих только по части оценки вин и всяких сластей да ещё развил артистические влечения к прекрасному полу. Удовлетворять благородным стремлениям и сердечным влечениям мог брат царицы, впрочем, уже не с прежнею широтой. Родительские достатки были невелики, а царица-сестра любила поить-кормить, в расходование же денег требовала отчёта, в точности сообразуясь с приказами царствующего деверя.

Александр Васильевич Кикин был человеком с большими способностями, удивительно чуткою предприимчивостью и с верным взглядом, что не всегда характеризовало рьяных предпринимателей. Мы уже знаем, что он был в полном смысле слова то, что французы называют *bon vivant*. Но при этом он обладал таким деятельным характером, что напоминал скорее петровское качество, чем привычки дельцов старого времени. Кикин, с своим быстрым умом, мог всегда дать разумный совет любому, а друзьям, которых у него было немного, он помогал усердно, как самому себе. Андрею Апраксину он и по совести считал нужным служить усердно, не отделяя его интересов от своих и рассчитывая на его поддержку столько же, как и на свои собственные силы. Расследование протасьевских плутней навело Кикина на мысль убить двух бобров разом, и Андрею Апраксину и себе доставить средство угощаться, а тех, которые согласятся прибегнуть под охранительную защиту царицы Марфы, поставить вне подьяческих каверз. Покладливость и вера в его, Кикина, заботливость и добросовестность здесь, разумеется, были первые условия. Алексей, как мы знаем, принял их не раздумывая и долго не имел ни малейшего повода раскаиваться.

Явившись в Москву, он сразу отыскал резиденцию Александра Васильевича Кикина. Приход нашего героя оказался больше чем не

вовремя, но умный делец, не показав ему неудовольствия, прямо высказал Балакиреву, что намерен его послать к милостивцу со своим посыльным.

Милостивец был, разумеется, Андрей Матвеевич Апраксин, все уже знавший. Его всегда можно было застать, если он дома, или на пуховике, или за столом.

Первая аудиенция Алёши состоялась, когда Андрей Матвеевич сидел за столом между тремя своими штатными паразитами. Мы так позволяем себе назвать стряпчих, живших у него в доме. Они за столом занимали постоянные места и каждый день напивались усерднее хозяина.

Все четверо столовавшихся были ещё навеселе и уплели покуда три только блюда, слегка распустив на брюшке шёлковые свои опояски.

Появление в столовой светлице посыльного Кикина с новым лицом вызвало приветливую улыбку на лице хозяина.

— Мишка, потеснись, дай местечко Балакиреву! — крикнул Апраксин, привстав и рукою приглашая Алёшу сесть подле себя. Он знал все хорошо и был приготовлен другом: оказать сыну Лукерьи Демьяновны всю свою приязнь за его доверенность к ним.

Алексей начал было приветствие и чествование Андрея Матвеевича "государем милостивым, надеждою сирот, прибежищем обидимых" и т.п. — хвалебными указными эпитетами, требовавшимися по этикету представления высшей особе московского служебного мира — но лаконическое: "Полно!" — остановило его. А собеседники засыпали приговорками: "побереги напредки — бабы привередки"; "садись-не чинись"; "не суши глотки — налей водки".

Алексею осталось выполнить последнее, как вдруг апраксинский чашник перед носом его поставил чашку со щами ленивыми, над которыми носился тёплым туманом пар.

— Я, батюшка, до вашей милости завернул, о дельце мало-мало...

— Пустое, брат, затеваешь... Дела тогда делаются, когда наешься да выпишься... У меня такой обычай... Кика ужо вечером будет, тогда про дела. А за столом — едим, пьем вперегонку... Так ведь, Лебеда?

— А то как же? — ответил сосед Алёшин по лавке Михайло Абрамыч Чернцов, малый разбитной, хотя и поживший на сём бренном свете достаточно. Другой, сидящий против, застольник апраксинский, был Евстрат Сидорыч Мухин, молодец в поре и любивший краснословить, вставляя в речь не к месту слова и выражения из церковно-служебного обихода. Он их отлично выучил наизусть в бытность в лавре Троицкой послушником и каноархом даже. От сего прямого пути к Царствию небесному отвлёк молодца враг-кознодей Ивашка Хмельницкий, а орудием сего душегубителя был сам хозяин, к которому в приезды к Троице назначался новый Евстрат в келейные прислужники. В крестовой церкви Андрея Матвеевича Мухин читывал часто часы и отправлял вообще клиросную должность, если силы, сохранившиеся в схватке с Ивашкою, позволяли. Наконец, последний застольный товарищ был Карп Пафнутыч прозванием Лыско, а на самом деле Загощин. Это был безответный во всех отношениях человек: пил усердно, только делаясь все более хмурым и не роняя ни единого слова, словно слова были у него дороже жемчуга. Он не знал, что такое опасность. Стоял, куда его поставят. Когда нужно было употреблять в дело тяжёлую его руку, Андрей Матвеевич говорил:

— Карпуша, не зудят ли у тебя кулачки?

Карпуша делал руками движение, выказывавшее стройность его прямого стана, и, как боевой конь при первом звуке литавр, потряхивал головой, но слов не ронял напрасно. Без приказа кулаков в дело не пускал и — по наружности грозный — был, наоборот, самый мирный силач, которого только видела русская земля, отличавшаяся во все времена силачами неприятельскими и добрейшими. Если же нужно было постоять за друга, Карпуша оказывался лучше всякой стены и надёжнее щита. Теперь и Балакирев включался в общество приживателей Андрея Матвеевича Апраксина. Алёша в обществе Загощина, Мухина и Чернцова был в полном смысле свой. О деятельности другой, кроме питья и еды, да ещё изредка утех с слободскими девками, ни один член четверолистника и думать не мог. Но с некоторого времени прекрасное настроение кружка

заменялось разладом, и виною разногласий оказался не кто иной, как Алексей Балакирев. В нём вдруг пробудилась жажда деятельности, которая открыла бы ему дорогу к служебным повышениям, хотя бы на первый случай до капрала. Алексей видел господина капрала Кузмищева у своего покровителя Александра Васильевича Кикина. Пил даже с этою важною персоною, одетою в кафтан саксонский с перевязью через плечо. Пленяли его кушак лакированной кожи, с пряжкой, туго сжимающею стан, да лакированные сапоги за колено с преобладающим крагеном и распущенная шляпа. Воинственная наружность капрала настолько задела за живое раздобревшего, румяного Алексея Балакирева, что он обратился к Кикину с просьбою: определить его как дворянина в капралы.

— Никак невозможно это. Набирает, правда, Артамон Михайлыч теперь народ в солдатские полки, да в солдаты коли попадешь — натерпишься горя, а в капралы не скоро угодишь... потому что, друг любезный, не погневишься только, а коли у Андрюши пожил, какая, черт, наука да выправка строевая пойдёт тебе на ум? И не советую...

— Отец родной, Александр Васильевич, за что ж я сурком пролежу век свой, коли батюшка государь всех дворян на службу призывает с нехристом хочет переведаться?!

— Так-то так, да ведь ты, Алёша, и первую службу едва ли понимал. Молись Богу, что мы с Данилычем, видя твою сущую неумелость, выгородили тебя из дядина воровства. Зачем напоминать царю о себе теперь, благо с рук сошло да позабыл?

— Да я в службу пойду, а не царю о себе напоминать хочу...

— Да списки-то гвардейских солдат ведь он пересматривает сам. Прочтёт Балакирев — и вспомнит... Потребуется справки... Дело может спросить... И прощай, житьё-бытьё привольное!.. Настать могут тебе и голода, и холода. Подумай!

— Да что думать... Лучше в глаза взглянуть беде, чем скрываться, коли быть ей следует...

— Разве вот что, — как бы раздумывая и соображая про себя, выговорил

Кикин.

— Что такое?.. Скажи, голубчик, чего сдумал? — пристал Алексей.

— Да, думаю, так нельзя ль капральство занять и в полках не быть?.. Трудно оно, конечно, а может?..

— Как же бы?.. Надоумь! Головка ты золотая наша! — ластился Алексей.

— Да нельзя ли через Монцовну как. Одно, братец, тут неладно... Сделает — не сделает, а поминок напредки подавай, и немаленький... То же, что и Сашка Протасьев, вор...

— Это самое разлюбезное дело! — весело вскрикнул Алексей. — Начистоту, значит...

Кикин презрительно улыбнулся только.

— Да сколько, примерно, на первый случай? Рублёв полсотни... Меньше и не беспокой...

— А так нельзя?

Кикин засмеялся и смерил смельчака глазами. Алексей, улыбаясь, выдержал этот осмотр, охорашиваясь.

— Конечно... Чем черт не шутит? Ты молод и исправно сложен... Может, Анютка и позарится... без рублёв сделает...

— Пойду... попытаюсь, — самоуверенно отозвался Алексей и замолчал. Кикин не начинал. Балакирев встал и поспешил уйти, решившись во что бы то ни было добиться свидания с Анной Ивановной Монс, местожительство которой вся Москва знала, а тем больше знакомцы братьев Апраксиных.

Глава III. МАЕТА

Когда Балакирев возвратился к Апраксину, Андрей Матвеевич ещё не вставал со своего пухового ложа.

Он, впрочем, не спал, а грезил с закрытыми глазами. В наше время назвали бы занятие проснувшегося Андрея Матвеевича мечтами, но в конце XVII века москвич ещё не выдумал этого мудрёного слова, явившегося в проповедях придворных витий чуть не век спустя. Грезить наяву — совсем другое дело — занятие приятное представлять себе

всякие утехи и лёгкое, без помех их достижение. Грёзы Андрея Матвеевича были очень недалеки и не отличались богатством и причудливостью. Он, проснувшись и чувствуя во рту гадость, как бывает с похмелья, не сплёвывал от лени только. А чтобы заглушить неприятное ощущение, обычно прогоняемое с похмелья новой выпивкою, увлёкся мысленным представлением приятности питья всласть. Представление сделало ещё неизбежнее потребность выпить, и он, не владея собою, хриплым голосом крикнул:

— Пить!

Этот приказ окружавшие его знали и несли наливку барбарисную мгновенно.

На этот раз поднесенье замедлилось. Человек, ожидавший боярского пробуждения, рассчитал, вероятно, неудачно и, полагая, что успеет, куда-то улизнул по делам своим.

Раздался крик вторично, уже с гневом.

Робко вбежал знакомец и поспешил подать стопку.

Гневный Апраксин с жадностью глотнул, сколько влилось в его широкое горло, и, закашлявшись, со злостью оттолкнул стопку, так что наливка плеснула в лицо подносившему, а затем до ушей его долетели непечатные слова.

— Не гневайся, Андрей Матвеевич! Я не скоро нашёл сулею.

По голосу узнав, что Ганимедом прислужился не холоп, а Алёша Балакирев, Апраксин счёл нужным извиниться:

— Прости, Бога ради, Алексей Гаврилыч, я ведь бельмами не заметил, что ты это, а не Андрюшка... Куда его черт унёс?.. Зачем изволил трудиться?..

— Да ты зычно и жалобно таково вдругорядь крикнул, — я и поспешил... Никого не случилось кроме...

— Удружил истинно... да виновность свою чем мне загладить будет?.. Ты у меня... друг, а... не...

— Не велика важность... только бы, государь, был ты благополучен да на меня не изволил серчать за безвинную провинность.

— Все готов сделать, что прикажешь, только, Бога ради, отпусти мне вину невольную! — не оправдывая себя за сбрых, заверял совсем очнувшийся Апраксин. — Проси чего желаешь — сделаю... охотно...

Лицо Балакирева просияло, но вместе с желанием, промелькнувшим в мыслях, напала и робость.

— Я бы... — начал он и замялся.

— Ну, что? Говори смелей, — подбодрил Апраксин, вошедший в свою колею доброго малого к приятелям.

— Хотел бы, да не смею просить.

— Скажи, что? чего тут?..

— Коли бы милость была... чинком бы найти нельзя ли?

— Да знаешь сам — в стряпчие теперь не производят уж...

— Я не стряпчев чин хотел бы...

— А каков чин желателен был?

— Да, коли бы можно... хоша из солдатских... сержантский, что ль?

— Служба, друг, нужна, в полках...

— Могли бы мы и послужить... не перестарел ещё...

Апраксин улыбнулся принуждённо, но промолчал. Балакирев, не слыша отказа, продолжал:

— Хоть бы у воеводы, у братца твоего, которого ни на есть, у Федора Матвеича аль у Петра Матвеича, при лице, как...

Апраксин вздохнул:

— Тебе, братец, Верхососенские леса помешают... Царю докладать надо, и сперва... прямо братья взять не могут... И сами докладать не решатся... Нужна заступа иная... под весёлый час... чтобы не показалось во гневе... Ты лучше... Монцовне поклонись... Что ни на есть посули... Она, известно, зубы скалит и к державному подъедет при случае, так что и отказа не случится... Вот каков мой совет! Самое короткое и верное средство...

— А сколько ей примерно... в приносе-от?

— Ну... это, как те сказать?.. заранее... не отгадаешь... Мать её карга прежадная... торгуется пуще жида... Недёшевы у их покупаются милости...

— А дать мне, сам знаешь, не из чего много, Андрей Матвеич... Животы

дядины вам пошли, кои можно было бы...

— Нет ли ещё чего где?

— Есть отцовские четьи... Матери ворочены... Да она, прах её возьми, живуща и при животе своём не поступится...

— Ну, как знаешь... А Монцовне не дать нельзя... и не дойдёшь до ей с пустыми руками.

— Эко горе!.. А с тобой бы заехать, к примеру сказать?..

— Почему не завезти тебя!.. Да будет ли польза?. Твоё дело!

— Ты бы, Андрей Матвеич, только бы предоставил мне с этой самой Монцовной слова два-три перемолвить... что возьмёт, по крайности...

— Можно... а все же, смекай, там на словах одно пообещают, а на деле не то сделают.. коли поминок нет...

— А поминок достать иначе не приходится, как к матери ехать... пугнуть бы... Да я один и съехать не берусь... Заклюёт... Коли бы милость была... Пустил бы ты со мною Карпушу... силачка нашего...

— Ах ты баба!.. нужна охрана к матери ехать!..

— Удержать может, а с человеком, на службу, скажу, посылают... то, что надоть...

Апраксин прошёлся по опочиваленке раз и другой, думая?

— Ин быть по-твоему — наконец сказал Андрей Матвеич, — возьми Лыску... Уж он одним кулачищем страху задаст целой деревне... Ты только сам поспрошай его: поедет ли?

Карпуша для друга с позволенья хозяйского на его троечке скатать согласился с Алёшею.

Ехали они скоро, и вот в воскресенье, тотчас после обеден, подкатили к терему Лукерьи Демьяновны.

— Никак, Алексей Гаврилыч домой пожаловал, — весело, с учащённым сердцебиением вскрикнула хозяйка Алешенькина, пестаясь со своим Ванюшкой.

Отец Герасим читал "Маргарит" вслух; приостановился. Накануне помещица причащалась и зазвала батюшку на обед да почитать — душе на спасенье.

Лукерья Демьяновна глянула в окошко сама таково неприветно и болезно. Всю душу у ей словно поворотило, и сердце защемило, и в голову ударило; холодный пот выступил.

— Что ещё будет? — молвила она едва слышно.

Попадья перекрестилась.

Всё смолкло. Словно наступило затишье перед грозой. Алексей дверь распахнул с какою-то напускною удалью и, в шапке войдя, крикнул:

— Рады ли гостям?

— Сними шапку, иконы здесь, Алексей Гаврилыч! — речисто отчеканил батюшка.

— А, и ты здесь? — как бы про себя выговорил Балакирев, сдёрнув шапку.

— Ждали, видно? — прошептал он, глядя в пол.

— Зачем, батюшка, пожаловал, аль одумался? — не без ехидства сурово спросила мать.

— Чего тут одумываться?.. В своём мы разуме завсегда, коли служим... С чего изволишь, матушка, эти загадки загадывать?

— Какая загадка — спросить у сына, зачем он явился, когда от жены и от матери бежал татски, не простившись... Словно погони боялся.

— Не погони боялся... а потребовали... Ну и...

— Ну и что?.. С полуночи тягу дать требовалось, скажешь?.. Беспутный, беспутный!

— Опять пошла лаяться!.. Кажется, не трогал вас... в покое оставил... Живу, не замаю ни в чём...

— То-то и есть... Обидели здесь, значит... Бедняк и скрылся... сил не стало выносить... Заели сердечного... а он, истинно сказать, ангельская душа... Думает: чем гибнуть от нападков неслыханных, дай удалюсь от зла, благо сотворю... В рай попал... окунулся в потоке благого жития и стал совсем другим. Зачем только из рая в ад ворочаться?

— Не нужно бы было, не приехал бы.

— Да в чём нужда-то? Жену повидать? Доброе дело! Вот сынок у тебя... Благослови, отец, детище!

— Почём знать, моё ли? Чьё детище, тот и благословит...

— Ах ты озорник непутный! Смеешь ещё при мне, при матери своей, обижать молодницу невинную!.. Да ты, Алексей, совсем басурман!.. ни души, ни родства, ни чести!.. Эк тебя дядюшка-то злодей каким сделал!.. Такой же изверг, как и тот ворог... И тебе, значит, придётся на осине болтаться...

— За что бы было ещё...

— За воровство твоё, известно...

— Не воруй ты, а обо мне не заботься, коли ничему не хотела научить... Тяжело служить — да служу.

— Это и видно, что тяжело... Глазищи-то вишь кровью налились — от тяготы. От самого винищем несёт, как от пса смердящего... Можно поверить, что служишь... Пьянствуешь ты да бесчинствуешь с такими же пьянчугами, как сам! — закончила Лукерья Демьяновна, искоса глядя на спутника своего сына, остановившегося у дверей в светлицу и, видимо, смущённого приёмом Алёши матерью. Загощин не знал подробностей отъезда Балакирева в Москву, и упрёки матери Алексеевой дали понять добряку, каким неказистым человеком подлинно был его товарищ. Карп понял, что Алексей, слывший в доме Апраксина добряком, с ними был тоже неискренним. В сущности он оказывался человеком грязным, неблагодарным, от которого добрые люди должны отшатнуться. Он скрыл, что имеет жену и ребёнка, выдавал себя за холостого и теснимого. Довольство общее в доме матери говорило прямо, что гуляка, пресмыкаясь у Апраксина, просто баловал, а не был принуждён обстоятельствами к проживанию на счёт благодетеля. Сравнивая свою участь с Алексеевой, Карп мгновенно осудил Балакирева за все и порешил, что он негодяй и недобрый человек. Обиды себе в словах хозяйки дома честный Загощин не признавал, совесть свою только своей роли теперь.

Молодая мать с ребёнком тихо плакала, робко приближаясь к мужу, не обращавшему на неё, казалось, никакого внимания. У ног помещицы сидела старая карлица, одетая девочкою. Она держала мотки бели,

которую разматывала Лукерья Демьяновна. При словах Алексея карлица невольно попятилась, потому что он в рассеянии размахивал арапником, словно собираясь огреть им кого придётся.

Тот же смысл жеста пришёл в голову и отцу Герасиму, и тот не выдержал:

— Ты бы, Алексей Гаврилыч, арапничек отложить изволил!.. Не к месту тако со родительницею беседу вести... Не лихой человек — кого стращать вздумал?

— Я не стращаю... а дело пришёл говорить.

— Садись и говори спокойно... как у людей водится.

Алексей присел на кончик лавки против стола и, видимо, спутался.

— Какое же дело тебя привело сюда? — глядя сыну в глаза, с чувством спросила мать.

— Закрепить нужно за мной отцовские четьи... значит, ехать нам нужно, матушка, в город.

— Какая там закрепа, коли впрямь на службе ты; отцовский надел впору жену прокормить да сына... А тебе на что поместье, коли служишь?..

— Оно моё!.. Значит, моё дело им и распорядиться как я хочу.

— Ну, это я тебе не позволю... Сраму не побоюсь, сама к воеводе пошлю безобразника... Врёшь ты, что служишь... Скрываешься от службы, если ещё не хуже что...

— Не езд, пожалуй, — я и один в городе обделаю дело... Подам челобитье воеводе, что мать захватила не принадлежащее ей — не вдовью часть, а сыновнее наследство...

— Пошёл вон, щенок, если ты до такого безобразия дошёл, что своему детищу не радеешь и о семье не думаешь!.. Батюшка свидетелем будет, в каком виде явился ты, и лжёшь, что служишь, пьяница!.. Пойдёшь к воеводе — тем лучше: скорее схватят да упрячут куда стоит...

— Никто меня не смеет упрятать... Я при государынином добре приставлен управителем, при матушке, при царице Марфе Матвеевне. С её, великой государыни, веленья и сюда поехал.

— Подай-кась, боярин, наказец царицын, мы вычтем: зачем тя прислала

её царское величество, матушка государыня? — спросил поп Герасим, как видно смекнувший, что Алёша выдаёт себя деловым для вида, а у него совсем другие умыслы.

— Не тебе, батюшка, читать царицыны наказы: молоденек... и архиерею не всякому даётся.

— Не видишь разве, батюшка, что озорник изворовался и мелет незнамо что... На пьянство, вишь, ему отказ нужен последнего детского кормленья... Да не на ту напал бабу... Мать твоя лучше тебя права знает и в указных статьяx найдёт, как и что... Проваливай знай откуда пришёл...

Карп не мог долше выносить сцены, где ему приходилось играть мазурика, сообщника в неказистом деле. Он вдруг поворотился и, хлопнув дверью, усилил и без того затруднительное положение Алёши. Поп повторил настойчивее вопрос:

— Ну, пусть архиереи чтут наказы царицы, а и нам, попам, не заказано. Да... наконец-от, пусть меня к ответу потянут, а я вычту попрежь, какое твоё, Алексей Гаврилыч, управление... коли не облыжно назвался...

— Не дам я тебе, шалыгану, наказ царский.

— Пошёл вон — за товарищем своим! честью говорю, — возвысив уже голос, отозвалась мать. — Не заставь меня своё детище власти предавать...

— Едем в город, я сам пришёл просить тебя... Чего меня власти предавать?.. Власть должна за меня заступиться, коли мать все заграбила и выделить не хочет.

— Чего выделить?.. из чего? Никак, ты не в уме, Алексей? — более спокойно, но решительно спросила Лукерья Демьяновна.

— Из моих отцовских.

— У тебя дитя есть и жена... Начальство рассудит... Узнает про твоё огурство и то отберёт, на что пьёшь...

Для Алексея сделалось ясным, что матери известно уже то, чего, он полагал, она не знала. При сознании этого смятение овладело им вполне, и он опустил голову и руки. К нему бросилась с плачем жена с ребёнком. Алексей отвёл её легонько и, стремительно поворотясь, вышел, не

оглядываясь.

Карп уже сидел в повозке. Алексей вскочил и ударил по лошадям.

— Ванечка, у тебя нет отца! — раздался отчаянный вопль жены и матери...

— Что, брат Алёша, с чем поздравить? — встретил Андрей Матвеевич Апраксин упавшего духом Балакирева, когда тот вернулся в Москву.

— Черт, а не баба — мать моя!.. Доносом грозит, вишь... что мы отлыниваем от царской службы здесь, в Москве...

— Уважила же она тебя, дружок! Ай да глазок!.. Око всевидящее... И права ведь... сам знаешь... Не в твои годы ещё ничего не делать... На то старость зашибёт...

— Ей-от что от того, что я лямку не тру в походе?

— Пьянствуешь, говорит, истинно правда! — невольно высказался данный в спутники Балакиреву простосердечный силач.

Андрей Матвеевич сам любил выпить и слова своего проживальщика принял за упрёк себе. Этот щелчок боярскому самолюбию дал другое направление решению Апраксина:

— Смалчивай, Алёша... стерпится — слюбится; за всяким тычком не гонись. Тем паче нам с тобой, пьяницам... И козырнут, ин где ни есть неожиданно — нужно проглотить да подумать только: нельзя ль непьяницам усы обтереть. По братине мне брат ты, выходит; моё дело и пристроивать будет тебя, некошного. Не хотел я тебя везти на немецкие мытарства. Ан, видно, так уж и быть. Хватим для бодрости побольше и под вечерок скатаем.

Апраксин повернулся и вышел из светлицы в ложню. Алексей туда же пошёл. Силач как ни прост был, а смекнул, что с языка непутное сорвалось. Крякнул да руками развёл. А у самого слезы на глазах показались.

Вот и вечер.

Апраксин и Балакирев крепко навеселе вышли из сеней и съехали со двора.

— В Немецкую слободу! — крикнул Андрей Матвеевич кучеру на

повороте из переулка. Если даже никогда не бывали в Немецкой слободе, то, въезжая с Яузы, могли бы понять, что белый дом, у которого с угла на крюке железный лист болтается, занят персоною важною. Целые ряды коней в упряжке с кучерами, только без хозяев, вытянулись у белого домка в струнку. На железном листе, положим, нарисована золотая бочка; однако трудно допустить, чтобы ехали со всех мест сюда только глотку залить винищем заморским. Пьяницы и пешочком бредут. В погребке и свету не много. Один хозяин, немец чванный Иван Абрамыч Монцов, за прилавком дремлет. И мальчишек его не видать; куда-то попрятались, коли тяги не дали. Понаехали, значит, не к погребку, а застряли над погребком, где в двух оконцах ярко свечи горят.

И Андрей Матвеевич Апраксин с Балакиревым остановились. Кучер к краю отъехал. Калитка настезь — прощенья просим: пожалуйста, значит; от калитки три шага — и на лесенке; везде чисто и опрятно. Сразу видно, что немцы живут; и в сенях огарок зажжён порядочный, в подсвечнике — не каганец какой в черепке.

Андрей Матвеевич только за кольцо взялся у дверей — они и распахнулись. Отворил красавец мальчик лет шестнадцати и ухарь, должно быть.

— Здорово, Павлуша... Рады ли гостям?..

— Оченно рады, Андрей Матвеич... давно не изволили жаловать к нам... видно, у вашей милости недосуги да болести лихие!..

— Ишь ты, бездельник, зубоскал; зубы твоё дело точить. Видно, принялся здесь вплотную, коли задираешь, к примеру сказать, нашего брата.

— А то что же спуску давать?.. Вы сами не жалуετε несмелых да невострых. А здесь такие тем паче не требуются. Коли Сам глянет да видит: рохля, и пропал человек... не поправишь потом...

— А я вот хотел тебе же под масть молодца представить, Анне Ивановне на побегушки.

— Хорошее дело! — ответил красавец, озирая с ног до головы Балакирева.

— Дома?

— Кто?

— Сам знаешь.

— Они-то с сестрицей дома, а матушки нет, потому посторонним Матрёна Федоровна приказала отказывать... А вы-то... почти свои...

Мы должны объяснить тем, кто не догадывается, что Апраксин привёз спутника своего в дом к фаворитке, тогда в силе бывшей, к Монс.

Не говоря более, Андрей Матвеевич пошёл из передней, и Балакирев за ним. Пройти пришлось через две каморки в светлицу, где гости играли в немецкие игры.

Хозяйки, две дочери виноторговца, пригожие из себя, играли. Обе они вскочили разом при появлении Апраксина и его спутника.

— Топро пошаловать! — произнесла с самою праздничною улыбкою старшая сестра Модеста, по-русски Матрёна Ивановна. Анна Ивановна, младшая, самая то есть фаворитка, дружески пожала руку Апраксина и со вниманием посмотрела на Балакирева.

Сели. Хозяйки стали продолжать игру, для обеих имевшую понятный интерес, потому что перед каждою возвышалась порядочная кучка серебряных денег. Играли не по маленькой.

Апраксин присел подле Анны Ивановны и стал на ухо ей давать советы. Правда, что он был крепок пить, но, должно быть, выпито было столько, что мозг работал плохо, и советы были невпопад. Положим, ловкая Анна Ивановна не слушала внушений, но один раз машинально поставила по подсказке Андрея Матвеевича и потеряла; неудовольствие заметно для всех исказило её прекрасные черты. А Апраксин, не замечая, что он её подвёл, счёл именно это-то время лучшим, чтобы завести речь о предмете посещения. Ему показалось, что Анна Ивановна откинулась назад от жару и скучает игрою. На самом деле партия была кончена и начались расчёты. Потерянная ставка повлияла, разумеется, на уменьшение куша выигрыша, и Анна Ивановна про себя считала, а Апраксин не заметил и завёл речь.

— Вы не отгадаете, зачем мы у вас?

— Может быть! — рассеянно ответила красавица.

— А хотите знать?

— После... теперь недосуг... — И сама, сбиваясь, продолжала считать по пальцам.

"Ну, ладно... После так после. А я думал, теперь!" — про себя сказал, хмелея, Апраксин.

— Шесть рублёв осьмнадцать алтын четыре деньги вашей чести причитаются, Анна Ивановна, — выговорил занятый расчётом дьяк Автоном Иванович Иванов.

— А я читал шесть рублей твацеть тва алтин шесть тенег, — ответила, рассчитывая, хозяйка.

Автоном принялся пересчитывать.

— Да брось ты его, сутягу, Анна Ивановна, меня лучше слушай, я не четыре алтына, а целую полтину набавлю, — отрезал Апраксин.

Анна Ивановна обиделась.

— Не просит ваш польтин.

Автоном пересчитал снова и выкрикнул с досадою прежний итог.

— Он не даёт альтин; давай твой польтин! — подскочила бойкая Матрёна Ивановна к Апраксину.

— Ну, ладно, красавица... дам. Сестрёнка твоя нос дует попусту. А мы по душе поговорим.

Матрёна незастенчиво села и положила на колени ему свою разжатую руку, готовую принять подачку. Апраксин полез в шаровары. Достал кошелёк и вынул ефимок. Держа его между пальцами, он заговорил:

— Твоё не уйдёт... Слушай. Надо бы молодца устроить в полки. Попроси Адама Адамыча принять участие... Сегодня он сержант, — Апраксин кивнул головой на Балакирева. Матрёна Ивановна взглянула на него свысока, с миною покровительства, — завтра получай от меня шестьдесят рублевиков. Я ответчик.

— Мало! — ответила Матрёна, заливаясь хохотом. В хохоте слышалась ехидность, если не злоба, а частию жадность; но слова звучали высокомерно, поскольку она чувствовала свою силу и нужду в ней

искателя милости.

Балакирева передёрнуло. Ему стало обидно за себя и за Апраксина, с которым, как он понял, обходилась презрительно не боярышня какая, а кабатчикова дочка, только что немка. А уж какая, не спрашивай... диво бы путная?.. Несмотря на презрительный хохот и ехидство, Матрёна вынула из пальцев Апраксина один ефимок. Поспешно вставая с места, она его положила к себе в кошелёк.

Предложение сестре слышала, разумеется, Анна Ивановна. Она соблаговолила занять её место и, очевидно, с намерением сгладить сколько-нибудь выходку Матрёны, оборотила к охмелевшему Апраксину лицо своё, освещённое самою доброю улыбкою.

— Теперь я готова слушать вас, — сказала она.

— А я уж забыл, — зевая, совсем осоловелый, медленно протянул Апраксин. — Вот разве он скажет, — и торкнул чуть не в нос Балакирева.

Анна Ивановна обратилась к нему. Алексей был гневен, но взгляд красавицы расположил его к уступке, если не к полной сдаче.

— Ви знаить Антрей Матвейч... он такой шалюн...— сказала Балакиреву Анна Ивановна ломаным языком с такою добродушною и смиренною интонацией в голосе, которую употребляла только в редких случаях, ожидая крупную поживу.

Алёша не нашёл слов и только встряхнул кудрями.

— Ваш батышка воевода... пиль? — попробовала спросить фаворитка, желая ободрить несмелого, как думала она, юношу.

— Да! — поспешил прихвастнуть Алёша. — Полковой и пребедевой. Смею заверить.

— Поместьи ваши там, — указала фаворитка рукою на восток, — должно быть?

— Да, так, пожалуй, придутся... — поспешил ответить оправившийся Балакирев, начиная пользоваться свойственным ему нахальством.

— И патишка шиф? — продолжает допрос немка, соображая, как ей заломить.

— Нет... померши... Я один, как перст... Готов твоей милости всякую

службу сослужить... готов.

— Потелишься тостаток?

— Коли бы получил все, что надлежит... почему ж не так, поделимся... Нужно попрежде к полкам пристроиться... чтобы считаться хошь... да, сержантом покудова бы.

— Адам Адамыш, — вдруг произнесла Анна Ивановна, перестроив покровительственную улыбку на дружественную и вставая с места навстречу вошедшему Вейде.

Полковник Вейде, в недалёком будущем генерал, уже перебежал пространство от дверей до места, где сидела девица Монс, и схватил очень ловко в одну свою руку обе её ладони, не снимая своей замшевой жёсткой рукавицы.

Балакирев счёл за благо встать и отойти за стул, на котором уселся Адам Адамыш.

Это был в полном смысле живчик, человек лет тридцати с лишком, не толст, не худощав, не мал, не велик, а средственный из себя, с плутовскими, немного косившими глазами. Он умел одинаково всем угодить: с русскими пить и немцев бранить, с немцами — русских осмеивать. С купцами сетовать о худых временах.

В доме Монсов Адам Адамыш Вейде был принят на дружеской ноге, и как с другом дома с ним обращались без чинов, но тем не менее при посторонних — со всеми подобающими церемониями. Посторонними на этот раз были Апраксин со своим спутником, о котором по его ответам Анна Ивановна составила понятие, совсем расходившееся с подлинным положением Алёши.

Вейде, чванно раскланявшись с Апраксиным, с которым никогда и потом близко не сходилась, по-немецки поспешил спросить девицу Монс: что за лицо, с которым она вела беседу при его приходе. Вейде показалось, что неспроста он уступил стул и удалился назад.

Анна Ивановна на ухо шепнула Вейде, что это какой-то воеводский сын, богач, явившийся искать при её посредстве милости у него, Адама Адамыча.

— Как называешься? — прямо задал вопрос Адам Адамыч Балакиреву.

— Балакирев.

— Де слушиль?

— По кумпанствам, у Протасьева, — неохотно ответил Алёша.

— Плют, снашит... — не долго думая, решил Адам Адамыч, не взглянув больше на говорившего и не ожидая возражений.

Алёша почувствовал себя так скверно, как только может чувствовать человек, считая для себя все потерянным и испытывая горечь обиды, но понимая, что обидеться нельзя за горькую истину. Апраксин немного ободрился. Хмель уже скатил с него, а с отрезвлением явилось сознание, для чего он приехал к фаворитке. Он попытался завести разговор с Анною Ивановною и Вейде.

— О чём, смею спросить, шептаться бы вам?

— О свой теле, — ответила девица Монс.

— О тшом немци кафарят, московски тшеловек не понят, — отрезал Вейде.

— А ну-кась, попытаем... Может, грехом, и поймём? — будто смешком, а на самом деле не думая пасовать, отозвался Апраксин.

— Невосмошна сём кафарит, — уклончиво опустив глазки, попробовала молвить успокоительным тоном девица Монс.

— Шашни разве укрывать, смалчивать, а дело безобидное почему не говорить?

— Какой шашин, каспадин Апраксин, ви знайт за мной? — горячо вступился Вейде, чувствуя своё превосходство.

— Теперь не знаю, а скажешь — буду знать.

— Ви ни снайт, что кафарит, — продолжал горячиться Вейде. — Мой не пасфолит блакоротной дивис опишать.

— Да ты, никак, Адам Адамыч, совсем белены объелся, — оправдывался Апраксин. — Какая те там обида далась.. Какой-то девице, вишь... В уме ли, сердечный?

— Мой ни кочет срам слушайт... ви русска плют... фи...

Апраксин более не слушал... Он уже сгрёб в охапку Вейде и готовился

его грянуть оземь, когда девицы Монс обе бросились к гневному Андрею Матвеичу.

— Помилуй!.. — нежно заголосила Анна Ивановна.

— Путь топри! — умоляла Матрёна.

Сам Вейде перетрусил, чувствуя себя в медвежьих лапах Апраксина... Вся дерзость улетела незнамо куда, и он чуть слышно пищал:

— Не шути так, Антрей Матвеич! Ти не понимал мой слова.

Апраксин был отходчив и умён. Знал он, что Вейде дерзок, а чтобы он был труслив и нахален, никому бы не поверил. Хмель совсем прошёл у Андрея Матвеича. Он готов был расхохотаться над перепугом девиц и полковника, но, глядя на их растерявшиеся лица и пустоту в комнате, из которой все поспешили убраться, как только он сгрёб Вейде, — Андрей вздумал продлить сцену униженья его.

— Ты, голубчик, больно востёр стал, — обратился он с внушительною речью к своей жертве. — Теперь рассчитаемся с тобой за все обиды.

Говоря эти слова, Апраксин покрепче сдавил вертлявого Вейде, невольно застонавшего от боли.

— Польно, пиристань, друк мой, Андрей Матвеич. Ти напрасно сердится.

— Нет, не напрасно... Какой он дался тебе плут? — допрашивал Апраксин, кивая на Балакирева.

— Мой пашутил над каспатин... Катоф сатисфакция ему дайть... Пушай, камрат, пошалюй... О-о-ох!

— Врёшь... Отпущу — обманешь...

— Пашится маку...

— Побожись!

— Буть я нетшесна тшеловек...

— Какая же это божба? Вот те Христос — говори.

— Вот... Кростос...

— Что я, говори, сделаю за свою провинность...

— Што я делай... свой провинность...

— Все... что он меня попросит...

— Што попросит... мини...

- Проси, Алёша, что хочешь, да думай скорей, пока держу немца...
- Сержантом, да не в полке... коли бы можно.
- Сержант на польке... Карош... Тело!..
- Смотри же, Адам Адамыч, не лги... Анна Ивановна послух будет.
- Я свитетель... польста рупли мне, Антрей Матвеич, — поспешила вставить красавица Монс.
- Так и быть. Пришлю тебе с ним же, Анна Ивановна, когда в сержанты напишет его Адам Адамыч.
- Прикотит савтра на Преображенец твор... Мой делайт...
- Смотри же, Адам Адамыч... сам в мои камраты назвался... Будешь мне камрат — я те — вдвое. Поцелуемся. Мою просьбу справишь — на кафтан лундского, самого лучшего, дарю...
- Итёт.

Раздались поцелуи, и из железных объятий силача Вейде вышел, не шутя расправляя свои бока. Вейде казался весёлым. Апраксин почувствовал себя в ударе. Анна Ивановна смекнула, что лучшее закрепление дружбы и договора бывает при питьё за общее здоровье.

Светлица опять была полна. Исчезнувшие заняли свои места. Павлуша взглядом красавицы хозяйки уполномочен был внести наливки.

Вот он с подносом подходит к Вейде и Апраксину к первым, и учитель с учеником одновременно протягивают руки, берут чарки и чокаются.

Павлуша поднёс чарку и Балакиреву.

Алёша развязно подбежал и чокнулся с хозяйкой и с обидчиком.

Анне Ивановне это даже понравилось, и она, чокаясь, сделала глазки, сопровождая этот манёвр ободряющею улыбкою.

Вейде, придя совсем в себя, стерпел выходку дворянина, ищущего ранга сержантского, но, чокаясь, менторским тоном приказал:

— Савтра. Преобрашенска двор, до полден.

Поднесенье кубков через несколько минут повторилось по случаю приезда самого главы всепьянственного собора, всешутейшего Никиты Моисеевича с постельничим Гаврилою Ивановичем.

Оба члены всепьянейшего собора из наиважнейших питухов по Москве

не терпели, чтобы в их присутствии кто ослушником был в осушении до дна чарок.

Андрей Матвеич оказался самым доблестным последователем Ивашки Хмельницкого: готов был все вливать в широкую глотку, не чувствуя упадка сил. Храбрый полковник Вейде, наоборот, показался самым слабейшим. Он с четвёртого поднесенья, что называется, окочурился. Сжался как-то в три погибели и, покачнувшись, упал своим легковесным корпусом на здоровое плечо Алексея Балакирева. Тот бережно сложил негрузную ношу на его же стул — только поворотил тело, терявшее равновесие, к высокой стенке, а ноги подпёр своим стулом.

Никто из гостей и хозяек на все эти заботы Алёши не обратил внимания. Только всешутейший косневшим от трудов языком спросил:

— Сей кто?

— Вейд, — говорят.

— Ишь, пусто его будь, как надёжно заправлен: никак не свалится...

Поздно последовал разъезд честной компании. Хозяйки ждали приезда старшого,.. Не уллучили, видно, на тот вечер.

Прощаться стали.

— Не побудить ли Адама Адамыча? — почтительно спросил Павлуша Анну Ивановну.

— Мошно...

Будили, будили — ничего не поделаешь: спит как мёртвый.

— А мы вот что, — вдруг молвил Апраксин, — мы его с собой возьмём.

— Это сиво лютши...— в один голос отозвались сестры Монс.

— Бери же, Алёха, за ноги, а я за голову!.. Положим себе на колени и увезём.

Сказано — сделано.

Все почтительно расступились перед телом успокоенного полковника Вейде, которого, совершенно как усопших, вынесли из дома Монсов Апраксин с Балакиревым.

Апраксин, увозя с собою спящего Вейде, вздумал с ним ещё проделать штуку.

Привезя к себе Адама Адамыча, Андрей Матвеевич приказал, приготовить ему постель в отдалённой части своего дома. Несмотря на то что ставни были заперты и нисколько не пропускали света, он велел ещё полавочники плотно уложить к стёклам оконниц с внутренней стороны, а все двери, притворя их, прикрыть сукнами. Так что ни один луч света никоим образом не мог попасть в спальню гостя. Количество выпитого в доме Монсов для слабого Вейде было порцией, превышавшею его силы. При царствовавшей глубокой тишине, в тепле и полном мраке слабосильный Адам Адамыч проспал весь день и уже к ночи стал приходить в себя; но боль в голове, мрак и отсутствие, казалось, человеческого существа вблизи погрузили полковника в состояние полной неизвестности: спит он или бодрствует?

Вейде ощупью убеждается, что он в постели, но где — никак понять не может. Вот попробовал он встать — чувствует под ногами везде мягко; полы покрыты тремя коврами. Доходит до стены — на ощупь и там мягко. И стены завешаны коврами, чтобы ни окошек, ни дверей не нашёл гость.

Помучившись бесплодно и не находя выхода, несчастный Вейде, упав совершенно духом, начинает кричать.

Дали знать хозяину о крике пленника. Апраксин уже ожидал известия и приготовился. У него был натёрт мел на бумажке и подле лежал уголь, обточенный как следует. Мелом он выбелил себе лицо и вывел во всю ширину его углём соединённые вместе брови. От этой подмазки и выбелки получилось страшное видение. Особенно при слабом освещении насаженной на трость тоненькой свечки, которою как жезлом помахивал Апраксин, размалёванный и закутанный в кусок холста с ног до головы.

Представ в таком виде перед перетрусившим совсем Вейде, Апраксин глухим голосом спросил его:

— Душа заблудшая! Что требуется к твоему упокоению?.. По что стенаешь?..

— Та я рази умер? — совсем растерявшись, прошептал Адам Адамыч и невольно съёжился.

— В месте покаяния пребывавши... Попомни, зная дела твоя,

осуждаемый на мучения...

— Помилуй, Коспоти!

— И прости мя за презорство, — подсказывает Апраксин.

— Присорьства прости...— машинально повторяет Вейде.

— Что я безвинного поносил у блудницы, превознося кичением.

— Китшени...— лепетал, не все удерживая в памяти, Вейде.

— И за то мучениям повинен, аще не заглажу с лихвою, — вещал за него Апраксин. — Предан будучи лютым демонам, иже гортань мою исполнят смолою горячею...

Язык Вейде лепетал невнятно от страха.

— Катоф... катоф.

— Балакирева удовлетворить по прошению и Апраксина, за отпущение вины моя, другом паче всех считати...

— Путу.

— Молись усерднее!.. Кара приближается! — грянул Апраксин сильнее и сильным движением трости погасил свечу.

В это время уже подползли двое людей Апраксина в шубах наизворот, наброшенных на голову. Они прижали к постели Вейде, и третий, поставив воронку в разжатый рот мычавшего страдальца, влил в него из сулеи крепкой водки так много, что Вейде одурел, обеспамятел и скоро заснул.

Прошло несколько часов, ещё пока он очнулся и от боли в голове начал стонать. На его стоны снова Апраксин подвязывает себе бороду, надевает дедовский белый кафтан, красный треух на голову, берет тонкую зелёную свечу и кадилницу; приказывает принести к спальне пленника кушанье, разрезанное мелко-намелко, и питьё сладкое с большим количеством спирта. Входит вдруг в спальню Вейде и начинает его уверять, что он его лечит от сумасшествия; что ему, как больному, не нужно говорить, а только употреблять яства и питьё, которое ему врач даёт.

Проголодавшийся Вейде отчасти под влиянием страха повинуется охотно. Апраксин даёт Вейде есть и пить. Его разбирает хмель очень

быстро, и он засыпает крепче прежнего. Апраксин сонного Вейде перевозит в его дом и приказывает сказать, что он в обмороке найден.

Через день после попойки у Монсов очнулся наконец у себя Вейде.

Ему докладывают, что Андрей Матвеевич Апраксин, найдя его в обмороке, доставил домой и приезжал сам уже справляться о здоровье.

— Нитшего не помню... Да, ми били... вместе... кажется...

И перед мыслью Адама Адамыча прошли ещё раз представления смерти и явление волшебника... и успокоение после еды и питья. Все это сперва представлялось ему в бессвязных видениях, во сне, как ему казалось. Вслед за тем, однако, прокралось подозрение: "Неужели это сон, не более? И как я чавкал, работая, проголодавшись, челюстями... и как мне лилась в горло живительная влага, приятно утолявшая жажду совершенно и погружавшая в забвение? А может быть, и не все сон? Расспросить бы Апраксина", — подумал Вейде.

А Апраксин и сам тут как тут!

— Ну, каково тебе, Адам Адамыч, как очухался?

— Нитшево... Скверно во рту.

— Пройдёт... Подкрепиться надо.

— Я рано не принимаю пищи... В приказ Преобрашенский зьесшу, новобрантци поутшу и токта...

— А много у тебя новобранцев-то?

— Тостаточно, тафолна... Олюхи!..

— Вот возьми в капралы Балакирева — ему обузу учить спервоначалу отдашь.

— Какой Балакирев?

— А что Анна и Матрёна Ивановны просили, со мной вместиах.

— А-а! Анна... Матрёна Ивановна... Снаю... Тавай, кте он?

— Здеся... Алёха, эй!

Явился Алёха и отбил чуфисы полковнику.

— Слюшить кочишь... учить нада темпи...

— Слушаю-с!.. Знаем эти самые темпы, мало-маля.

— А-а! и как ти толжен бить, егда натшальник пред фронтом станет и

молвить "Слю-шай!"?

— Известно — надобно в струнке стоять, мушкет круто к плечу держать да слушать...

— Карашо!.. Нью, егда натшальник мольфит: "Слюшай! Заряжай ружьё!"?

— Тогда, известно, со плеча берёшь ружьё и заряжать принимаешься и, как изготовишь, ружьё паки на плечо положишь, уже без слова командирского...

— Карашо! Только снаишь... ответшай слова самая артикуль, ни полша... А егда повелевает офицер: "На караул!"?

— Я, государь, как твоя милость учит в Преображенском, не раз слушать хаживал и запомнил в точку ту ж команду: "Перед себя! Бери за дуло. Ставь перед себя. Отмыкай штык. Снимай. Клади в ножны. Опусти руку по мушкету. Мушкет перед себя. Мушкет на караул".

— Нью... а ештше последнее?

— "Мушкет перед себя: подвысь; на плечо".

— Так... И мушкет поворачивает умеешь?

— Всеединственно што палку... — прихвастнул Алёша, только видывавший его в руках солдат. — Как есть! — повторил он без уверенности.

— Карашо, карашо... Восмем себе! Прозиваешься?

— Алексей Гаврилов Балакирев, из дворян...

— Палакирев творанин... карош гренадир будет творанин... понатна тшилофек. А плохо понимать — палька кушай тафолно...

— Ну, к чему?.. — вступил в речь Апраксин. — Я потому по самому тебя, милостивец, и просил, что думаю, толк в парне есть... Сержантом сделаешь, верно, не умедливши... А что касается меха на кафтан твоей чести... Соболей сегодня пришлём — отпущу, и с лацканом...

— Прокурат ти, Андрей Матвеич... То, может, путит всатка?

— Какая там взятка? Не покривишь ты душой перед Богом и великим государем, коли мой Алёха взаправду исправен, и ты сам видишь, что дело знает.

— Карашо... Сержант так сержант... потом мошно... А утшить рекрюты

мошет карпораль!

— А в сержанты перескочить не можно с первого году?

— Царь биль карпораль, поели барабанчик.

— Ну... Ин, Алёша, делать нече... потерпи и капралом побудь... коли иначе нельзя, вишь...

Балакирев склонил голову с почтением. И в капралы, понимал он, так добряк Адам Адамыч решил по словесному испытанью милостиво. Может, с мушкетом и не то бы сказал?

Самолюбие его ослепляло, но не настолько же, чтобы он, человек, не лишённый верного понятия о вещах, не понимал, что повторять запомнившиеся чужие слова или самому держать мушкет да им вертеть — не одно и то же. Сноровка нужна... да ещё какая. Поэтому, считая и капральство призрачным до записанья чином этим в список, Алёша на ухо шепнул Апраксину:

— Андрей Матвеич, добейся, государь, теперичка, чтоб Адам Адамыч писаря призвал и меня бы капралом повелел записать... Ближе будет к делу... этак.

Апраксин придавил ему легонько ногу в знак согласия и, помолчав, спросил:

— А как у вас, Адам Адамыч, делается в полках? Ты вот, милостивец, нашёл, что капрал исправный будет Алёха Балакирев, — и въявь его в капралы повелишь вписать.

— Д-да! совершенно... И завтра, с четвертый час утра, учить пашел новых олюхов... темпи... снать... И в сторона воротить.

— И на письме со сегодняшнего дня значится Балакирев Алексей капралом коего полку? Бутырского аль твоего?

— Мой полк. Бутирски командир Пётр Иванич Гордон... Я не могу бутирски карпораль писать... Да ви што, сумливайтись? Семён!

Явился дневальный в дверях.

— Посови Иван Суворов, писарь генеральни...

Через минуту вошёл статный молодой человек лет под тридцать с кудрявыми, от природы завивавшимися вверх усиками над верхнею

губою.

— Напишить: Алексей Балакирев, карпорали седмой карпоральстви.

— В седьмом Тихон Суровцев, Адам Адамыч... в осьмом нет покуда...

— Нью! осьмое кариоральство Алексей Балакирев... Вот он самий...

Алёша поклонился в пояс пригожему молодцу и по знаку его вышел вместе с ним.

— Просим любить да жаловать наше недостоинство, почтённый государь-секретарь, — так титуловать прикажете? — подыскивая учтивые слова, какие только были ему известны, разразился Балакирев приветствием писарю Суворову.

Тот улыбнулся добросердечно и возразил, видимо польщённый титулом секретаря:

— Покуда писарь Преображенской гвардии; господином, коли заслужим, напредки будут величать... Все это, братец мой, для немцев — титулованья да чинности... А наше дело с тобой, коли мы двое как есть русаков, впору называть тебя Алёшей, а меня Ваней, коли хочешь. Потому что капрал в одном чине сдаётся с писарем... Чего изволишь?..

— Так милостив буди к Алёхе, коли так, без чинов, позволяешь обращаться...

— Да ведь ни какие мы с тобой не чужие. Хожу и я к Кикину и знаю, что ты за гусь у Андрея Апраксина... Чего ж тут?

— Так, голубчик, не прогневишь, и по душе дай ответ, о чём попрошу. Я, вишь, команду словесно затвердил, лучше не надоть, а ружьёцом бы повертеть как положено нужно теперя-тко, коли завтра учить других велит Адам Адамыч.

— Я, голубчик, не из строю... А есть у нас мушкетны мастера первой статьи, как Яшка Борзов... Он те вымуштрует как не надо лучше... Одно, может, не захочется тебе с им вожжаться — сквернослов и тяжёл на руку... Без зуботычин у его никакая наука не ведётся... Рази будешь ему глотку заливать, так он те помирволит... иной раз и придержит руку...

— Да чего тут разбирать тычки, лишь бы скоро и исправно, с толком показал... А насчёт угощенья, не стоим за винище... Хошь обливайся им,

коли в глотку не полезет...

— Ну, так лучше не надо такого стервеца. Сходите-ко, робятки, по Борзова Яшку...

— Да чего ходить?.. Гляди, он со сторожем на дворе, с Якимом, перебивает... Должно, просит жажду утолить... Видно, ломает сердечного... Вишь, какой зелёный... Прикажешь кликнуть, Иван Андреич?..

— Кличь... Спешно, скажи, требуется. Коли б выучил в неделю мушкетом вертеть... распрекрасное бы дело...

— Не скоро ли, Алёша, будет? В неделю, сдаётся, немного узнаешь... Хоть бы в месяц, и то бы молодец был... Ведь Яков Борзов мастер своего дела, да захочет и подольше получать угощение.

— И первое самое дело, кстати теперь!.. — услышав своё имя в сенях и хватая на лету последние слова, ответил обрадованный Яков.

— Угощенье всякое принимаю ото всякого, и тем паче от желающего почтить нашу честь и чин... Нельзя ль учинить почин, Иван Андреич?

— Да это угощать хочет новый товарищ — Алексей Балакирев... Тебя пожелал спервоначалу отыскать и почесть воздать...

— С нашим удовольствием... Чем служить можем, рады... И кружало недалече, ото двора сзади...

— Я хотел, батюшко Яков...

— Сысоич, родной... Мы не гневливы, тем паче в кружале... Бывайте счастливы... едем.

— Нужду имею, Яков Сысоич, в твоей науке.

— Ладно, ладно... Выставляй знай, примем тя в свои руки!.. С чаркою проходите несть скуки аз и буки, говорит даже умник наш Левонтий Бунин. Я зело желаю с тобою, капрал, спознаться, чтобы нам друзьями остаться.

Алёша совсем повеселел. В мошне у него гремели пятнадцать рублей пяточками серебряными. Приглашён был запить новое знакомство и Суворов. Обещал он всенепременно завернуть и список захватить. "В кружале и передам, — говорит, — кто в твоё капральство назначен". Чего

же больше?.. Судьба словно заманивать стала на удочку удачи нашего Алёху, рассыпая перед ним новые блага на выбор: чего хочешь, того просишь!..

Царское кружало, стоявшее на углу переулка и большой улицы в Преображенском, было недалеко от задних ворот полкового двора, где жил Вейде, ещё занимая должность старшего майора. Но он, с царской поездки на Запад, был уже в ранге полковничьем. Новый генерал, Автомон Михайлович Головин, занимал со стороны широкого двора по другую сторону входных ворот с берега Яузы такое же жильё, как Вейде. Посредине полкового двора стояла съезжая изба, где помещалась полковая канцелярия и жил Суворов, который пригласил Балакирева для написания репортитии. По задней стороне полкового двора шли одноэтажные, кое-как сколоченные жилья солдатские с навесом внутрь двора. Под этим навесом и усмотрел Семён Борзова в беседе с Якимом. Предложение Алексеево было манной небесной для жаждущего Якова. От того он так и поспешил к злачному месту винной торговли.

Храм Бахуса и Момуса в ту пору был украшен неизменно парюю еловых ветвей, прибитых накрест над входом. Такие же ёлочки, вместо лавров, украшали и наличники двух волоковых окон, скупно пропускавших свет в царское кружало. Больше всего света падало на середину его через двери, днём вечно раскрытые. Стойка, видная с улицы, со входа была с одним приступком и деревянной решёткою, предохранявшею бутылки от самовольного захвата гостями. В решётке была дверка, которая открывалась при взносе денег и тут же закрывалась осторожным целовальником на задвижку, чтобы предохранить от невольного греха. Все входившие в кабацк крестились в передний угол, снимая шапки. Яков Сысоич и Алёша сделали то же, войдя и садясь за стол сбоку стойки.

Вместо мушкета Борзов схватил со стойки просовку, заложенную, должно быть, портным целовальнику, и ну с нею выделявать темпы, к немалому удивлению мирных посадских пьяниц. Он озадачил особенно честную компанию, подпевающую двум рядчикам "Как во городе было во Казани", когда вдруг рявкнул, держа на плече круто просовку: "Клади на

мушкет руку!" — и сам приударил по ней с солдатским удалством. "Подвысь мушкет!" — и поставил просовку вполоборота от плеча. Команда "На караул!" была наиболее всем знакомою, а отставленье ружья к ноге сильно подзадорило любопытство зрителей, не ожидавших представления. Каждый, в свою очередь, любовался, как Борзов выполнял эволюции, вполне художественно, с оживлением командуя: "Приступи правой ногой, бери мушкет, подымай к ноге". Или, как бы готовясь дать отпор и отменяя, казалось, решённое намерение, кричал и выполнял сам: "Мушкет перед себя! Обороти с поля! Мушкет на плечо!"

Алёша Балакирев, что называется, на лету ловил штуки ловкого Якова и уж воображал себя в его роли перед шестерыми новоуками своего капральства, которых так милостиво называл Адам Адамыч: "Олюхи!" Алёша никак не допускал мысли, что он сам может попасть в число тех же "олухов", а, напротив, представлял себя ничем не хуже Борзова.

Много ли они выпили или, лучше сказать, насколько сам себя угостил солдат-учитель, успевавший среди своих эволюции односложно отдавать приказания налить себе и выпивать духом налитое, — никому не было в примету. Но через час, когда пришёл со столбцом в кружало Суворов, Яков Сысоич был в состоянии ничем не сокрушимой храбрости. Только руки его не так охотно повиновались команде, а командные слова с неохотою и видимым коснением лезли из уст отца-командира. Алёша выпил всего две чарки тминной и был весьма весел. Радость Балакирева понятна всякому, кто бывал так же близок к заветной цели. Успех до того польстил Алёше, что все трудности представлялись ему теперь миновавшими бесследно.

Прав ли он был? — это другой вопрос. Суворов не много пил и не долго сидел. Он перед уходом пересказал обстоятельно два раза Балакиреву, как он должен принять завтра капральство:

— Нужно будет тебе со столбчиком сходить в солдатское жильё ещё с вечера, разыскать каптенармуса Евдокима Тарыева... Он те предоставит барабанщика, — сказал Суворов, — а тот будить тебя станет, твоё капральство и даст знать, что выведено... Ты их и поучишь мало-малю

руку разбирать спервоначалу. А завтра, как мушкет получишь, с Яковом займись: артикул повтори... И ладно будет...

— Благодарствую и сказать как не смогу за твоё научение... Истинно, после Бога ты, государь мой милостивый, Иван Андреич... Что прикажешь... все предоставляю...

— Ну, что там за предоставление... Жить будем вместе... Спознаемся впрямь...— и вышел.

Балакирев расплатился с кабатчиком и, ещё накачав Якова на дорожку, потащил его чуть не волоком к солдатскому жилью.

Отыскать каптенармуса и при посредстве его барабанщика было дело не трудное. Передав каптенармусу столбчик, Алёха услышал, что отбор в капральство придётся отложить до понедельника, потому что был вечер субботы, а в воскресенье дела не делались.

— Да Адам Адамыч велел утром завтра приняться учить капральство.

— Видно, Адам Адамыч запомнить изволил, а великий государь по воскресным дням учить заказал накрепко... А в понедельник милость твоя мундир примет и бородку скосит... Тогда и за дело...

Против этого возражать было нечего.

— А нельзя ль с Яковом с Борзовым мушкетом повертеть взавтрее...

— Про то про все ему знать, а не нам. Пожалуй, обеспокойся зайти к им в светлицу... Он с утра, чай, про выпивку смекать начнёт: где достать?

С этим и отправился домой Алексей, довольный всем, что случай и добрые люди устроили по его желанию: в чины произвели...

— А я только от Монцовны! — увидя своего приживальщика, не ложившегося спать, молвил, входя к себе перед утром, Андрей Матвеевич Апраксин. — Рассказывай свои похождения!

Что он в состоянии был рассказать, мы уже знаем. Выслушав рассказ Алёши, Андрей Матвеевич сообщил в свою очередь:

— Адам Адамыч был там. Матрёна Ивановна напомнить велела про пять десятков рубликов... за участие.

— Подождёт... благо устроилось дело! — ответил как бы нехотя Алёша.

— Так нельзя, смотри... Монцовны — случайный народ и своего не

привыкли терять... чтобы не вышло чего дурного... лучше развязаться... достать; как не достать полсотни?.. А то могут напакостить так, что не поправишь... по дружбе говорю. Я за тебя обещанные соболи Адаму послал: он их принял и портному передал уж... Охабень новый шьёт на соболях даровых... Твоё дело полсотни отдать старшей Монцовне, Матрёне...

— Да, прости Господи, дерьму-то этому за что? — упирался Алексей. — Ведь не она что ни есть повыше с кем вожжается... то Анна, никак...

— Разумеется, Анна... А Матрёна Анной сильна... На свой пай зашибает, покуда везёт...

— Ну, так... черт бы её драл!.. Подождёт, коли не набольшая... Ну, что впрямь сказать может она?

— И все, и ничего... смотря по обстоятельствам. А обещанное которой ни на есть из этих сестриц и не в твою высоту отдают с поклоном, прося не запомнить только да лиха не учинить.

Алексей погрузился в думу. Слова Апраксина не мог он не считать верными, но и упрямство, свойственное избалованным и капризным натурам, заставляло придерживаться принятого решения. Русское "авось" укрепляло упорство, маня возможностью провести гневных покровительниц, отыскав другую поддержку. Он был бы совершенно покорным и не думал бы увёртываться от взноса Матрёне Монс, если бы с Вейде не устроилось дело на первых порах так легко, возможность близкой неудачи даже не приходила в голову Алексею, рассчитывавшему на знакомство с Суворовым, учёбу у Якова Борзова и на собственное умение выходить из затруднений.

Апраксин после объяснений с Алёшей думал тоже раскошелиться лично: поступиться своими пятью десятками рублей, только бы не расстраивать дружбы с девицами Монс встречаться на нейтральном поле их гостиной с грозным царём Петром Алексеичем.

Прощаясь с ушедшим позднее других Адамом Адамовичем Вейде, Матрёна Ивановна будто случайно спросила его: правда ли, что он получил прекрасные соболя от Андрея Матвеича за то, что капралом

приняли какого-то Балакирева?

— Нихтс, мейне фрейлен, — ответил Вейде, стараясь казаться спокойнее. — Он пашутиль... Он толщин... ню... и саплатиль мне стари толга... Я за дшинь подшиненний мой затка не возьметь, — закончил он голосом оскорблённой добродетели. И, говоря последние слова, смотрел так прямо и добросердечно в глаза вопросчицы, что поселил в ней сомнение; не ослышалась ли она впрямь?

При всей приветливости, даже предупредительности в обращении с ним девиц Монс Вейде нисколько не думал открываться перед ними. Чтобы они предали его — этого, положим, он не ожидал; а в необходимости подарить им в случае своей откровенности — был убеждён. А он был человек расчётливый, всегда готовый, где удастся, уклониться от пословицы "рука руку моет". Он в глубине души был уверен, что поступил как следует, согласившись капралом записать человека, им проэкзаменованного и отвечавшего на вопросы. А Балакирева, как мы знаем, он спрашивал о разных командных терминах по части строевого ученья. Стало быть, не могли быть взяткой соболи апраксинские! Благодарность приятеля за одолжение, доказывавшая взаимную приязнь, была, по понятиям любого москвича, вещь почтённая, необходимая и составлявшая самый смак хороших отношений равных с равными. Относительно подчинённых — принос и памятки опять служили доказательством милости к ним начальства и почтения их к начальству. И это не взятки. Взятки — прямая торговля с условием выполнить заведомо преступное дело: присудить чужую собственность, давая двусмысленному закону толкование по усмотрению. Этим промышляли подьячие, оттого они и взяточники были по общей молве. Требования свои предъявляли они без всякого зазрения и лгать в глаза готовы были сколько угодно. Сестрицы Монс с их жаждою приобретения подарков, денег в действиях своих оказывались не особенно церемонными. Они в этом отношении держались скорее тактики дельцов приказных. Не спрашивали: за что, а только отдай, коли пообещал, правдою или неправдою. Твоё дело не обмолвливаться, а обмолвился — плати!

Вейде, как мы видели, увернулся счастливо. Его пришлось поневоле оставить в покое. Но Матрёна Ивановна уже считала своими полсотни рублей с Балакирева, и он должен был сделать взнос без скидки. Он, однако, насколько видно из подслушанного нами разговора с Апраксиным, был далеко не в расположении выложить денежки. Положим даже просто потому, что их у него не было в ту пору. Девушка Монс старшая между тем, как и младшая, не любила, чтобы затягивали в дальние сроки уплату чего бы то ни было ей обещанного, а потому должен был последовать, очень естественно, скорый взрыв её гнева.

Балакирев, используя слабость Борзова, угощеньями его достиг на первый случай желаемого: уменья вертеть мушкетом. Это, в ту пору особенно, высоко должно было цениться, и скорое усвоение эволюции ружьём должно было, само собою, отличить капрала в глазах командиров. От природы, как мы знаем, сын Лукерьи Демьяновны был с большими способностями и удивительно чуткою восприимчивостью. Превращение его в две недели в гренадера заправского из лежебоки компании Апраксина казалось всем, знавшим Алёшу, чуть не чудом. Это мнимое чудо, однако, было просто результатом вспыхнувшей решимости, не более. Люди впечатлительные и нервные способны на короткое время проявлять необыкновенную энергию. Но она, как всякое напряжение, непродолжительна и может замениться апатией до новой вспышки.

На первых порах Алёша вошёл во вкус строевых эволюции, и "олюхи", даваемые ему на выучку, крепко терпели от строгого, придирчивого муштрователя, зато быстро усваивали солдатское ученье. Оно у Балакирева продолжалось целые дни, и голос его неустанно гремел от утра до вечера на лужайке позади полкового Преображенского двора. Сам строгий генерал Автоном Михайлович Головин, не один раз слыша похвалы ловкому капралу, заглянул раз на лужайку и остался очень доволен и учителем и методою его.

Простояв около часа, Автоном Михайлович велел отпустить на отдых новобранцев и милостиво позвал капрала.

— Из каких ты, любезный?

- Дворянин владимирских пригородов.
- Давно в службе?
- Полтора месяца... здесь, а прежде...
- В полку-то сколько?
- Полтора месяца, докладываю.
- Молодец... Я тебя буду помнить... Учи так же, как теперь я видел... в ранг произведу!

Алексей от похвал такого строгого ценителя вырос на целую голову.

Польщённый высшим начальством, Балакирев на все окружающее способен был смотреть свысока, а на все постороннее — как на не стоящее внимания его.

Он уже считал себя если не первым человеком в полку, то, во всяком случае, особою важною. Мог он, разумеется, и гордиться теперь собою: выслужился собственным усердием и умением. Что его, не знавшего службы, не так давно одним поминанием бросало в жар и в холод от страха, теперь составляет его заслугу.

Заслуга и отличие всегда между тем вызывали козни зависти. И между товарищами скоро оказалось у Балакирева множество врагов и порицателей, прежде всего не прощавших ему внимания начальства при короткой службе. Учитель Борзов, с тех пор как Алексей перестал его поить, оказался самым ядовитым распространителем клевет на него.

— Через немчурку выезжий... вишь ты, хря какая... А туда ж, петушиться умеет — мушкет подвысь... Не научать бы мне стервеца вправду, а с подвоху лгать что на ум взбредёт, — не раз каялся, думая вслух, Борзов, уже не встречаясь с Балакиревым, погружившимся в море муштрования "олюхов".

Суворов был по-прежнему дружелюбен к Алёше, но ничего не мог сделать в его пользу при общем нерасположении к "выскочке". Так называли однополчане, старые солдаты, капрала Балакирева, не прощая ему скорой выслуги и милости начальства. Степан Суворцев, капрал, из бывших под Азовом, вхож был в Преображенское и знаком Сашке Меншикову. Этот любимец счастья не особенно милостиво слушал

похвалы кому бы то ни было, кроме его персоны. Суровцев был человеком невысоко покуда поднявшимся, но любимым Сашкою за язычок. Он к тому же будущему светлейшему оказал и услугу спервоначалу: обучал его мушкетец держать. В память этого и принимался и выслушивался. Подчас и подачки получал; подносили ему и чарку. Вот сидит он да ведёт, как, что в полку делается, и видит: вдоль по слободе катят Андрей Апраксин, Кикин да Балакирев с ними.

— Эти двое неразлучны с чего-то теперь — неспроста что, — молвил дальнорский Сашка. — Третьего не знаю... вашего полку?

— Капралишко это, Балакиревым прозывается. Вейдовской подхалим... Слышно, через Монцовну в чин произошёл.

Меншиков при этих словах стал пристально вглядываться.

На беду, соскучась ожидать взноса пятидесяти рублей, Матрёна Ивановна послала Павлушу, бывшего у них на побегушках, разыскать капрала Балакирева в полку. Как не разыскать расторопному Павлу Ивановичу, будущему генерал-адъютанту Ягужинскому, оку государеву, капрала Преображенского на полковом дворе? Нашёл.

— Здравствуй, Алексей Гаврилыч! Что так долго не бывал у нас?

— Где то ись? — прикинувшись непонимающим, вздумал было сыграть комедию Алёша.

— Матрёна Ивановна Монс приказала тебя к нам позвать да напомнить, что не мешает добрым друзьям помнить обещания.

— Какие обещания? Какая Матрёна Ивановна?

— Ну, полно, друг сердечный, напускать дурь... неравно из капралов могут и солдатом не оставить.

— Было бы за что!

— Да за здорово живёшь, к примеру сказать...

— Ты, братец, это у себя рассказывай, а не здесь... Проваливай откуда пришёл!..

— Я-то!.. Да ты, Алексей, в своём ли уме? В свою ли голову гнёшь, полно!.. Рога-то козлиные собьют, голубчик!

— Не ты ли?

Павлуша улыбнулся презрительно, но удержался.

— С чего ты на меня-то напустился? — сказал он спокойно Балакиреву.

— Я посланник, а послов, коли что и неладное передают, не оскорбляют. Мне с тобой делить нечего... Могу по дружбе тебе посоветовать, дрызг не поднимай. Коли взялся — плати. Не хочешь — твоё дело... Может, дороже обойдётся, коли не заплатишь... Не мытьём, так катаньем доедут...

Рассудок взял верх над горячностью Алексея; он простыл и подал руку Павлуше, прося извинить.

— То-то, извинить... Не ровен час... Я бы вспылит по-твоему... Мог бы тебе много зла наделать...

— Ну, друг, Павел Иванович, рассуди, за что я экой стерве полсотни понесу? Ну при чём она? — смею спросить. Адам Адамыч к себе меня призвал. Доспросил, как и что знаю я. Нашёл — могу учить... Капралом принял... Я отдался науке, видит Бог, усердно... Теперь всякого сам выучу...

— Все так... да, говорит, обещанные... За знакомство с Адам Адамычем...

— И то устроил Андрей Матвейч, ей-Богу, право!

— Слушай, Алёша... Я не спорю, что полсотни не шутка и выдавать жалко— ни за что ни про что да сам я слышал, как ты говорил на слова Андрея Матвейча, и он подтвердил.

Балакирев пожал плечами, припомнив.

— Ладно, — говорит, — скажи, удосужусь — приду, часть принесу... Всех теперь нет...

— Ну... хоть часть... покуда.

— А ты не уходи... пойдём, угощу.

— Какое угощенье... поди ты к Богу!

— Нет... нельзя...

И настоял-таки. Павел Иванович пробыл с недавним чуть не оскорбителем не один час за медком барбарисовым. Расстались друзьями. Побранили его за промедление дома. Сказал: не скоро нашёл; занят был ученьем; обещал часть принести.

— Это ещё что за новость! Часть? Посмотрю я, как он посмеет не все

сполна выложить!..

И ещё пуще распыхалась нетерпеливая Матрёна Ивановна.

Наступил вечер. Собрались гости обычные. Явился и Балакирев. Матрёны Ивановны нет. Подходит к нему Вилим Иваныч Монс, мальчик лет десяти, брат красавиц, не по летам смыслённый.

— Отдай мне пятьдесят рублей, должных тобою моей сестрице Матрёне Ивановне!.. Мне нужны они... Я лошадку куплю... Я...

— Я тебя знать не знаю... С чего пристал? — отрезал, не приготовившись, Алексей.

— Подай! — и все тут, кричит дерзкий мальчик.

— Что подать?

— Деньги мои!

— Где ты их взял?

— Не твоё дело! Мои — и давай!.. Обещаны...

— Я тебе ничего не обещал!

— Обещал... За то, чтобы капралом сделать тебя...

— Кто же сделал капралом? Ты?

— Не я, а через нас сделали.

Вдруг неожиданно входит царь и — прямо к Балакиреву и мальчику:

— Кого сделали капралом через вас? — спрашивает мальчуган Пётр.

— Его! — дерзко отвечал Вилим, показывая на Балакирева.

— Кто? — допрашивает Пётр.

— Я не знаю — кто... а знаю, что сделали... Он капрал теперь...

Пётр смерил глазами встревоженного Балакирева и спросил его в свою очередь.

— Давно служишь?

— Полтора месяца.

— Капралом?

— Капралом!

— А солдатом сколько?

— Я принят... знающий...

— Не служил солдатом?

— Нет... Я...

— Какой знающий?

— Артикулы... темпы... Спрашивал Адам Адамыч Вейд... Я отвечал, и за моё знание удостоил капралом... учить других... и учу я, великий государь... сам изволь увидеть, как мной довольно начальство...

Пётр смотрит на него и припоминает Вдруг блеснули глаза — вспомнил.

— Ты был в лесах на Воронеже?..

— Был.

— А здесь зачем?

— Пригласили...

И опять погрузился Пётр в думу. Лицо его сделалось мрачно, и на нём ярко выразилась недоверчивость...

— Твоё место в полку... а не по немецким домам шляться! — сказал строго государь и ещё раз окинул Балакирева с ног до головы...

А Вилим Монс своё говорит, показывая на Балакирева.

— Он должен был сестрице деньги дать... Она мне велела получить. Он не хочет...

Но уже вбежали девицы Монс и стали шикать шалуну. Пётр молчал и делался мрачнее. Балакирев стоял как вкопанный. По знаку царя он вышел...

Что было после ухода его в доме Монсов, осталось, разумеется, неизвестным, потому что все прочие, сидевшие в светлице, с приходом державного гостя незаметно исчезли.

Балакирев, идя к себе, обеспокоенный, завернул к Апраксину.

— Ну, что? Нигде тебя не видно. Все в Преображенском полку у себя.. Как дела?

— Да что греха таить, — бояться начинаю, не было бы чего неладного... Сердце ноет...

И рассказал, как и что было.

По мере рассказа и Андрею Матвеичу стало делаться жутко. А когда кончил Алексей, он только руками развёл, и лицо приняло выражение полной безнадёжности. Затем оба молча просидели до петухов. Каждый

боялся пересказать словами, что представляла ему дума.

Можно верить, что не много пришлось проспать в эту ночь Балакиреву.

Чуть свет поднялся он и вывел на лужайку своих "олюхов".

Мало-помалу свежий воздух, раннее утро и одушевление самим занятием настроили мысли Алексея бодрее. Он ожидал чего-то грустного, но уже приготовился встретить неизвестную беду бодро и с уверенностью в правоте своей.

Голос капрала получил полную силу, он речисто отдаёт команду. Топот шагов в ногу и звуки от стука мушкетов отдаются отчётливо, сменяясь голосом команды. Уже и солдаты были значительно подготовленные, и ученье ведено было хорошо. Капрал, стоя спиной к забору полкового двора, не мог видеть, как из ворот его вышла кучка офицеров. Тут были: Вейде, Головин, оба майора и сам царь. Выйдя, установились они поодаль и смотрели на ученье довольно долго. Царь внимательно следил за учителем и не нашёл ничего, что бы похаять или найти небрежным.

— Довольно... отдохните! — не видя стоящего начальства, скомандовал капрал.

— Возьми теперь ты ружьё и покажи, как сам управляешься им, капрал!
— раздался голос государя.

Балакирев взял у ближайшего рядового ружьё и, отдав честь по уставу, стал, обратившись лицом к Петру, очевидно не гневному, а, напротив, довольному виденным ученьем. Раздалась команда. Сперва по порядку, потом вразбивку, по темпам выполнил мастерски капрал все эволюции.

— Хорошо! Вижу, что умеешь и капральства стоишь. Но... не здесь у нас только обучать нужно. Пусть в Азове послужит и оправдает повышение в капралы без выслуги...

Подошёл Адам Адамыч Вейде и по-немецки сказал в своё оправдание — почему взял прямо в капралы.

— Пусть так! — ответил спокойно государь. — А в Азов послать немедленно!

— Лучший капрал в полку, государь! — осмелился ходатайствовать Автомон Михайлович Головин. — Я обещал ему сержантом сделать при

первой возможности.

— Ну... пусть сержант будет, но — в Азове!.. Не наказанье посылка, если с повышением!

И, поворотившись, ушёл царь со свитою.

— Вот, значит, как Бог-от милостив! — узнав про назначение в Азов Балакирева, злорадно отозвался Борзов. — Не брезгуй, значит, стервец, теми, кто дорогу показал, — прибавил он внушительно и обратился к сторожу с обычной просьбою: — Ссуди алтынчик, Якимушка.

— Изволь, так и быть, на радостях, что лиха избыли, Алёшку того самого... Мне ни в жисть на табак полушки не уволил. А деньжищами знай идёт да побрякивает.

В это время почти подбежал к Борзову и Якиму Суровцев.

— Идём. Бери и меня в складчину. А коли нет, сам угощаю вас троих; дай Боже многие лета Александру Данилычу. Слушайте, уж я поведаю все как было по ряду.

И трилиственник поворотил к кружалу.

Решение получило полную силу и убило на первых же порах в Алексее всю прежнюю энергию. Вот он и сержант, — да к чему это повышение... в клетке?! То-то злой язык клеветника маленького! Змеёныш! Заведомо раздавить бы гадину! А не клеткою не считал никто житься в Азове, среди пустынь, в крепости, то и дело ожидая осады, а там и похуже может быть что, не ровен час...

Сегодня — как вчера, завтра — как сегодня, там проводят люди целые года. Та же участь ждёт и Алексея Балакирева.

Родные о нём, пока он жил в Москве, не получали частых уведомлений; а как услали в Азов — след простыл. Жив или мёртв, как и от кого узнаешь? Мы с ним тоже долго не встретимся.

Глава IV. ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Об отце по-прежнему помина нет. Мы теперь должны рассказать, что делалось с сыном-сиротой.

Страдала бабушка, что поп нарёк; Иван, Христа ради юродивый: думала,

проку не будет, а вышло преразумное дитя Ванечка.

У матери и у бабушки одно утешенье — подросток — не надышатся на него. Забавный был ещё — клоп клопом. А с десяти лет просто иной раз старого и бывалого озадачит. Станет присловья прибирать, все у него выходит таково складно да ладно. Начнёт пересказывать, где что увидеть пришлось, да вдруг такую вяху отпустит, что мать и обе бабушки головой только покачают; а попадья, что по-прежнему у Лукерьи Демьяновны гостит, невольно скажет: "Ты, малый, больно затевуц — будешь ли живущ?"

Вот и двенадцать годков минуло внуку Демьяновнину. Дьякон стал ходить — грамоте учить, да мать и бабка маху дали. Не взяли в толк, что мальчику не одно читанье нужно, а писать надо бы хоть сколько-нибудь. Да, на беду, отец дьякон сам до письма не дошёл, однако не только не говорил об этом, а ещё хвалился, как добрый: я, говорит, все произошёл!

Учился мальчик с ленцой, но его не принуждали, и почти три года дьякон таскался. Всю Псалтырь, не только Часовник, с Ванюшей прошёл, а про писанье все ни гугу! — так и промаячил время. Хвать-похватъ, а молодцу пятнадцать лет, и потребовали дворянчика на смотр; в Питер куда-то, на край света, нужно везти. Царское вышло в ту пору повеленье дворянских ребят представлять государю на посмотренье, — что укажет. Бабушка как почуяла этакую беду, на первых порах — к воеводе, разумеется, не с пустыми руками. Дойти до воеводы тоже прямо не удастся, — известно, народ приказный вороватый, даром и пальцем никто не повернёт, не то чтобы без посулы что указать или рассказать. Да на ум наставить. Как устлала помещица деньгами дорожку, так и присоветовали с воеводиной коммерцию завести: она всем принимала. Объяри на сарафан было, разумеется, мало, — попросила десять рублей в долг, а порукой волк. Зато до воеводы Лукерья Демьяновна достигла, и он своё воеводское слово дал: дворянское дитя Ваню не разыскивать, буде в нетях очутится. Да, на грех, случись в воеводской избе солдату быть на ту пору, как помещица о заступничестве за внука просила. Солдат вслушался в разговор, словно соболезна, и имя спросил.

Воевода с доброго сердца думал и ему хлеб дать — Лукерью к служивому обратил. А злодей, служба, выспросил все как есть, в свой список записал да и билет выносит: "Вот, — говорит, — тебе, бабушка, явка, в Питер внука Ивана Алексеева сына Балакирева привезть на срок к Ильину дню, безотменно, оберегаячи себя от конечные опалы и гнева царского величества за нарушенье его государской воли". Вот оно на какого изверга напала бедная Лукерья Демьяновна!

Она было просить службу чтобы явку эту свою взял он и детища не губил. Да куда тебе! рыкнул, словно зверь. "Мы-ста не хуже ничем и не грешней, чаю, ваших щенков-детушек, да как есть под лямку угодили, а вы увернуться хотите? — шутишь, душа!", а сам хихикает таково обидно да зло. Помещица ну со слезами умолять врага да умасливать. Ничем не проняла этакого зелья. Даже, стыдно сказать, на колени становилась и упрашивала: "Отец родной, заставь вечно Богу молить! Одним на потеху нам с матерью Ванечка... не вынесет он ваших муштров, дитя слабое, больное.."

Солдат знай рукой машет да своё несёт: "Стерпится, слюбится!" — "Какое же слюбится, — не выдержала Лукерья Демьяновна, — и сжиться не сживется он с экими порядками опротивят они хошь кому, не токмя дитяти". — "А палка на что? — прикрикнул служба на барыню. — Вобьют и узнать заставят самую мудрёную науку".

После этого Лукерья Демьяновна уж и не посмела перечить и уехала с горем домой. Там уж и мать, и бабушка плакали-плакали над Ванюшкой, да и стали готовить его в далёкую дорогу. В Муроме Лукерья Демьяновна одно только путём наладила. Живучи в городе, взяла доброго человека, расстригу одного, немного Ванечку писать поучить. Весну-то всю да лета часть, до выезда, он и выводил с дитятей всякие разные каракули.

— Дитя, — говаривал учитель часто, — зело понятливо, а уж удали такой, что и сказать нельзя.

И подлинно, Ванечка по-всякому выходит не то, что отец; пока дяди-злодея не спознал. Алешенька, с детства был ленивчик да все больше к женскому полу льнул. Ванечка, напротив, как подрастать стал, с улицы

не сходит: с мальчишками все в атаманы играет.

Бабушка с плачем поведала как-то, что недолго ему дома быть — на царскую службу, батюшка, тебя усудобят, света моего; а там, известно, не жалеючи муштровать станут.

— А ты то, бабушка, говорила, что меня, как дворянского сына, сам царь смотреть будет... Вот уж я и увижу, каков царь-то у нас.

— Глупенький! Что ж тебе из того, что царские очи светлые удостоишься видеть, да тяжело тебе будет на службе-то царской?.. Турить будут, кому бы и не надо; тычки давать, кому бы и не довелось.

— Я, бабушка, не буду дожидать, чтоб тычок-от дали, сделаю попрежь что велят. А коли велят служить, дадут и выслужиться. Вот тятя и не много служил, как сама ты баишь, да неохочим до дому стал.

Каково это? Судит точно как человек бывалый.

Расстрига-учитель начал было про гневливость государеву росказни вести, да Ваня ножками затопал: "Перестань, — закричал, — врать! Ну, с чего царю гневаться на все и про все? Про вину да за непорядки и бабушка, коли узнает что, няньку мою, Мотрю, расхлещет как есть, а гнев пройдёт, пожалует её, на повойничек даст, али алтын подарит, али найдёт ещё какой ни есть милостью. Так и царь. Нужно — погневается, а там и помилует; ведь свои ему люди-то мы с тобой! А может, дела-то у царя много, да и важней оно, конечно, чем во дворне работы, по домашеству. Стало, и вред от порухи больше, и взыску должно больше быть".

— Вот какой у меня умница Ванюшка, как ладно рассудил. — решила мать. — А годы-то какие ещё, всего шестнадцатый годок пошёл.

Из себя же Ваня молодец молодцом, тончавый да высокенький. А уж так приветлив: всякому мужичонку норовит попрежь сам шапку снять. И духовный чин уважает отца Данилу особенно. Только мать Маремьяну, знакомую бабушке монахиню, не любит — лгуньей её называет.

Петербург в первые двенадцать лет по основании своём представлял только зачаток большого города и был страшным для большинства русских людей, поскольку при Петре I здесь было взысков, требований,

строгости начальства больше и будто бы смертность сильнее. В нём кипела усиленная деятельность стройки. Проложенные покуда без большой обдуманности улицы наполнялись домами, похожими на деревенские избы; застраивались пустыри медленно и как попало. Только на городском острове поставленные в ряд на Неву домики казались значительными и глядели так приветно в праздничной, светлой, тесовой оболочке. Единственный въезд в город был с Ямской. И, достигнув новой столицы, путникам не верилась её близость; даже въехав в Ямскую, путники долго оставались в сомнении: не сбились ли они с дороги? Вытянутые в один ряд избёнки шли от убогой церкви, стоявшей посереде неогороженного кладбища на болоте, и всего ближе напоминали деревню, да и то не из богатых. Несмотря на протяжение этой слободы чуть не на версту, никак не верилось, чтобы обыватели тут как сыр в масле катались. Три кабака, конечно, докладывали, что зелёного вина тут должно выпиваться вволю; но пьяных на улице не было видно, хотя немного попадалось и непьяных, проезжих и пешеходов. Чахлые ивки изукрашивали неказистый болотный пейзаж. Зеленело все вокруг, и на рыхлой луговой почве, и в застоявшейся воде канав для осушения; от этого обилия зелёного цвета под ясным небом и на припёке чувствовалось своего рода утомление глаз. Недостаток разнообразия и связи чувствовался на каждом шагу. На этом новом месте всяких народностей люди сошлись спешно и подбивались всеми мерами к спешному неустанному труду. Конца и края его тоже не было видно ни работникам, ни наблюдателям за ними.

Умная старуха Балакирева, в июньский жар въезжая с внуком в Невский город из благословенного затишья Муромских лесов, вынесла такое именно заключение о парадизе Петровом. Ямская слобода ей ещё показалась сколько-то похожею на Русь, все как следует и грязь есть! — без грязи нельзя же быть! И кабаки торчат — без них тоже не бывает житья человеческого. И бревенчатые связи да срубы везде на глаза попадаются, и телеги торчат поперёк проезда — все как следует, почему не взять бы в сторону? — да не ожидали ведь нас. Правда, не мы одни

должны здесь проезжать. В этом-то невдомеке и есть, что называется, Русь. Убогие церковки везде на новых местах прежде видишь, поповство пообживется, тогда, глядишь, храмы на славу соорудят. То правда, что, выбравшись из Ямской, опять путники впадают в недоумение. За Ямскими слободами везде город начинается, а здесь — просека какая-то, да, кажись, и конца её нет. Бабушка со внуком все едут, а ни жилья, ни монастыря, ни храма Божия ниоткуда не видать. Что же тут такое? Лес вырублен, канавы в берегах стоят полным-полны, и души человеческой ничуть. Вот, никак, речка заблестала; перед речкой острог какой-то стоит; доносятся из него звуки топорного тюканья. А вдали, налево, за дорогой, никак, церковку, судя по кресту, видать. Чуть приметно желтелся крест между нагромождёнными почерневшими кровельками храма Божия. Ближе и ближе к нему наши путешественники — и виднее делается им необширный храм. Сбоку, подле канавы, три избы, поповские, должно быть; а левой потянулись опять убогие домишки, в два да в три оконца. Тут вдруг из крепости народ с работы повалил по троекратному звону в колокол. Помещица велела остановиться в сторонке своему вознице и стала спрашивать проходящих молодцов: "Где нам казённый двор найти?"

Так было прописано в ярлыке, данном внуку в воеводской избе в Коврове: "В Питербурхе явиться на казённом дворе".

Выискался один, солдатик, что ль? — трудно по белому балахону-то судить, что он за птица; тесак, никак, висит на чёрной перевязи, а на голове блин какой-то распущенный, краешки вперёд торчат, затеняя молодое лицо с жидкими, поднятыми вверх усиками. На немца больше похож был парень, а по-русски откликнулся: "Знаю, — говорит, — что вам требуется!"

— Надоть вам, бабушка, направо забирать, вон в тую набережную слободку! — и пальцем показал за луг к берегу. — Это будет по Неве с версту, во... до перевоза доберётесь на городской остров... а как переедете, там и есть. Должно, недоросля вам являть?

— Точно так, голубчик! А смею спросить, вы-то сами каковские?

— Я-то, государыня, блокшифмейстер, здесь, в Адмиралтействе, с работы обедать погнали.

— Дворянин, сударь?

— Как же, из помещиков в Суздальской провинции Владимирской округи.

— Землячок наш, значит... Поклонись, Ванюшка! Может, господин дворянин пригодится, как, бишь, величать-то?

— Блокшифмейстер Норов!

— Слыхали про Норовых, слыхали. Вы не близко от нас, а все же, голубчик, свой своему поневоле друг! Прошу Ванечку моего любить да жаловать... Первой ты, государь, откликнулся мне, старой бабе, здесь; дай Бог тебе здоровья, что вошёл в наше положение... может, и до вечера бы плутали.

— Зачем так?.. В Питере, голубушка, не в пустыне; здесь покажут все, что требуется. Всякий на спрос должен отвечать. А молчат коли... значит, не знают, о чём спрашиваете.

— Ишь какой господин-от Норов приветливый, кланяйся, Ванечка... понитной балахончик-от, а все дворянская кровь, не мужику чета!

— Все едино, матушка, здесь... Каждый знает своё дело, и коли мужик с головой, а дворянин глуп, так и мужика поставят учить дворянчика... Знамо дело!

— Ишь ты, какой востренький! Дело-то дело, голубчик, да как это, ума не приложу, может мужик дворянину-то указывать? Ино ему мужицкое слово не покажется и не захочет он по-евонному сделать, а по-своему... Что мужик за указ?

— За упрямство здесь бьют и плакать не велят. А коли сам не дошёл — слушайся, кто знает получше тебя.

— Получше... слова нет, свово брата, коли... а мужик, сам рассуди... может ли быть получше дворянина?

— И ещё как бывает! На то государь Пётр Алексеевич и сам топором не гнушается, чтобы различия в деле не было: кто умён да знаток — тому и приказывать, а неучам да незнаям впору слушаться беспрекословно. Вот

и я, как в список на смотре попал в тысяча семьсот пятом году, попервоначалу много с дурусти слез пролил, все обижаясь на непочет... а как палки раз-другой отведал, — как рукой сняло... А там в немецкую сторону в науку на четыре года отбыл... Мастер был немец, аспид просто, все не по ем... одначе оттерпелся... и понял я блочное дело... сам теперь другим указываю и государю знаем стал... трудимся...

— Ишь ты, как Бог-от милосерд... Государю, говоришь, знаем... и правда это?.. понитник носит... и государю знаем!..

— Да государь и сам на работе в равендуковом бостроге и в таких же исподних, так-то удобнее в Адмиралтействе то пором рубить и пластину из брёвнышка мастерить, что ахти, ну Ей-Богу, право. Не веришь, пожалуй, мне, голубушка! — заключил словоохотливый делец, заметив на лице Балакиревой выражение сомнения, очень понятного у дворянки, о личности царской не имевшей должного представления.

Норов приветливо улыбнулся, нисколько не обижаясь на выказанное недоверие. Замялся было сам немного. Да тут же нашёлся, обратившись к молодому человеку, из уважения к бабушке не вступавшему в речь, пока она говорила.

— Как вы прозываетесь? — спросил блокшифмейстер Ванечку.

— Иван Алексеев сын Балакирев, недоросль дворянский.

— Грамотный?

— Читать умею гораздо, в писанье не особенно дошёл.

— А окромя русской грамоты что?

Этот вопрос так был неожидан для Ванечки, что он только руками развёл, а на лице его, отмеченном живою мыслию, выразилось полное недоумение. Несмело как-то ответил он:

— А что там ещё есть?

— Как что? Читанье только тебе руки развязывает достигнуть к всякому знанию; прежде всего счётная мудрость, арихметика... без её ни шагу шагнуть не дерзай. Второе — география требуется, коли во флот к нам норовить будешь... в навигацки школьники по летам, кажись, опоздал уж. Сколько лет?

— Шестнадцать минуло!

— На семнадцатом лете, голубчик, дворян с одною грамотою в солдаты простые записывают, в ряды...— сочувственно, с грустью в голосе ответил умный Норов.

Как ножом в сердце ударили слова его Ванюшке и бабушке.

Заметив неприятное впечатление от своих слов, Норов поспешил проговорить скороговоркою:

— Прощенья, одначе, просим, коли пожелаете основательно все узнать про здешние порядки, милости прошу в воскресный день на шабаш к нам в Большой Морской слободе, спросите дом плотника Вахрамея Савина. Я, Иван Андреев Норов, стою у него в постояльцах. Недосужно...

— Вахрамея Савина дом, — выговорил, запоминая, Ванечка.

— Иван Андреич Норов, мой голубчик, ласковый дворянин! — выговорила Лукерья Демьяновна.

Грустная весть о нерадостной судьбе при теперешних порядках вслед за явкою на смотре, по словам Норова, заняла теперь все мысли и бабушки и внука. Она, впрочем, скрепилась покуда, приказывая вознице поворотить мимо крепости и взять по берегу. Когда же поехал возница по прямой линии, пробираясь между начатых построек чуть не шагом, настойчивая Лукерья Демьяновна невольно отдалась горестным мыслям и не находила слов утешения для внука. Он же, казалось, озадачен был только в первое мгновение и теперь, мирясь с судьбою, видел и надежду.

По указанию Норова найден за рекой казённый двор, отыскана ижорская канцелярия светлейшего, явлен в ней недоросль Балакирев, и дан ему ярлык — ордер "стать на смотре великого государя в первый день сентября сего тысяча семьсот пятого на десять года, без всякого огурства". Оставалось до смотра тридцать шесть ден, и съезжать из Петербурга ни под каким видом не велено. Сиди у моря и жди погоды! Лукерья Демьяновна — баба денежная; уехать до смотру и сама бы не решилась: как оставить одного Ванечку? Рассудок подсказывал, что, коли беды нельзя отвратить, можно погадать да разузнать, как бы горшего зла избежать. Сблизиться с Норовым самое было лучшее —

бывалый человек! Мог на пользу посоветовать кое-что.

Вот дождались воскресенья. Поместились довольно уютно Балакиревы в Посадской Большой, недалеко от казённого двора. На Адмиралтейский остров дорога знакомая; разыскали и дом Савина Вахрамея; доложились у постояльца: "Можно ли?"

Выбежал офицер бледноватый, с усиками, в тонком кафтане немецкого покроя, в паричке завитом да в ботфортах. Совсем не чета тому мастеровому в понитке, что при въезде наших горюш, идучи обедать, попался.

— Да подлинно ты ли, сударик, Иван Андреич Норов прозываешься? — не выдержала старая помещица.

— Я самый и есть. Видели вы меня на деле; теперь праздничая, милости просим... пожалуйста!

И закуска на столе, и двое товарищей налицо, такие же бравые. Народ словоохотливый, в беседе душу не прочь отводить, речь полилась рекою. Лукерья Демьяновна поняла, что годы Ванечки ушли непоправимо... Малограмотному — хода нет. Разбирание книг ни во что не ставится, а коли бы цифирной мудрости малую толику прихватил, иное бы было, коли умом-разумом не обидел Бог.

— Есть ли чем мастеру-то цифирному поплатиться? — спросил не без участия один из офицеров, увиденных Балакиревыми в первый раз теперь у Норова. — Я вот и сам в семьсот шестом году, как привезён, здесь, слава те Создателю, у шведа пленного и арихметикой и геометрией призанялся. К смотру не успел — в службу записали, а ходить к ему не заказали. Через два года перед флагманами экзамен сдал и в поручики угодил! На то знание, говорят, зело нужно и восприяти всякому досужно.

— И теперя здесь этот, как ты, голубчик, назвал... учитель-от твой?

— Здесь! И дворян берётся готовить к службе. По математике тем паче, и навигации нечто, и землеописанию, что географией проывается. Вот бы вам к ему недоросля на месяц?

— Охотно, государь! Потрудитесь свести.

— С нашим великим удовольствием!

Большей обязательности и в наши дни представить трудно, а не только за полтора века с лишком со стороны совершенно незнакомых людей, когда у служилого люда царили, можно сказать, московские порядки: "Без приноса нет спроса!"

Угостив искреннее, чем по-родственному, Лукерью Демьяновну со внуком, Иван Андреевич Норов с товарищем Максимом Петровичем Ходеневым пошли их провожать и разыскивать учителя-шведа.

Это был швед Йозеф Текенс, математик-землемер. Взятый в плен в 1704 году, он оставлен был в Петербурге в качестве переводчика, зная по-русски, хотя и не так говоря, как русский человек. Ещё Корнилий Иваныч Крюйс оценил достоинство честного Текенса и нашёл ему занятие: обучение счёту солдат морских. При главном начальстве Апраксина в толмачестве Текенса не было нужды, и он поселился на городском острове и завёл публичную школу в довольно обширной светлице.

В воскресенье нашли школьного мастера дома, и он скоро понял, что требовалось, но долго отнекивался взять теперь ученика, несмотря, что не стояли за деньгами. Уступил учитель своему ученику неохотно; причина отнекиванься скоро сделалась понятною.

В школе у Текенса началась новая жизнь для Иванушки.

Швед обрусел настолько, что говорил по-нашему довольно внятно и имел, можно сказать, в своём роде дар втолковать даже олуху малограмотному положение, и процесс действия счётной науки. Он имел разве один недостаток: всему брался научить систематично, проходя курс годовой или полугодовой, а для вновь приходящих курса не начинал сначала. Кто учился два-три года, выходил толковым арифметчиком и геометристом. Для новичков, которые приходили в конце, курса, это было невыгодно. Что, например, недорослю нашему удастся приобрести в остающийся до смотра месяц? Теперь же учитель на него и не смотрит! Система — что машина.

Поступив в конце курса, Ваня каждый день слушал, как спрашивает учитель и как объясняет другим мудрость эту счётную, а понимать мог

очень небольшое, сам собою и по-своему. Между тем время крылатое летит, и ещё полмесяца как не бывало.

Слышно стало в городе, что батюшка государь приехал. Накануне сам на пожаре был и помогал тушить; собственноручно срубил и повалил навес, соединявший горевшее строение с калачными лавками. Только этим средством и удалось отстоять лавочки.

— Стоило ли из такой малости его царскому величеству себя труду подвергать да, чего доброго, ещё опасности пришиблену быть? — на слова хозяйки своей отозвалась Лукерья Демьяновна.

— И, матушка... грозен у нас царь-государь, да и милостив и рассудлив так, что сказать нельзя: сам во все входит. А чтобы утерпеть ему, когда горит где, самому не прибыть да не первому идти, где больше помощь нужна... это не в его обычае. Или, коли наводнение — здесь почасту бывает; поколь лёд Неву не скрепил — тоже первым государь: в воде иной раз по пояс бродит... А на его глядя, и генеральство, и офицерство, не токмя солдат, а либо посадской... вестимо дело, всякий из кожи лезет, усердствует.

— Оченно это хорошо, конечно, — согласилась Лукерья Демьяновна, — а все будто сдаётся, так-то поступать не царское дело. Дворянин выше челяди чиновной, али царедворец выше дворянина простого; а царь-от, царь... всех выше — земной Бог! Как же Богу с человеком одну вервь тянуть, одно бревно тащить, за одну снасть хвататься? Ума не приложу!

Наступило 19 августа. С утра задувала моряна, а по Неве большой бегали целыми стадами зайчики белоголовые. Барки да карбасы на причалах такой скрип подняли пронзительный, что тоску даже нагонять стали и на привычных к такой музыке обывателей береговых слобод в Петербурге. К ночи буруны усилились; ветер бешено завыл, и в полночь половина городского острова, чуть не весь адмиралтейский и все низменные берега выборгской стороны да московской очутились на полсажени залитыми водой. Царь Пётр Алексеевич был в городе и не сходил с своей верейки во всю ночь. Сперва, распоряжаясь спасеньем на своём, на Адмиралтейском острове, в залитых частях, а потом, переплыв

Неву, по Невке разъезжал он и сам подавал помощь.

Вот царственный взгляд русского сокола усмотрел на самом конце Посадской в крайнем бревенчатом доме, водою сдвинутом с кирпичного фундамента, копошится кто-то около слухового окошка на крыше.

Зычно крикнул державный кормчий-спасатель:

— Кто здесь?

— Я, дядюшка... Помоги, коли добрый человек!

— Как же помочь-то тебе?

— Да я спущусь, а ты прими только.

— Сей момент! Еду!

И всплеск весел принёс верейку к плававшей верхушке деревянного дома. Протянутые руки царственного гиганта ухватились за крышу, по которой легонько двигалось к краю, должно быть, тело человеческое.

Царь Пётр принял (для рук его очень лёгкую) ношу эту и крикнул тому, кто двигал: "Лезь и ты теперь!" Положив в шлюпку, как оказалось, бесчувственную девушку, поднялся ещё раз государь, чтобы помочь спасителю. Но державную помощь уже предупредил сам спустившийся молодец. Он свесил с края крыши ноги и легко спрыгнул, угодив в середину шлюпки, так что она даже не накренилась.

Взгляд великого царя, самый благосклонный, и улыбка одобрения были наградою сделавшему этот скачок. Спрыгнувший в шлюпку оказался знакомцем нашим, Иваном Балакиревым.

Царя он ещё ни разу не видал, поэтому узнать его в своём спасителе никак не мог, а по мундиру принял его за одного из офицеров, не более. Считая же так, он нисколько не стеснялся рассказать, что его привело в положение, из которого выручила своевременно подплывшая верейка.

— Когда я прибежал, ваше благородие, домишко этот самый сильно кряхтел от напору воды с реки. Из окошка второго жилья — теперь уж его не видать: под водой оно, вишь — кричал женский голос: "Помогите!" Я лодчонку тут подобрал да доску с собой; подплыл, подмостился, оконницу высадил и от девушки, от поповны, принял двух братишек её махоньких. Народ собрался уж. Я их на сушу доставил и добрым людям

передал, а сам за поповной пустился... Позвал... Не откликнулась — уж вода окошко затопила. Кричать стал сильнее. Дала знать бедняжка, что на чердак влезла. Вдруг дом словно съехал с чего, бултыхнулся. Я хват за край крыши и повис! Одначе уцепился что сил было; подкорчил ноги и очутился на крыше. Добежал до слухового оконца. Влез на чердак... Поповну нашёл. Довёл до оконца. Высаживать стал, да тут она, бедняжка, сомлела, со страху, должно быть... А милость твоя крикнул — я и отозвался!..

— Ты, парень, хоть куда молодец! Твоих спас, а сам-то школьник, что ль?

— Недоросль Иван Балакирев, к смотру государскому привезён... учуся счётной мудрости у шведа Текина... да — не хочу лгать — ничего не понимаю покуда... тройное какое-то правило старшим толкует; херы ставят да пропорции пишут, а с чего это так, я в толк не возьму...

— Гм! — про себя молвил государь. — А что же, ты в арифметике хорошо смыслишь и понимаешь?

— Я-то?

— Да!

— Да, правду сказать... к шведу привели меня двадцать четвёртого июля минувшего, скоро месяц будет, а до того я про эту арихметику, веришь Богу, не слыхивал! Норов есть здесь у вас, в Адмиралтействе, Иван Андреевич, так, в Питер как приехали мы, на другой день Ильи Пророка, он встретился первым да и сказал бабушке, что без цифири здесь дворянину ходу нет. А меня в городе, в нашей стороне, ваше благородие, дьякон да расстрига-проходим научили всего читать да писать с трудом.

— Жаль мне тебя, молодец, и толк есть, и сила есть, и находчивости не занимать, да вот науки не дано, и не оценят человека как бы следовало.

Говоря эти слова, Великий Пётр издохнул от искреннего сочувствия.

— Коли впрямь уж такой грех до меня дошёл, государь милостивый, — отозвался Балакирев, — я должен на себя пенять, на тёмных баб: на мать да на бабушку... А им Бог простит, потому что темна вся сторона наша... не виноват я, что дворянином родился, да мало грамоты научился;

хотелось бы, да не далось. Время ушло. В солдаты коли запишут — пусть будет и так, делать нече! — и в голосе его слышались слезы.

— Ну, хныкать-то зачем? и ещё такому молодцу находчивому, как ты... совсем нехорошо!.. и бабе хныкать непростительно. Из солдат государь делает генералов — нечего голову вешать, что и в солдаты запишут. Будешь служить и выслужишься... Как ты прозываешься-то?

— Иван Балакирев!

— Балакирев! — повторил про себя государь, припоминая. — А отец у тебя — капрал Преображенский?

— Не знаю, ваше благородие... Ушёл от матери моей да от бабушки в Москву... Я родившись был аль нет ещё, верно сказать не могу... Бабушка все знает, да сама не говорит и спрашивать не велит про отца... Оставил, говорит, нас и пушай себе живёт где знает... Мы ему не нужны, он — нам. Я и рос словно в сиротстве. И есть, может, отец, коли жив, да как бы словно нету его!

— Учись и забудь про сиротство про своё. У Бога нет сирот, а перед царём — все сироты.

— Да я не кручинюсь ни о чём, ваше степенство: что будет — то будет... Коли и тяжко покажется житьё в солдатах — потерпим... Привыкну, авось и не пропадём...

— Ещё раз говорю: молодец, юрок! Ещё бы тебе пропадать!

Подплыли к ближней пристани. Хотел староста с Посадской улицы крикнуть было: "Государь!" Но кивком державной головы Пётр предупредил его вовремя, и он только ус закусил, принимая бесчувственную поповну.

Иван Балакирев, выходя из шлюпки, поблагодарил за приятство и за милостивое слово своего спасителя. В ответе государь потрепал его по плечу и молвил:

— Я надеюсь, не только не пропадёшь ты, крепко надеюсь, что в тебе прок увижу... А в случае нужды помочь охотно готов. Как не помочь такому юркому!

Хваля Ивана Балакирева, государь вспомнил про отца его неспроста.

Службу Алексея Балакирева помянули в представлении из Воронежа. Назначенный в Азов по царскому повелению не как ссыльный Алексей Балакирев в чине сержанта оставался на службе, без должности. При начале Северной войны первые четыре-пять лет полки держали в Азове в достаточном числе. Дополняли кадры новоприбытными людьми, и ученье этих новичков лежало на Алексее Балакиреве, который в обученье строевому уставу был самым опытным и ловким наставником. Местное начальство в лице губернатора даже относилось к полезному деятелю благосклонно. Но эта благосклонность могла для него сделать очень немного и никак не могла удовлетворить главное желание бывшего гуляки: уехать даже на самый короткий срок в Москву. Побывать там нужно было Алексею просто для снабжения себя деньжонками. В Азов доходов с дядиного наследства не высылали домашний приказ царицы Марфы Матвеевны. Пока наезжал временами граф Федор Матвеевич Апраксин, у него кое-что мог получить Алёша, а с переезда в Петербург генерал-адмирала сержанту-учителю строевому, кроме оклада жалованья, ничего не стали давать. А с сержантским окладом и при дешевизне хлеба в Азове пришлось лакомке в былое время Алексею Гаврилычу питаться по-монашески. Пока дело было — магарычи кой-какие бывали, нет-нет и перепадёт... ещё сходились концы с концами. Но вот высылали в Азов новые подкрепления не для чего стало. Дела нет, службы нет, и корм стал скудный.

Сдавать, наконец, приехал туркам Азов Федор Матвеевич Апраксин, по договору. Всех наших вывели в Тавров и в Воронеж. Дальше Воронежа не велено было ехать и теперь Алексею Балакиреву. Тогда он в упрямство стал просить графа Федора Матвеевича взять хотя его верноподданническое челобитие государю, чтобы доложить, благой час изобразивши. Этим путём вот и дошло наконец челобитие сержанта Алексея Балакирева до рук монарших. А прочитал его государь накануне перед наводнением. Прописано было в челобитие все, что только мог человек сам считать невольною виною своею. Читая, припомнил государь памятный случай, и что-то неприглядное всплыло в воспоминаниях прошлого.

— За посмеих услан человек, выходит. Клевета по корыстолюбию... Он правду писал... вымогательство канальское... Сами вызвали... а стал спрашивать, отперлись... бросили предлог хитрый: его шаловство... Простиранье глаз куда не следовало... Пересуды... Похвальбу извести... И все это сплесть по злости... корысти ради проклятой... Бог найдёт виновников... Обманщица сама попалась в тенётах своих.. Суд Божий над Кенигсеком раскрыл неведомые пакости.. Все прошло и забыто... Бог не хотел смерти грешника и Балакирева через наносную беду, как знать, избавил от больших преступлений... Оставь я его в Москве, чем бы могли эти люди его сделать?! Уже не воронежским шашням чета была бы в Москве...

И погрузился в глубокую думу царь Пётр Алексеевич. Долго ходил, думая, государь по своей токарной, ни на что не решаясь. Наконец сел и положил резолюцию на челобитье:

"Потребовать к полку, в Москву... майору, как явится, дать занятие по силам. Не хочет служить — не принуждать. С одного барана две шкуры не дерутся".

И опять погрузился в думу государь. Подумавши, зачеркнул первую резолюцию и написал просто: "К Москве быть по просьбе его, не мотчая. Сами увидим дальше".

Подписал так долго заставившую думать просьбу и занялся другими делами государь.

Наутро — новые текущие дела. Вечером вода прибыла и узнал государь сына просителя. Мальчик произвёл выгодное впечатление, как мы знаем, в дальнорком государе, редко обманывавшемся в людях.

Воротясь к себе и переменяя измокшее бельё, вспомнил Пётр, что, никак, челобитье с резолюциею ещё у него лежит. Утомлённый монарх поторопился теперь же отыскать её и успокоился только, передав денщику для отсылки.

Наступило первое число сентября. Потянулись толпами дворяне на казённый двор. Это было обширное одноэтажное фахтверковое здание, с высланным досками двором в форме правильного четверугольника.

Выходил этот двор одним фасом к стороне посадской, а другим — к Гостиному двору. Двор казённый вместить мог больше тысячи человек, а потому и выбран был местом смотра дворян, так как недорослей предстояло представить царю зараз целые сотни. По указу минувшего года не одни юноши на возрасте должны были на смотр являться, но и дети шести-семи лет. Эту мелюзгу велено являть и билеты брать для желающих на свой счёт образоваться, а у кого средств не хватало, те на царский счёт в цифирные и навигацкие школы зачислялись.

И ползли и лезли гурьбы русских дворян, одетых во всевозможные костюмы; такие даже, которые прямо годились бы на маскарады царские, где весь некрещёный люд себя другим показывал и сам других высматривал. Отслужившие дворяне выступали во всех головных уборах, от горлаток старинных до собольих новгородских шапок с затыльниками и стрелецких шлыков. Они вели по двое, а иной по трое подростков в саксонских кафтанчиках, а сами были одеты в ферязях парчовых покроя времён царя Алексея или по меньшей мере Федора. А на женских головах все уборы тут были, до татарской кики и малороссийского кораблика с гасами и меховыми околышами. Были и обоего пола инородцы, кто в ермолке, а кто в калмыцкой тубетейке. Красовались тут русские люди и в чугах внакидку, в терликах с опоясками и в широчайших халатах. Все эти дворяне прежде московского, а ныне Всероссийского государства самолично представляли воочию библейское смешение языков.

Немецких кафтанов, как можно догадываться, на взрослых мужчинах почти было не видно. Носили их люди, состоявшие на службе и не могшие с неё отлучаться. За них должны были являть чад своих супруги-сожительницы. Прекрасный же пол при Петре I, как известно, не выказывал враждебности новым порядкам и не отказывался надевать немецкие платья. Оттого, при обилии мужских стародавних покроев платья, сравнительно с ними женское население, кроме татарских княгинь, щеголяло современными костюмами, немецкими и французскими. Даже на двух жёнах русских генералов, правда, уроженках московской Немецкой слободы, надеты были теперь высокие

фонтанжи. На нескольких полковницах красовались шёлковые роброны с фижмами, а офицерские жены не представляли никаких отличий от бюргерш немецких из Лифляндов.

Надеясь на близость своего жилища, прибыли попозднее помещица Балакирева с внуком и уже остановились от ворот в двух шагах, дальше двинуться было нельзя. Посредине поставлен был стол большой. За ним сидели генералы, а потом прибыл и царь около полудня.

Когда раздался шёпот "царь прошёл", — бабушка, увидевшая высокого смуглого офицера в немецком кафтане, спросила Иванушку "Каков тебе показался батюшка-то государь?"

— Да где ты его видела? — пренаивно спросил внук.

— Да мимо же нас он проходил, ещё, никак, на тебя глянул, а может, и на другого кого осклабился малость!

— Не видал, бабушка, хоть убей. А глянул на меня приветливо знаю я кто. Это, знаешь, тебе я говорил, тот самый офицер, что помог в воду большую, ономясь, спасти поповну.

— То-то и я сама подумала, какой это царь, коли для проходу ему дорогу не расчищают. Палочников не видно, идёт один-одинехонек, да, видно, запоздал; осторожно оттого и пробирается, чтоб начальству невдомёк.

И оба остались довольны своим решением.

Посредине двора между тем своё дело делается. Явленного переспрашивают о летах да учен ли чему и все в список вносят. Опросят, запишут и пропускают на другую сторону к выходу, как старшой положит резолюцию.

Передние ряды подвигаются дальше. Со своим рядом — и Балакиревы. Вот и один ряд перед ними остался всего. Видно как на ладони, что перед столом деется: как спрашивают, записывают, назначают что-то и отпускают.

"Тот офицер смуглый между генералами сидит, как персоне, несмотря на то что те в лентах, а он ни с чем. Да и кафтанчик-от поношен как, у сердечного! А должно быть, много значит его слово. Другие словно предлагают, а он разом булькнет скороговоркой — и, видно, так и

сделают из уваженья к нему. Кто же бы это был такой, заслуженный и ещё не стар из себя?" — думает бабушка. Ванечка совсем повеселел и, бодро опередив двух братьев, увальней каких-то, подступил к столу.

Не успел он ответить на вопрос записывавшего, как смуглый офицер и молвил:

— Балакирев Иван это. Я его знаю сам. Малый юрок. Будет прок! Не дошёл покуда в грамоте, так чтобы мог дойти, по указу в полк записать и в цифирну школу ходить приказать. Пусть поймёт по ряду все, а тогда и за тройное правило примется. — И сам улыбнулся таково приветливо.

— В какой же полк прикажете, ваше величество?

— В здешний — Невский; по соседству он с бабушкой там живёт.

Бабушка как стояла, так и грохнулась оземь. Сильно поразила её заботливость о Ванечке государя самого.

— Видно, на счастье наше сам он подлинно малому помог поповну спасти? — рассказывала она потом хозяйке, придя в себя.

На казённом дворе, пока суетились да приводили в чувство старушку, остальных дворян явили, учинили опросы, досмотры, и государь уехал.

Глава V. ХОТЬ ГОЛ — ДА ПРАВ

Об Алексее Балакиреве приказ на Воронеже получен не скоро, но выполнен немедленно по получении.

Сержант призван к губернатору, и объявлена ему царская резолюция с подорожного до Москвы.

— Не с чем мне подняться, милостивец. Нельзя ли по службе послать али в долг до Москвы на проезд выдать?

Губернатор был в нерешимости. О сержанте слышал хорошие отзывы, а сам собою послать не считал вправе. Однако, прочитавши три раза царское решение, стал понимать, что всякую милость, сержанту оказанную, примут без гнева, коли приказ дан милостивый. Вот он и склонился оказать помощь.

— Так и быть... пошлю я тебя наспех в столицу к царскому величеству, не в Москву, а в Питер сперва, с делами счётными.

— Будь отец благодетель, Родион Иваныч! Который год безвинно страдаю... Может, и милость получу, как Сам увидит...

Была уже осень. Как к Москве доехал Алексей Балакирев, и снег выпал. Толкнулся в Царицын приказ в Питере, говорят, при её величестве Марфе Матвеевне на её государском дворе. В адмиралтейскую контору — тоже в Питере, говорят, при адмиралтейском дворе. Там и адмиралтеец живёт сам граф Федор Матвеич. К Кикиным во двор завернул. Только Иван Васильевич в Москве случился. И то слава Богу. Признал сразу Алексея.

— Я к братцу бы вашему, к Александру Васильичу, нужду бы имел.

— Какую?.. Готов за брата я отвечать.

— Прихватить на шубёнку думал. Студено стало. Готов, как получу за прошлые годы, с лихвою отдать.

— Что за счёты?.. Шубу свою дам, коли хошь. Любую. А подождёшь дня с три — вместе поедем. И мне по делам нужно... По старой памяти не чуждаюсь.

И отлегло от сердца у Алёши.

Накормил, напоил, успокоил по-родственному словно Иван Васильевич Кикин Алексея. Беседа пошла о старине.

— Жалели мы, Алёша, всем кумпанством тебя, а помочь, верь Господу Богу, не мори. С чего тогда Сам скрутил — никому неведомо.

— Да, видишь, государь мой милостивый, как смекнул я, в самый вечер ещё накануне высылки меня в Азов Вилька поганец, Анютки Монцовой братишка меньшей, взвёл на меня напраслину, что я капральский чин через сестру его получил, огурством; а деньги, вишь, ему платить не хочу: Как крикнул он это самое мне — вишь, Матренка его подслала, — а царь тут и есть. И слышал эти слова. Меня тут же отослал домой. Спрашивал, зачем я здесь? А наутро... вот что... ведь Сам, как говорили солдаты мне, подкрался и простоял довольно. Все вслушивался, как учу. Не нашёл ни в чём вины. Самому велел ружьём проделать. И за то похвалил, а выслать — выслал.

— Ну, как тебе там было?

— Нелегко, конечно... И голодать иной раз приходилось... А впрочем, ничего... Тоска пуще всего. Веришь ли, Иван Васильевич, не раз братца твоего вспоминал, как отсоветовал чинов добиваться — говорил, пророчил горе грядущее... И все как есть сбылось.

— Авось в офицерство теперь полезешь?

— Ни-ни! Закажу и другу, и недругу чести этой самой, прости Господи, искушенья, добиваться. Не хотелось бы капралом быть, жил бы и теперь с Андреем Матвеичем... и разлюбезное бы дело.

— Почём знать, лучше ли было бы? Ты Андрюшку, готов об заклад биться, не узнаешь. Пьяница стал, никуда не гош. Со своим князем-папой до того уж дошли, что скверно иной раз и глядеть на него... Обрюзг, оплешивел, еле видит — бельмы жиром заплыли. Трясётся иной раз с похмелья, что старичина в восемьдесят лет, а есть ли ему пятьдесят, сомнительно. А ты — молодец хоть куда. Пахмур маленько, да, нече греха таить, и злость заметна-таки... А то хоть сейчас за стол сажай... Молодец! Обабить тебя — так робят целую избу наплодишь.

— Куда мне от живой жены жениться? Да и сын, слышал, вырос... На смотр, никак, угодил уж... О-ох! Годы, мои годы! Много воды утекло... Опытней стал и, понятно, злее... Добром помянуть нечем мне свою молодость. И я беспутничал, и тянули меня на беспутство... Теперь не то на уме. Каюсь во зле содеянном, как подумаю, а с врагами теми, что толкнули меня на дорогу теперешнюю, вовеки не помирюсь... Попадись мне Монцовна которая или Вилька-поганец, не знаю, как сказать, удержи ли себя, чтобы зла не наделать...

— Ещё бы... столько перенести по злости этих Монцов непутных, Филимон один из этой семейки парень был хоть куда, да Бог взял доброго человека... Под Полтавой рану получил в бою багинетом шведским. И с той раны чах да чах, и года с два Богу душу отдал. А Вилька, твой обидчик, чего доброго, далеко пойдёт, ко двору царь его взял...

— Что ж, при сестрице состоит?..

— При какой?

— Известно, при Анютке...

— Э-э! Да ты, брат, сидя в Азове, ничего, видно, слыхом не слыхивал, как и что на Москве деялось.

— Да откуда же?.. Иной и знает, да в беседу с ним не вступишь. А с кем зубы приходилось точить — тёмный люд, до одного. И про Москву-то редкий слыхивал, что это за зверь.

— Анютка отсидела взаперти годков пять-шесть на покаянье за свою дурость, коли не называть художества её как бы следовало, впрямь... Да потом замуж таки вышла за пруссачка... и померла уж вдовой, год с походцем будет... А Матрёна за комендантом была, в Эльбинке... А Вилимушку державный теперь отличает, и малый, хоть в ушко вдевай, стрёма такой и ловчак... Одно нехорошо, такой красавец из себя, а кулак хуже мужика. Облунит хоть кого и так подлезет, что просто, братец ты мой, сам не заметишь, как мошна раскроется и что в ней покрупнее Вилимушке дашь на нужды его. Хапает-хапает, а вечно жалуется, что без деньжонок. По весне вожжался с коньком, всем навязывал — купите. А кончил тем, что и конёк остался, и ещё пару рысачков прикупил, бедняжка.

— Каким же чином он... ворог мой, теперь?..

— Генерал-адъютантом от кавалерии.

— При Самом, говорите?

— При Самом.

— И через его допускаются к государю челобитчики, буде... кому желательно предстать Самому на очи?

— Нет... Денщик есть дневальной. Как придёт кто, он уж пойдёт скажет — пришёл такой-то и то-то просит. Выслушает государь и, коли досужно, тогда же велит пустить... А недосужно — после... А отказу челобитчикам не бывает... коли не на Сенат жалуешься, а на воеводу, что ль, аль там пониже...

— А я, может, челобитчиком явлюся на того, кто всех повыше...

Иван Васильевич Кикин расхохотался. Погрозил пальцем и примолвил:

— Только не моги сказать, что я тебя учил так далеко залетать.

— Какие мне нужны учителя?.. Слава те Христу, пятнадцать годов капральство веду.

Тут пришли незнакомые Балакиреву лица, и разговор принял другой оборот. Двое из пришедших были старые отставные дворяне. Возвращались из Питера через Белокаменную, чтобы оставить по записке, данной на смотре царском, в арифметических школах недоростков-внучат.

— Чтобы провал взял этот самый Питер непутный! — разразился старик один, передавая Ивану Васильевичу своё горе. Его обокрали на постоялом дворе, а комиссар по наряду обругал и прогнал самого потерпевшего, обозвав его и пьяницей и бродягой.

— Мудрёное дело, голубчик, с тобой учинилось, говоришь... В Питере в самом откуда взять выборного-то? Ты мне скажи... может, не в городе, а на дороге... где ни на есть около Новагорода.

— Да не все ль едино?.. Мне не легче, что в вашинском Питере, в старом аль новом городе... Знаю я, что подголовок унесли, и теперь от своих-от животов должен чуть не Христовым именем назад ворочаться. Спасибо Еремею Игнатьичу, — указывая на товарища, промолвил он, — везёт, по знаемости, на своё... за то с благодарностью, с лихвой отдам.

— А я так довольным и предовольным себя почитать должен за питерску поездку... На смотре, как внука являл, государю бедность свою без запинки высказал... как воевода вотчину мою хотел оттерebить за то единственно, что во дворе грамотки сгорели и выпиши все. Одно слово — хапуга! Выслушал государь милостиво. Кормовые велел давать внуку в школе, пока не поправлюся, и наказать уж послали не трогать меня, старика, а пусть разряд выправится. А в разряде все есть. Был уж я, и показали записи тамо все; и противни дали закреплённые. А про воеводу розыск начался. Истинно Божья благодать царь-от нынешний, прямой сын кротчайшего и милосливого Алексея Михайлыча. Как родитель, сам выслушивает и переспросить себя позволяет... И просить нечего тебе о допуске... Дошла очередь до тебя — о внуке да о себе все высказал. Велел в токарную зайти да наказал секретарю своему, Алексею

Васильичу, со слов моих записать и доложить не мешкая.

Алексей Балакирев слушал и молчал. Только вздохнул, когда Еремей Игнатъич про доступ заговорил и про написанье бумаги для доклада его царскому величеству.

"Попробуем-ка и мы такожде! — решил он в уме своём. — Как знать, может, и часть своих наследственных после дяди ворочу и доход отдадут Апраксины за полтора десятка годов... Вот бы важно было-то! Тем паче на голые зубы".

— А коли секретарь что не может, то у царя есть зоркий генерал-адъютант, Павел Иванович Ягужинский, — высказал Кикин.

— Не тот ли Павел Иванович, что у Монцовых на посылках бывал? — спросил Балакирев.

— Он самый.

— Гм! Да не узнает, чай, меня... Сошлись-то мы всего единожды, как угостил я его, сердечного... Павлуша был тогда, а теперь, вишь, енарал, говорите...— с сомнением в голосе высказался Алексей Балакирев.

— Он не особенно зазнается, а впрочем... что говорить — тонкий человек.

Затем разговор перемежился. Закусывать стали. Калякали старики о прошлых временах, а слушать про времена царей Федора да Ивана, скорбного главою, Алёша не находил интересным и спать попросился устатку ради. Отвели его в светёлку с лежаночкой. И завалился служака на боковую с полным своим довольствием.

Утром он принялся хлопотать по делам и возвратился только на ночлег к Ивану Васильевичу, который и сам весь день в хлопотах был, но, слава Богу, все кончил. За вечерю сказал Алёше: "Завтра едем, коли хошь, не откладываячи".

Для человека, ломавшего такие концы, как до Азова, дорога до Питера по первопутку за пустяк показалась. Ели вволю, а сон от нечего делать к сытому сам приходит; так что проспали и Алексей Гаврилович и Иван Васильевич, почитай, чуть не всю дорогу. Как пришлось вылезать из саней с покрышкой, догадался Алёша, что, видно, уж доехали.

Так и было в самом деле.

Приехали уж темно. Зги не видать, и какая-то каша липкая сверху падает.

Обогрелись — да известно, что делать в ночь — поесть да спать лечь.

Утром Александр Васильевич Кикин ранёхонько, прослышав, что брат приехал, прискакал к нему.

Иван из-под одеяла руку подаёт.

— Здорово ли все?.. Изломало, что ль?

— Нет... ничего! — зевнул и вставать стал.

— А это кто у тебя? — спросил Александр Васильевич брата, увидев на лежанке чью-то голову.

— Отгадай! Знаком ведь тебе.

Вглядывается внимательно в спящего Кикин, припоминает:

— Знакомое, правда, лицо... Только не возьму в толк, кто бы это?

— Алексей Балакирев.

— Может ли быть? И жив и здоров! Ах он разбойник!.. Вишь, как подкрался! — и он бросился будить спящего и душить его в своих объятиях.

Нужно ли досказывать, что для приятелей пятнадцать лет были как бы вчера? После первых излияний взаимной радости начался между Кикиным и Алексеем Балакиревым разговор о деле.

— Позволено в Москву приехать, а я упросил Кошелева до Питера дать посылку и должен здесь грамоты отдать и счётные книги... Куда нести, научи, Александр Васильич.

— Счётные книги воронежского губернатора к нам, в Адмиралтейство; я сам принять могу и расписку дам. А коли посланы указы, покажи суму, скажу, куда что.

Отомкнув суму ключиком, поданным Балакиревым, Александр Васильевич одни пакеты в военную канцелярию при Сенате велел отдать, другие — светлейшему, дневальному. "А эти, — отобрав три куверта „в собственные руки“, — сам ты явись и передай государю лично".

Дневальный, присланный Кикиным, проводил Алексея во все места и

довёл до крылечка царской токарной, из которой в этот день не выходил государь в Сенат из-за недомоганья. Вошёл посыльный через сенцы в переднюю сторожку и доложил денщику:

— Из Воронежа от губернатора к государю.

— Пусть войдёт сюда! — ответил из-за стенки царский голос.

Крепко забилося сердце посыльного. Вошёл, подал и упал на колени.

— К чему это?! — крикнул недовольный государь, сидя перед шахматною доскою. Играл Пётр I, по случаю нездоровья, с обычным партнёром своим попом-биткою, с Иваном Хрисанфовым.

— Я божеских почестей себе не приписываю, ты знаешь, отец Иван, а неразумные все передо мною норовят в ноги да в ноги...

— Прошу отпущенья невольной прошибности! — молвил Балакирев. — Челобитье есть у меня до милости твоей, государь... Может, и не должен бы в Питере быть, коли велел себя мне в Москве дожидать...

— В чём прошибность; не вижу, коли наслали... Да ты кто?

— Раб твой нижайший, сержант Алексей Балакирев!

— И подавно взыскивать не должен, хотя бы и была вина... за прошлую, лишнюю тяготу...

— А та самая тягота, государь, почитай, нищим меня сделала... С посылки в Азов ни шелега не выслали мне с Москвы доходу с наследственных деревень — из домового приказа царицы Марфы Матвеевны... А я поступился одной частью её величеству, чтобы остальным владеть самому, без хлопот об управленьи...

— И невестка, выходит, корыстовалась твоим? Быть не может, не такая женщина!.. Она добра и разумна.

— Послухом ставлю, что не лгу, Александра Васильича Кикина... Он про то ведаёт. И получал я от Андрея Матвеевича Апраксина, пока был в Москве.

— Ну, так... Андрей, может, запомятовал. Он известная рохля. Да коли недодано, будь спокоен, не пропадёт твоё. Сегодня же велю, чтоб, не задерживая, рассчитались. Кроме денежных дел нет ли других?... Ты мне прямо скажи!

— Мать у меня, хоть и в совершенных я летах, да владеет имением отцовским...

— Ну... с матерью сына пусть суд рассудит, коли тебе желательно... Могу приказать... Только не советую. Какой ты будешь сын, коли матери жить, вероятно, недолго, а ты её потревожил?...

— Да моё, государь... А у ей есть своего немало, собственного... Довольно с неё будет.

— И ты не лжёшь? Смотри! Сделать справку велю... Будешь ты виноват, все можешь потерять... Лжи насмерть не терплю...

— Коли повелишь, ваше величество, разобрать моё дело с матерью, так нужно нам, мне и ей, быть вместе в Москве, потому что дело разбирать приходится в Преображенском... Случилось, что был я с дядею в Верхососенских лесосеках и помилован тобою, государь. Дело разбирала и именье дяди в известность приводила Преображенская канцелярия... там все и известно.

Государь встал. Подошёл к столу и написал на лоскутке бумаги три строки, подписав имя своё.

— Возьми и подай в Преображенском князю-кесарю моему, Федору Юрьевичу. Он вас рассудит с матерью. Что я мог, то сделал для тебя. Ступай!

И вышел совсем повеселевший Алексей. От царя прямо к Кикину полетел. На самом на пороге кикинских палат толкнул он неосторожно молодого офицера.

— Как смел ты забытья до того, что не только честь не отдал мне, как офицеру, а ещё толкаешься?! — гневно крикнул на Алексея обидевшийся офицер. — Я тебя, бездельника, под арест сейчас!

Алексей молчал, а офицер все больше кипятился. На крик вышел сам хозяин Александр Васильевич и, узнав, в чём дело, принял на себя роль примирителя.

— Не погневись, Вилим Иваныч! — кротко говорил он генерал-адъютанту Монсу. — Это он ненароком... Балакирев ко мне шёл, и, вероятно, приём у государя погрузил его в думу; так что он, не думая нарушить устава,

провинился, толкнувши твоё офицерство.

При слове "Балакирев" Вилим Иванович несколько опешил и после короткого молчания сказал, что он готов извинить неучтивость сержанта за то, что он приезжий из глуши.

А Алексей Балакирев чувствовал себя совсем не в таком настроении, чтобы легко забыть, как он думал, несправедливую придирку к себе того мерзавца Вильки, по милости которого прошколили его в ссылке полтора десятка лет. От вскипевшей злости он не мог говорить, но глаза его показывали гнев, готовый перейти все границы благоразумия.

Глядя на обидчика-сержанта, Монс чувствовал себя тоже далеко не спокойно, замечая, что он готов на многое решиться, если протянется ещё эта сцена, и сам поспешил уйти, не оглядываясь.

После ухода его Кикин насилу успокоил Балакирева, гнев которого разразился в угрозе:

— Ну! будь что будет... а Вильку этого, что мне при всякой встрече пакости чинит, я больше сносить не могу... Стану же и я его допекать чем придётся... А уж доеду когда-нибудь!

И при этих словах от бешенства черты лица обиженного искривились неестественно и губы задрожали как в лихорадке.

"Доехать", казалось, теперь случая не могло подыскаться. Это не успокаивало, однако, злопамятство Алексея. Он, может быть, и прежде имел в душе зачатки этих злых чувств, но пребывание в Азове развило их, конечно, ещё больше. Злопамятство ведь, а не что иное, подсказало и просьбу Алексея у царя: дать суд с матерью ему у князя-кесаря.

Мать вызвали в Москву и держали её там до окончания дела. Ваня, предоставленный самому себе, казалось, совсем забыт был бабушкой, редко к нему писавшей, еженедельно ожидавшей отпуска. А разбор протягивали да оттягивали, обещая скорое разрешение при каждом спросе. Из недель составлялись месяцы. Из месяцев сложился год, и другой, и третий почти на исходе.

Царское решение и особенно милостивое обращение в страшную ночь наводнения делали Ивана Балакирева в его собственных глазах не

простым рядовым, назначенным век тянуть ляжку без выслуги, как целые тысячи дворян малограмотных или совсем безграмотных. Назначение в Невский полк было в своём роде уже милостью. Полк этот, нёсший нетяжелую сравнительно гарнизонную службу в Петропавловской крепости, оставлен был бессменно в Петербурге. Солдаты-однополчане застроили четыре слободы, названные по имени бывшего полковника Колтовскими. Досугу у солдат Невского полка было много, и молодой дворянин — а их в полку приходилось две трети, — буде учиться бы пожелал, имел к тому полную возможность. Живя же близко на Городском острове, можно было найти учителей и кроме того шведа, у которого в месяц, предшествующий смотру, наш Ванюша чуть было не прошёл тройное правило, не зная сложения. Какой бы толк мог выйти из молодца, если, напрягая только слух и ум при опросах да объяснениях старшим ученикам, успел он схватить составление уравнения.

Взрослые дворяне учились у шведа почти все, не только солдаты Невского полка, но в досужное время и подьячие. Из выучившихся у шведа года через два всех царь выбрал и послал в Кенигсберг: у немцев праву учиться. Иван Балакирев был малый живой, как мы знаем, и с таким толковым умом, что, к примеру сказать, с его бы прилежностью легко он мог всю науку перенять и офицерство заслужить почти шутя. А там и в чины прошёл бы без задержки, да, на беду его, последовал отъезд бабушки: Лукерью Демьяновну потребовал князь-кесарь в Преображенское. А без неё у внука завелось товарищество. На первых порах без бабушки, вызванной в Москву для разбора претензии сына, загрустил Ванюшка не на шутку, оставшись как перст на чужой стороне. С тоски ему и в школе у шведа не сиделось; чтобы размыкать горе, пустился он с тоски шляться по городским улицам. Прогулки такие понравились. Случилось же так, что его службе учить отдали дядьке Семёну Агафонову. А этот Семён был малый на все руки: хозяйку посылал в ряды оладьями и трешневиками торговать, а на дому съестное на продажу готовил. Одиноких же да исправных солдатиков-дворян, что под началом у него были, он просто к себе на постой поставил, из найма.

С соизволения начальства продовольствовал он их, разумеется, как умел. Ну, постояльцам его было, понятно, и вольготней, чем другим у прочих дядек. Агафонов поучит их дома часа три с утра, не больше. Да и учтиво, просто сказать, батога в руки не берет; а потом и шабаш на целый день. Балакирева Ивана первого Агафонов поставил к себе. Малый наутро стал проситься к шведу ходить, и за такую льготу бабушка договорилась дядьке полтину целую ежемесячно вносить. Ему и ладно.

— Изволь, сударик, и так можно; после обеда, как парни выспятся, около вечерен вас поучу; все едино — ученье! На дворе можно и за сумерки прихватить, с мушкетцем... Да все это, братец, — говорил он, — олухам только в диковину аль за премудрость невесть какую кажется. А человеку со смыслом как команды не упомнить? Али как мушкетец не обыкнуть откидывать? Ей-Богу! недели в две, коли каждый день со всяким проделать раз по тридцать, всенепременно откинешь исправно. Сама рука уж ходить приучится, так что любо, да два! Стрелять вот, нацеливаться — потрудней; да и тут сноровка одна, коли бельмы не слепы да не косят!

Мудрено действительно не согласиться с таким логическим заключением знатока, каким был дядя Семён, не забивавший в голову своим ученикам такого тумана, как аракчеевские офицеры перед французом. Они вместо того чтобы растолковать, неумелому норовили прямо в зубы. Сами же зачастую в толк не брали, для чего не учить, а мучить так людей, с позволения сказать, их послали набольшие. А толк больше всего требовался при петровских порядках, и артикул военный не казался тарабарской грамотой, а необходимым знанием, чтобы в бою неприятеля бить, а себя и своих оборонить. Гусиные шаги да вытягиванье носков ещё не ухитрялись вводить немецкие теоретики шагистики, и выправка солдатская щегольством аракчеевщины, может быть, не отличалась, да зато и не делала из человека машины, двигающейся по команде под рожок али барабан. Из солдат выходили у преобразователя люди годные не на одни полковые раскомандировки или приёмы амуниции. Они везде, куда ни пошлют, честно и разумно умели комиссию исправить и иной раз

выполнить, раскинув умом-разумом, кстати и на пользу дела то, что в инструкции не писалось, да на деле нужным оказалось. Ванюша у такого учителя недели в две действительно все солдатское нянченье с мушкетом вдосталь спознал. Он после повторенного два раза испытания вовсе не стал требоваться Агафоновым каждый день, а только раз в неделю — на повторение эволюции вразбивку, и не всех по ряду, а двух либо трех приёмов на выдержку. Стрельба да нацеливанье с пыжом одному Балакиреву сперва даже так понравилась, что он, как праздника, дожидаться стал четверга, когда Семён своё капральство уводил с ружьями на перевоз. Высадившись с ними за Невой, учитель практиковал их в стрельбе за гошпиталями, на Адмиралтейском острове, на пересеченье трех просек. Это было на краю Глухого Ерика, что при Екатерине II вычищен, выровнен, одет в гранитную оболочку набережных и назван Екатерининским каналом. Просеки эти сходились на бывшей лужайке, довольно топкой и низменной, уходившей во мхи налево; а направо от просек была травянистая прогалина. В прогалине недавно ещё видимо-невидимо было дичи всякой. Семён для упражнений учеников своих и выбрал окрестности трех просек не без разумной цели — после пыжей в стрельбе и дробинки пошли в дело. Дробь для ученья, как и порох, дядькам давались казённые от полку. А учебными зарядами, дробью могли солдаты-ученики иной раз и в птицу угодить. Расчёт на даровую дичь был не только вероятный, но несомненный. Да и сам Семён был страстный охотник и меткий стрелок; за то его и в учителя другим поставили. Поэтому для самого Семена учебные четверги были в своём роде бенефисы охоты. Балакирев научился метче других стрелять, и с дядькой завелась у него тесная дружба, ради которой всякие вольготы ему оказывались, и дальше караула он никуда не назначался. Да и в караулы приходилось ходить не часто.

Врагов и завистников у Вани Балакирева не было, а все благоприятели скорее. Даже в полковой избе подьячие, получая подачки, готовы были сделать ему всякие одолжения. Один из них жил в доме у священника церкви Рождества Богородицы, у того самого, которому во время

наводнения грозила серьёзная опасность гибели детей. К подьячему, знакомцу своему, Ваня не один раз заживал; мельком видел и семью хозяина. Батюшка и домочадцы все уже Балакирева признали: постоялец пересказал им, за что и как Балакирев узнан был на смотре самим государем.

Случилось после этого, что раз Ваня пришёл, когда подьячего дома не было, а изо всей поповской семьи была лишь старшая поповна. Сказав, что постояльца нет, застенчивая девушка, пересилив себя, сочла себя обязанною поблагодарить своего спасителя.

— Тебе, Иван Алексеич, обязаны мы все, а я больше всех, — сказала она, опустив глаза.

— Бог да государь спасли, а я тут ни при чём, — ответил Ваня.

И глаза молодых людей встретились. И тот и другой тотчас замолчали, почувствовав странное ощущение: охоту говорить и невозможность раскрыть рот. Словно гири нависли над губами, не давая разжать их. Не одно смущение, а робость, и жар, и занявшееся дыхание тут были.

Дашу, так звалась поповна, Ваня ночью и в бурю мог рассмотреть дурно. А днем, как признала его, показалась Даша молодцу больше чем привлекательною. Прибавьте вынесенное новое ощущение, молодость, одиночество, много праздного времени. Да и школа шведа прискучила: счетная мудрость легко давалась, а до геометрии дошло — с чего-то заколодило словно. Может быть, рутинная метода, требовавшая заучиванья спервоначалу определений взбуряжку, отбивала охоту к дальнейшему изучению мудреной науки. И интересны ли вообще азы юноше, физически развитому вполне, когда мысли бегут в другом направлении, сбивая учение? Так или иначе, но наш молодец математические высшие регулы не намеревался брать с боя. Уверили уже его, что и с арифметикой можно заполучить офицерство. Дальше же думать, казалось ему, ни к чему. А тут Даша, поповская стала чаще попадаться да заговаривать с Ванею свободнее после первого объяснения. Солдат-дворянин попадье дурным женихом не казался. Вот, улучив минуту, когда Балакирев с подьячим, никак, по грибы, по ягоды

сговаривались, хозяйка-попадья пригласила обоих друзей к себе на половину: хлеба-соли отведать попросту. Пришли — и знакомство завелось полное. Попу Егору Иван Балакирев больно ладным показался. А спросы о родне да о ковровской стороне открыли новые еще достоинства молодого человека: он получал один наследство после пропадавшего отца и бабушки, помещицы денежной. Молва о ней по всей Посадской улице ходила одобрительная как о заправской, расчетистой и почтенной помещице. Балакирев не понимал значенья ни окольных, ни прямых расспросов о бабушке да есть ли батюшка и матушка, братцы и сестрицы? Не понимая же, к чему это, не придавал он словам и никакого веса, но с удовольствием принял приглашение бывать у батюшки запросто, когда вздумает. Даша уже много значила в юношеских грезах случайного воина, у которого честолюбивые мечты, если они и были, то ограничивались теперь, как мы заметили, чином поручика, не выше. Ученье же, сопряженное с усилиями мозга, уже потеряло заманчивость, тем более что, освоившись с солдатскою службою, он понял, что в ней нет ничего не только страшного или обидного, а, напротив, есть нечто и приятное даже. Генерал-губернатор князь Меншиков петербургский гарнизон строго запретил посылать на какие бы то ни было работы, выходявшие из круга прямых военных обязанностей. Всю тяжесть этих обязанностей полки, постоянно здесь расквартированные, вынесли уже в грозные для Невского города первые годы его существования. Теперь солдат брали только как надсмотрщиков за строительными работами; то есть в роли все же, так сказать, старшинства и начальства. Но и на эту службу вызывались желающие лишь по приказу Меншикова, военными чинами всех рангов крепко покуда любимого. В нем видели военные, с учреждением военной коллегии, скорее своего защитника, чем гонителя или угнетателя. Стало быть, не желающим брать на себя лишних тягостей службы была полная свобода вне фронтовых обязанностей да караула употреблять свои досуги как угодно. Жили все по разным домам на постое; достаточные, как Балакирев, сами платя наем и живя господами. В два года царского отсутствия в чужих землях полки приходящие

направлялись в разные стороны, а Невский полк отвыкал от тревог военного быта, сделавшись сиднем. И служба в нем обратилась в не возмущаемый ничем застой обыденки. При таком порядке вещей летом не воспрещали часовым у реки рыбку удить; а в зной где-нибудь в глуши, у магазинов или при складах, на часах караульный время коротал, и купаясь, и дремля, и песни заводя. Все эти непорядки командиры знали и смотрели на все, под хранительною мощью покровительства светлейшего князя, что называется, спустя рукава, ворота через пень колоду; и с младших не думали взыскивать. Да и к чему? Коли велют — приступят одним приказом, и все пойдет так, что комар носу не подточит со стороны строгости артикула. А пока ниоткуда не чуюлось грозы, для чего из кожи лезть? Ниоткуда замечаний и выговоров не слышно было, когда самая что ни есть страсть началась: стали забирать конфидентов царевичевых. Тогда строг был розыск. И невским гренадерам службы прибавилось, через день наряжали в крепость, по раскатам да в застенки. Три месяца, с ранней весны 1718 года, были подряд грозные розыски, сеченья да пытки. Со смертью царевича минула и эта гроза. И опять — все по-старому. Государь в море почасту стал ездить; спустил "Самсона" на воду, да и сам в шведскую сторону отплыл. Июль, следовавший за похоронами Алексея Петровича, предвещал затишье полное, и такое гаданье оправдалось.

Вот уже три года поживает Ванечка Балакирев и в солдатстве; у однополчан слывет — душа-человек. Сердечные дела его в поповском доме на Посадской только как-то пошатнулись вдруг. Вместе с ним учился у Семена Агафонова с мушкетом управляться Фома Микрюков. Он был дворянин тоже, круглый бедняк. Науку и артикульную как-то не вполне понимал он. Может, потому, что во всём Семеновом капральстве был он годами не в пример других старше — чуть не под тридцать лет ему уж насчитывалось. И собой был просто неказист.

— Тебе, Фомушка, Михрюткин самое настоящее прозвание! — бывало, шутил над его неповоротливостью дядька Семён Агафонов.

— Может, и впрямь так! — словно не замечая иронии, поддакивал

невозмутимый увалень.

Но в этом увальне под маскою всеполнейшей беззаботности и напускной простоты скрывался хитрец. Тонкий расчёт его подчас озадачивал неожиданностью всех, кому приходилось иметь дело с Фомушкой. Выпросив у кого или скототив сам как-то полтину, Микрюков ухитрился пустить её в оборот и с этой полтины заручился денежками, так что они никак уже у него не переводились. В два года капиталы и счёты с неисправных заимодавцев у Фомы Микрюкова доросли до десятков рублей, по времени оказывавшихся уже чуть не капиталом. На Сытном, в рядах, под чужим именем у Микрюкова открылась лавчонка с разного ветошью. За одиннадцать рублёв достался ему в качестве неоплаченного залога за долг дворишко другого солдата, Невского же полка Абрама Сидорова. Тому достался дом по наследству от дяди, уставщика первой станицы верховых певчих, скоропостижно скончавшегося без других наследников. А дворишко бок о бок стоял с поповским домом в конце Посадской. Так что Фомушка вдруг очутился соседом того батьки Егора, который виды возымел на Ванечку Балакирева. Вступив во владение, легко благоприобретённое, Фомушка зашёл к батюшке по соседственности. Поосмотрелся да и возымел намерение увеличить свои достатки, поладив с поповной Дарьей Егоровной. В приданое за нею — думал он — попу не придётся ничего давать первое дело, поп хоша кремень, а всё-таки — родитель, второе дело, сам собравшийся в зятя — домовладелец теперь и сосед ближайший; а третье дело, он, Фомушка, с деньгами из солдатства выйдет. Изобретёт себе местечко тёпленькое, где будет чем и самому руки погреть, и попу в глаза пыль пустить. А кто же не слышал, что нет глаз завистливее поповских, — все бы хотелось схапать! На этих трех пунктах и основал план действий своих Фомушка Микрюков, подметивший и шансы соперника, покуда, казалось, сильно опасные.

— Только Ванька Балакирев с одного конца и юрок, а с другого больно недалёк: все норовит прямо пройти, без изгибин! А оттого мишуки и много лесу портят, что имеют привычку ломить все без расчёта, вместо

того чтобы гнуть потихоньку... Гни послабее — и была бы дуга! Дай нам время — и поповна наша! А там и батьку приберём...

Прав ли он был — узнаете сами. Покуда Микрюков начал действовать на матушку-попадью. Подслужился к ней на первых же порах тем, что дешёво приторговал две шапочки корабликами, лисьи, бархатные. Шапки эти были в большом уважении в Петербурге среди обывательниц. А попадьи и поповны особенно считали такие шапки нарядом ценным и парадным, на выезд. Показав блистательно свои коммерческие способности, Фомушка удружил матушке-попадье ещё и тем, что дал в долг до рождественского славленья пять рублёв для осенней закупки припасов гуртом. Эти видные услуги сделали в глазах Федоры Сидоровны — так величали матушку — первым человеком Фому Исаевича Микрюкова. За него она, не задумавшись, готова была, если бы можно только, хоть всех трех дочек сбыть. Из-за великих добродетелей Фомушки родительница Даши перестала ценить ею же введенного в дом Ваню Балакирева. И, слушая его соперника, попадья уже верила, что самое будто бы достаточество этого белоручки крайне сомнительно. Бабушка была, да, видно, сплыла, что совсем глаз не кажет. Не раздумала ли она уж и отказать ему, заметив малую почтительность к себе?

— Тебя, матушка, не разберёшь! — слушая такие и другие подобные же, невыгодные для своего любимца, предположения (казавшиеся ему не только маловероятными, но и совсем неблагоприятными), с сердцем высказался поп Егор, не любивший дрязг. — Уж хуже, с позволения сказать, дерьма последнего выставляешь ты Ивана Алексеевича, а спросить, что он тебе сделал, что так ценишь? Не ответишь, разумеется.

— Мне-то он самой ничего покуда не сделал, а говорю о Даше, жалеючи... Что она будет за им, за солдатом простым? Век-от долог смолоду без расчёту девку спихнуть... за то, вишь, что он — простой? Да и есть ли что у его за собой? Можно верить и нет! Видного не много что-то.

— Ну, а Микрюков твой хвалёный — солдат такой же; только разве

похуже во всём. Коли в торг солдат пускается — батога дожидается!

— И в солдатах-то ему служить не придётся. Ужо к светлейшему во двор берут; управителем будет над амбарными...

— Это он говорит! Ну и верь ему... Светлейший-от коли захочет амбары домовые кому поручить — офицерства, что ли, не хватит?

— Много и офицерства, никуда не годного.

— А солдатства — больше того...

— Особенно которым и ученье самое не даётся! — вставила, желая уязвить мать, горячая Даша, понимая, из-за чего хулит она дорогого уже ей Ванечку Балакирева.

— Тебя не спрашивают! — строго остановил отец. — И сами речи найдём. Стоит нам с маткой подальше договориться, сама очутится как рак на мели с хвалёным с Фомушкой...

— Ужо мы посмотрим, как Микрюков Фома Исаич славно таково на дворе на княжеском ключиками будет побрякивать да сотенки себе докладывать...

— Что в тати он гош — не спору! — с сердцем уже, выходя настолько из себя, как редко случалось, ответил жене поп Егор. — Только, набив потуже мошну, он на нас с тобой и взглянуть не захочет! Таковы ведь все эти огребалы. Дорвётся до кучи, не остережётся кручи; как мамона, перетянет — и не встанет!

— Вишь, какая кукушка, подумаешь, выискалась. Только и свету в окошке, что Ванька твой, лентяй. Ужо-тка царь-от батюшка спросит: чему научился?.. Оставил я тебя в Питере.

— Тому же, чему и других учат. Не глуп малый и не промах. В карман за словом не полезет.

— Да так заговорит, что и царь замирволит. "Поди, — скажет, — умник-разумник, такой-сякой, советы мне подавать да на ум наставлять!.."

— Советы — не советы, а даст разумные ответы. Царя не испужается и понравиться может, нечего говорить напрасно, хоть кому!

— Мало ли кто горазд языком лепетать? Да за эту добродетель не снимают с шеи петель.

— Да и не обегают толковых людей. Как послушают — и спрашивают только: чей?

— А Микрюкова уже спросили да и распорядить пригласили!

— Дай Бог нашему теляти волка поймати! Коли Фома будет заправской, хоша — псарь... так Иванушку к себе должен взять сам царь! — порешил поп Егор сплеча, не зная, чем переспорить жену.

— Экой пророк, подумаешь! — всё-таки нашлась с ответом попадья.

Поп Егор не мог дольше терпеть. Он как человек мирный много спорить не любил и уходил от ссоры. И теперь, не продолжая, надел шляпу и пошёл за порог.

Даша спряталась в светёлке и ну... плакать. Защемило её молодое сердце новою, незнакомою до того, болью. Сдавалось ей, что боль эта — предчувствие дальнейших невзгод и напастей. А напасти эти могут совсем оттереть от их дома Ванечку и бросить её, Дашу, в когти Фомы Микрюкова.

Облегчив слезами своё сердце и рассеяв на время, казалось, уже нависшую тучу бедствий, Даша вышла на задворок и под села к дьяконице, мотавшей нитки на завалинке. Вот слышит она на улице знакомые шаги и окрик Микрюкова:

— Прощай, Иван Алексеич! Сегодня уж светлейший разрешит меня из полку истребовать к себе на послуги...

— В какие такие, Фома Исаич, послуги?

— Может, по конюшням где что присмотреть... а не то и в волость ушлёт, либо иное что...

"Путь тебе широкой скатертью от нас", — подумала Даша, вся вспыхнув.

— Чего доброго... и с нами ещё останешься, — наивно ответил Балакирев, думая вслух: — Светлейший строго разбирает новых людей. И потребует, да воротит.

— Меня не воротит! — самодовольно отозвался Микрюков. — Коли не понравлюсь светлейшему, вотрёт в дом к самодержавнейшему. А там, сам знаешь, золотое дно!

— Н-ну, это последнее ещё будет труднее. Царское величество слуг сам

выбирает теперь...— ответил неожиданно, как бы умышленно начиная перечить, подоспевший сюда поп Егор.

Сильно забилося, но теперь уже от радости, сердце у Даши.

"Батюшка Ивана Алексеевича не выдаёт хвостуну Фомке, значит, он нашу руку держит", — думала она.

В самом деле, держа дружески за руку, уже и вёл поп Егор к себе Балакирева.

Матушка избегала встречи теперь с не любимым ею Иванушкой. Он и сам о чём-то глубоко почасту задумывался. Слова соперника, так развязно рассказывавшего о благосклонности князя Меншикова, будто бы если не к себе готового определить этого проходимца, то ещё легче во двор царский, где золотое дно, — не давали теперь покоя расходившимся мыслям Иванушки.

Отец Егор, правда, поперечку сделал Фомке; дал понять, что не удастся свинье на небо взглянуть и при поддержке светлейшего. На то сам царь, чтобы к себе брать кто ему приглянется, возражал в мыслях обеспокоенный Балакирев. "Понимаю! — слышался ему внутренний голос. — Фомка для того лезет во дворец, как он мне нахально расхвастал, что там, вишь, золотое дно... Как достанешь до этого дна-то, все тебе и будет по плечу. Захочет Фомка, и его будет Даша? Так врешь же!.. Не отдам!.. Постою за себя!.."

К концу вечера, порешив так, Ванечка после ужина ушёл от батьки к себе, теперь он ломал голову над тем, как разбить надежды врага, заручившегося, по его словам, поддержкою для своих планов.

Ранним утром роту, в которой состоял Балакирев, назначили в караул. Вступать пришлось до полудня. Развели на притины, и полдень наступил. От церкви Троицы, что против Гостиного двора и Сената, за длинным строением, где помещены недавно две коллегии, в ту пору на берег Большой Невы выходил провиантский магазин. Теперь это одно непрерывное здание вдоль течения реки, а при Петре I, по упразднении Ростовских зеленных рядов, на самых настилках их было шесть деревянных амбаров, стоявших поперёк от улицы к Неве. Между

каждыми двумя амбарами была будка для часового. Ко всем корпусам тогда из-за нехватки людей ставили одного человека на карауле с ружьём. Стоял он и не у будки, а, что называется, на юру под открытым небом. Солнцепёк палил беднягу в зной; дождь прохватывал насквозь, коли польёт; зимой же осыпал или нестерпимо резал лицо и уши снег с Невы и с дороги. Дежурство Балакирева пришлось в знойный день. На небе — ни облачка; в воздухе — мёртвая тишь. Простоял он час. Нет души живой; жажда смертная; кровь в голову бьёт, и сам человек разварен в этом кипятке до изнеможения. Перевязь накалилась и не даёт рукой провести по коже, а особенно по пряжке — так и палит.

— Не могу больше! — решил часовой. — Не окунуться — смерть!

Живой рукой с себя суму и перевязь; кафтан, рейтузы, исподни и рубашку тоже... сложил на берегу и сам — бац в Неву.

Поплавал вдоволь да взглянул к домику царскому, а оттуда идёт государь и пальцем грозит.

Где тут одеваться — есть ли время на себя всю сбрую натягивать?! Выскочил на берег, взял сапоги, схватил суму надел перевязь по форме, шапку на голову, ружьё в руки и мастерски при проходе его величества отдёрнул на караул.

— Хоть гол — да прав! — с улыбкой довольства за находчивость милостиво молвил государь и прошёл к коллегиям.

Когда скрылся он за углом, на Ванечку страх напал: что-то будет? Оделся часовой как ни в чём не бывало и похаживает.

Опять обратно идёт государь и о чём-то сам с собой рассуждает, помахивая известною всем своею тростью-учительницей.

Дух захватило у храброго Балакирева. Он к земле как приклеился с ружьём на караул.

Пётр I между тем, выразив удовольствие от находчивости застигнутого им в неловком положении часового, раздумался: "Что это, однако, за небрежение? Часовой с поста уходит! Нельзя оставить без замечания... А как же наказывать, когда я сам, невольно увлечённый молодецкой выходкой, сказал, что он прав! Коли прав — он заберёт в голову, что так

и надо!.. И какой будет порядок? Какой будет это строй? Какие это будут солдаты? Невыгодно ему покажется стоять на жаре, он в тень уйдёт, а пост — пуст! В огласку пустить? Чего доброго, не этот первый и не он будет последним. Нужно так сделать, чтобы никто не проведал такого по службе упущенья, которое я сам оставил безнаказанным. Да чтобы и помилованный мною за удаль не мог повторить своей штуки. Лицо знакомо мне показалось. Насквозь виден — сокол! И парня такого жаль... И без смеха теперь вспомнить не могу. Расцеловать готов за находчивость. Истинно русская удаль! Как поступить, однако?" — ещё раздумывал державный, уже близко подходя и умышленно замедляя богатырский, мерный шаг свой. Мгновение, и он узнал, кто это.

— Балакирев, Иван?

— Я, ваше величество!

— Ах ты плут! — и сам снова захохотал, не могши удержать в себе порыва весёлости. Ванька сам ухмыльнулся, и отлегло у него от сердца.

— Виноват, великий государь! — пробарабанил он, делая на караул. — Не вытерпел. Больно припёк велик.

— Коли сказал — прав, не поминаю старого, и ты молчок. Только... служить теперь тебе в полку нельзя. Ты — не солдат! Выбирай любую службу: определю куда захочешь.

— Великий государь, возьми меня в слуги к себе, ко двору своему. Заслужу вину эту! — брякнул прощённый, не долго думая.

— Быть так! Как сменишься, явись к Мошкову, в доме у меня; велю принять. Только смотри у меня, не шути вперёд со службой! — наказал государь и прошёл к себе.

— Просто я в сорочке родился! Теперь Фомка гриб съел! — придя в себя от неожиданного счастья, выговорил, думая вслух, Балакирев.

Глава VI. ОТ ЦАРЯ НЕДАЛЕКО — БЫТЬ НЕЛЕГКО

Уставший Балакирев, сменившись с часов, пустился к большому перевозу в самых радужных надеждах. Переехал через Неву и — в царский дом. Спросил Мошкова. Привели в подвал со двора к какой-то

казенке и велели ждать выхода оттуда его милости Петра Иваныча. Балакирев ожидал командира не ниже полковника, бравого, молодежавшего, с усищами чуть не с версту, и как сильно ошибся в своих представлениях. Долго брякая счетами, вышел наконец из закуты подслеповатый низенький человечек в замасленном, потёртом кафтанчике, за который жалко было дать три алтына.

— Можно видеть господина Мошкова?

— Петра Иванова коли, — я самый и есть!

— Что царским домом заправляет, что ль?

— Опять я же... чего тебе?

— Государь велел мне явиться... во дворец берет.

— Слышал... так этот юрок-от ты, значит? Н-ну, братец, дай-кошь тебя порассмотреть! Хорош, что говорить! Малый хошь куда! — молвил Мошков, взяв Балакирева за руку и поворачивая кругом, — Велено мне тебя поставить, вишь, туды, где нужно, чтобы дело шло живо, сказал царь-от Пётр Алексеич!.. А где бы у нас такая живость, что ль, требовался, не указал. А я сам, старый человек, в подклете верховым сызмала вертелся, а спешки какой ни на есть не приметил! Так ты ужо, юрок, как царь-от говорит, изобрази мне сам дело-то своё, а я те на оное и поставлю. А покелича поприсмотришься, затем что новый ты человек... Потолкайся!.. А я уж домой пойду... шти давно простыли... Вот какое наше дело... и без живости умаешься, день-деньской.

И Мошков направился со двора за ворота, что с Луговой улицы. Он засеменял проворно кривыми ножками, прикрывшись такою же ценною шляпою, как и кафтан его.

— Издивленье! — глядя вслед этому подобию начальства, проговорил про себя Ваня. — Ну что он мне нагородил, ей-Богу, в толк не возьму! И как там присматриваться?.. И к чему? Да хоть бы ввёл да тамошних указал — не гоните, мол, этот у нас будет! Вот-то бестолочь! — вслух рассуждал Иван Балакирев, не заметив, что к нему самому уже присматриваются с большим интересом. Ему и в голову не приходило, что весь разговор с Мошковым слышали и поняли, в какое затруднительное

положение поставило его странное распоряжение самодура-интенданта.

Однако неприметными для Балакирева свидетелями его затруднения были два лица: сам царь Пётр Алексеевич, который смотрел на эту сцену из своей конторки из заднего окошка второго этажа, да шут Лакоста. Говорили — француз он или итальянец; но скорее всего — венецианский жид. С детства он обращался со славянами и звуки славянского говора, с южным произношением, удержал в памяти на всю жизнь, потому и говорил по-русски.

Лакоста сидел у открытого окна в первой из двух царицыных комнат. Её величество повысила Лакосту в ранге камер-лакея с самого возвращения из-за границы. Государыня привыкла за полтора года к иностранным порядкам в других дворах и у себя завела немецкие порядки.

Должность Лакосты столь же умело определил интендант Мошков, лаконически выразившись:

— Торчи, мол, там; да не шляться у меня попусту!

Лакоста, величаемый русскими Пётр Дорофеич (почти так же, как Мошков), буквально исполнил его приказание и занял бессменное место в передней комнате детей государских, смеша всех своими рассказями и располагая к себе всех готовностью принять в ком угодно горячее участие. Пётр I, мигнув шуту камер-лакею, показал ему глазами на Балакирева, чтобы он, сойдя на двор, разрешил все затруднения, в которые поставил Мошков новобранца. Сам Великий согласился в мыслях с решением юрка-солдата, что, подлинно, его интендант — кляча старая и упрямая! — не годится по бестолковости ни для какого дела. Да что с ним уж делать? Привык государь к этой подклетной крысе, унаследовав её от матушки, и, по крайней мере, тысячу раз убеждался в честности Мошкова, — уж алтына себе не возьмёт! Приказания буквально исполнит в точности, не рассуждая: а если, как теперь, ничего от себя не придумал, что ж будешь делать, коли голова такая? Не всем с неба звезды хватать! Привычка, материн слуга, честный и точный исполнитель — и достаточно, чтобы оставить его ворочать из пня в колоду. Ведь дом мой! Разносолов и чванства я не терплю. Ну, по Сеньке — шапка... и

Мошков для меня хорош! Переверёт что — сам поправлю. Вспылю, коли виноват. Он сознателен — прощенья попросит; а коли не сознаёт вины, в глазах своих он прав. Я виноват, что не растолковал до его понятия! Для него я больно скор; с тихостью же его ещё могу ладить. Вот нашёл юркого слугу, молодого. Дать на выучку Лакосте, все порядки расскажет, а тот поймёт. И звучно раздались по двору слова государя, обращённые к подходившему к Балакиреву Лакосте:

— Возьми новобранца да все ему растолкуй, как у нас и что... насколько сам знаешь!

— Слушаю, кум, останешься доволен моею выучкою, — с призыкикиваньями, но довольно твёрдо выговорил получивший приказание. Приняв важный вид, он скорчил мину заправского гофмейстера, так что государь, отойдя от окна, фыркнул со смеха.

Балакирев действительно в первую минуту подумал, что подходивший к нему очень важная персона. Во-первых, слыша его ответ царю, которого он назвал фамильярно — кумом. Во-вторых, одет он был пышно: красный кафтан с галунами и отложным вышитым воротником; на шее брыжи кружевного галстука; из-под обшлага с галунами же опять брыжи крахмаленной сорочки; при бедре — шпага какая-то мудрёная, с убором из пучка цветных перьев; на ногах — ботфорты; а на голове — алонжевый высокий парик в мелких буклях. Совсем знатный господин! А судя по лицу, пожилому, но умному и очень приветливому, прямо можно сказать, что особа эта воспитана на учтивствах и поклонах. Действительно, до принятия в русскую службу, в Амстердаме, в первое путешествие царя, Лакоста пробавлялся уроками по танцмейстерской части и преподавал "желающим в большом свете без конфузу обращаться зело премудреную науку, куплементы выражать и всякие учтивства показывать, по времени смотря и по случаю надлежащие". Держал он себя очень деликатно и так тонко, рассчитанно, что гордый со всеми и на всех смотрящий свысока сам князь Меншиков, давая вельможеские подачки от щедрот проходимцу Лакосте, не стыдился сам брать его за руку.

— Как прозываетесь? — обратился Лакоста теперь к Балакиреву.

— Иван Алексеев сын Балакирев, из дворян; в солдатах состоял по сей день, а государь изволит теперь во дворец к себе меня взять, на службу, и... не знаю я, как исполнить веления господина Мошкова, к которому его величество послал меня.

— Я, голубтшик, все это знатно покажю... Итдем! — взял за руку и повёл со двора в дверку за выступом неприметного крылечка, а оттуда во внутренний коридор, покоем, как расположен был и самый дворец. Коридор проходил от одного конца дома до другого, отделяя светлицы, выходящие на улицу от надворных.

— Я... по статусу её величества; и ти будешь до повеленья у нас ше, — сказал Лакоста новобранцу, решив стать его самозванным наставником и начальником.

Из внушений Лакосты новобранец-служивый понял, что служба при комнатах царицыных и самое плёвое дело, и ноша неудобноносимая даже для таких молодых, гибких и здоровых плеч, как его, например. Дело в том, как будут помыкать! Сидеть да примечать, что делается; а при случае шутку отмочить, так чтобы в закаты покатались от неожиданности остроумного конца побасёнки, — как это делывал Лакоста, — разумеется, не его доля. Не дадут же ему сидеть сложа руки да брюхо растить! А делом называлась здесь разгонка за наведываньями о здоровье день-деньской. Иной раз выдастся денёк, и по трижды и по четырежды в одно место являться приходилось: наказ передать, ответ получить и опять на него — наказ и ответ. Да так от зари до зари и гоняйся в красном кафтане в воскресный день и в праздник, или в зелёном в будни, в башмаках, при шпаге и в распущенной треуголке с галунами. Только рассыльному не полагалось парика, ненужного кудрявому красивому молодцу, да, кроме Лакосты, никто из дворцовых и не носил их ещё тогда.

Ваня наш был, как уж знаем мы, ражий молодец. Побегал первые дни, высунув язык, по словесным все приказам: Авдотьи Ильинишны, мамки царевен, княжны Марьи Федоровны Вяземской, приживалки у царицы, да

Анисьи Кирилловны Толстой — спутницы государыниной во всех треволнениях жизни. Тут понадобилось бежать ему даже по приказу княгини Настасьи Голицыной. Захаживала она, видите, обыкновенно каждый день на царицыну половину: дуру скорчить из жадности, чтобы лишний червончик перепал в кошну. Бросит ей царица червончик. Покатится он под мебель, а княгиня — на пол и ну искать. Сама шутиха, почитай, а помыкает усердным Иваном, слугой государевым на царицыной половине! Пристала, вишь, сходи к ней на дом да платок принеси: на столе его забыла и теперь нечем нос утереть сиятельной шутихе.

— Коли лошадь бы была, почему не скатать? — молвил не совсем охотно Иван Балакирев, не отказываясь и от этой оказии.

— А рази не дают, голубчик, лошадки?..

— Нету

— Уж будто ты, такой стрёмой парень, да не сумеешь промыслить, где усмотришь?

— Позвольте только, ваше сиятельство! — как-то полушутливо, полухидно ответил Иван сиятельной посылщице.

— Позволяю, дружок... промышляй где знаешь!

Иван не заставил себе дважды повторять разрешения. Вышел и отпряг лошадь от одноколки княгини Настасьи Голицыной, стоявшей на дворе без кучера. Тот где-то рассказы слушал. Сел без седла, да и поскакал на двор княгинин. Взял платок и потребовал от дворецкого, княгининым словом, себе новое седло, самое доброе. Получил и, на этом самом седле доехав до ворот дворцовых, отдал сторожу-дневальному якобы верховую свою лошадь — доселе ходившую у княгини в оглоблях, — чтоб поберёг до востребованья.

Отдал Ваня платок княгине-причуднице и получил благодарность. Дали рассыльному другое порученье. Молодец опять на коня, так ловко добытого, и туда.

До вечера всюду и катался на лошадке княгини Настасьи. Все его гоняли из одного конца Петербурга в другой. Смерклось уж, как вышла княгиня

Настасья: домой ехать. Одноколка стоит, а лошади нет: куда конь девался? — спросы пошли. Сказал кто-то, — никак, Лакоста же, сохраняя невозмутимое хладнокровие, — что видел он, коли не ошибся, будто отпрягал Балакирев чью-то лошадь и выехал на коньке том куда-то со двора, кажись. Где Балакирев? — Туда-то послали — Как воротится, наверх позвать!

Воротился. Явился; в опочивальню ввели. Там царь.

— Брал лошадь? — спрашивает государь сам. Узнал уж он о невольном аресте шутихи во дворце из-за пропажи коня от одноколки и показывал вид рассерженного, внутренне смеясь.

— Её сиятельство разрешить изволила мне коня добыть для её же послуженья: платочек дома забыли и говорят, нечем нос утереть...

— Вишь, плут какой, — молвила княгиня, — почём мне знать твои умыслы?.. Разрешила не с тем, чтобы...

— А до двора её сиятельства конец не малый, — продолжал резать Иван, не дожидаясь и не слушая слов княгини. — И на посылках я с утра до вечера. Как вот сел на пожалованье княгинино, так, почитай, до этих пор с седла не сходил. Лошадь заморилась, где же человеку сил хватит без коня тут?! Спасибо, её сиятельства милость помогла исполнить сегодня все повеленные дела.

Пётр сперва нахмурился; потом, когда княгиня подтвердила разрешение — расхохотался; царица — тоже. Пожалевал государь рублевик Ивану и вслух сказал:

— Ожидал я проку от этого юрка... не обманул он моих ожиданий. Совсем молодец! Дело справить княгине не отказал и на деле толком доказал, без жалобы, трудность службы... Обязанностей прямо не указывают человеку, а гоняют из угла в угол. А этот-то с головой молодец — люблю таких. В денщики к себе возьму, коли не умели толку дать! Золото, просто золото...

Вот царица и вступилась, слыша похвалы такие:

— Ко мне, говорит, случайно попал деловой малый, по твоему же и выбору. Я была довольна его услугами... Теперь ещё больше открылась

его сноровливость и находчивость. И тут ты последнего надёжного слугу забрать хочешь. Мало ль у тебя есть и может набраться денщиков, а этого уж мне одного предоставь. Ни за что не отдам, как хочешь.

— Ну, ин, быть по-твоему, — решил государь, — только чтобы малому было впредь без обиды. Позаботься сама о нём. Разгону такому не след. А за делом, в рассылку, с конюшни лошадь дать хорошую, и рябиком пусть для переправы через реки пользуется; и плащ чтобы был на статью... и обуви вдоволь... при рассылках таких. Пусть при тебе ездовым лакеем будет да одни твои комиссии справляет.

Значит, за находчивость и ранг получил, служа без году неделю, и полное обеспечение; значит, во дворце совсем пристроился смельчак-разумник.

Пётр Иваныч Мошков только руками развёл, когда наутро передано ему царское распоряжение о Балакиреве: "И лично знаем стал, и заботиться об ем наказано: чтобы всего в достаче, и лошадь лучшую дать — как важной парсуне, и плащ.. Ах ты, Господи, батюш-ка! ей-ей, заморишься новых слуг-от уболаговлять... не токмо своё дело делать! Вот, вишь, какая гадина завелась: на губах материно молоко не обсохло, а нос умеет наставлять всем постарше себя. Да и царю самому, смотри-ко на его, намотал на ус, что такую хрю (Пётр Иваныч так говорил, вместо фрю, от слова фря) пешего рассылать вздумали. А в наше-то время как было? Бывало, ключник ни за что ни про что за вихор отвозит либо тумачков надаёт затем, что под руку в сердитый час попался... да и проплакать не смей! Вот хоть бы царевна, Софья Алексеевна, только бы заприметила кислую рожу, тотчас с волчьим билетом вон пошёл! Все, бывало, зубы и скалили при проходе её... А захихикать в примету попробуй — та же беда. А теперь?" — только рукой махнул старик, ничего не вымолвивши, и вздохнул он тяжело, давая понять этим своё неудовольствие. Вишь, считал он Петра Алексеича чуть ли не учителем и не потакателем всяческого своевольтва!

Но и за причисленьем всего, что следовало, Ивану Балакиреву в первые дни нового возвышения ни минуты не пришлось отдохнуть. С утра до

вечера посылали разъездного слугу государыни все с приглашениями на Преображеньев день боярынь к полковнице Преображенской — её величеству: хлеба-соли отведать. Ваня не выбрал ни одной минуты во все эти дни, чтобы глаза показать к отцу Егору. Хоть сердце молодецкое надрывалось, а вырваться нельзя было туда, где жило существо, для которого больше чем мучительно было неожиданное исчезновение Вани. Мы уже знаем, что существо это переживало, впрямь сказать, трудную пору. Микрюков, что твой паук, развесил уже вокруг паутину своих планов и осетил ими совсем мать Дашеньки. Матушка отца Егора больше всего годилась бы в подруги жизни земскому дьяку либо стряпчему монастырскому, так сильно в ней развит был инстинкт хапанья посильных приношений. Откуда и как неистощимою рекою могла литься эта благодать, матушка не рассуждала. Или, лучше сказать, одно она твёрдо знала: ведь люди другим за все и про все дают, везут и несут. А по щучьему веленью это делается, или иначе? — она в толк не брала. Оставалась матушка в полном неведении и того, к каким трагическим исходам вело в Петрово царствование развязное загребанье. Попадья, как тёмный человек, кажется, не ведала, как разделявались за приниманье разных памяток, когда узнавали. А ведала если бы суть самую, как за них достаётся, зарилась ли бы она на Микрюкова? На попа своего за слишком умеренные получения в приходе роптала матушка, не закрывая уст своих, и объясняла малое перепаданье в кошель к ним неумением батьки драть с живого и мёртвого. Поп Егор, впрочем, был не особенно любостяжателен, но, когда давали другим в его присутствии, вырывались и у него иногда тяжкие вздохи, которые можно было истолковать так: а мне-то что же? Но очень естественное желание получить, чем больше, тем лучше, ни разу не доводило отца Егора до разлада с совестью. Когда предстояло идти к богатому молебен служить и напутствовать нищего, он всегда прежде примирит с Богом отходящего в лучший мир, а потом уже направится "пролить молитву Господу" о здравствующих. Иной раз алтыном меньше давали за промедленье, хмурились и принимали суше, чем ожидалось. Да поп Егор не подавал и

вида, что замечает перемену приёма или обращения. А если бы на него осердились, открыто говоря: "За чем, мол, сюда не прямо шёл?" — он бы учтиво, конечно, но твёрдо ответил бы, что никак не мог поступить иначе ради "в немощи тяжцей лежаща". Паства за такую стойкость убеждений к отцу Егору чаще, пожалуй, обращалась, хотя церковь его и была приписана к Троицкому приходу. Сложилась даже поговорка у троицких прихожан, что "толкнись попрежь к Егору, а там к старшому впору".

Дочь, Даша, добротою и приветливостью вся была в отца; все же другие дети — в мать. За то Дашу мать и не больно возлюбила, по правде сказать. Внимание к дочери усилила было матушка, когда пленило её предложение Микрюкова. Видя, как ловко он воспользовался соседним с ними двором, любостыжательная попадья возымела к изворотливому скопидому глубочайшее уважение и безграничную веру во все, что он ни скажет. И его воздушные замки насчёт значения его во дворе князя Меншикова принимались матушкою Федорой Сидоровной за истину. В перспективе ему грезилось уже управление вотчинами светлейшего. Матушке же Федоре Сидоровне это управление представлялось, с его слов, в виде безграничного и непрестанного прилива взяток. Представляя себе праздник, она заранее облизывалась, захлёбываясь от удовольствия.

Отсутствие Вани уже полторы недели в поповском доме было и для Микрюкова с его союзницею чистым праздником. После трех дней, узнав, что солдата Балакирева вычеркнули из списка назначений в караулы, Микрюков забегал осведомиться к дядьке: почему это? А тот ещё больше озадачил вопрошателя, сказав, что солдат этот в полку больше не значится. Соперник, ничего верного не узнав из этих слов, порешил, что, должно быть, сбежал или в розыск попал ловчак Ванюша. Последнее ему казалось даже самое верное. Когда же у ротного каптенармуса он ещё осведомился: не знаете ли, мол, про Балакирева чего? — тот показал как-то таинственно на узел с амуницией, легко прихлопнув по нём и примолвив: "Вот что остаётся от Балакирева!" Тогда Микрюков и пустил в ход свою фантазию, даже сочинил предсмертные терзания мнимого

покойника. Известие о гибели Балакирева Микрюков приберёг, однако, для праздника Преображения. Тогда попадья пригласила его трапезу семейную разделить, а он за эту трапезою решил поразить свою грозною вестью и попа Егора, и его дочку. Не сомневаясь в эффекте, Фома хотел тут же, не тратя времени или не давая прийти им в себя, и брякнуть: "отдавайте, мол, за меня Дашу... не то донесу, что и ты, батька, и дочка ваша ведаете про разыскиваемого Ивана Балакирева..."

На таком манёвре он основал свою полную победу и думать не хотел, чтобы могли встретиться какие-нибудь помехи или препятствия к его осуществлению.

Вот и наступил праздник Преображения. У самого Микрюкова, кроме планов поражения попа Егора, ничего положительного слышно не было. Пристроиться к князю в дом Фомушке обещал помочь один приятель, писчик. Он накануне завернул к Фоме и после его напоминаний велел наведаться к себе перед обеднею, в праздник. "Мною, впрочем, — сказал он доверчивому Фомушке, — самому господину Соловьёву сказано, что ты годен и хочешь к нам служить... и господин, может, пожелает после слов моих сам тебя повидать. Как выйдет от обедни, ты схоронись в кусточки, чтобы, как позову я, ты бы и выскочил..."

Микрюков выполнил все по сказанному, как по писаному: забрался пред обедней в садовые кусты против самой церкви, что у дома светлейшего на Васильевском острове. А там справлялся и в этот год, как раньше и позднее, полковой праздник Преображенской гвардии, где светлейший был подполковник, а полковником — царь сам. В Петербург прибыло много офицеров-преображенцев, теперь уж часто в генеральских чинах. Все они собрались к церкви, и государыня туда приехала. Рассудите сами, досуг ли тут управителю дворецкому князя Меншикова о каком-то Микрюкове думать? Да мало ль у него было дела и в другое время?

Вот обедня кончилась. Погуляли высокие гости по саду и сели в беседке обедать. А Микрюков с места не смеет сойти. Вот ещё час прошёл; и другой пролетел. Фома все ждёт знака приятеля. Уж в брюхе в бирюльки

играют, а уйти нельзя. Делать нечего, думает, потерплю; скрепился. Вот и вечерни грянули над самым ухом. Бежит писчик. "Ты всё ещё здесь?" — "Жду; уйти не смею". — "Вона управитель, никак... сам валит... и несут за ним, глянь-ко, целый лес решёток да дранок расписных... шпалеру будут ставить! Спрячься поукромней! Авось скоро теперь", — и сам почесал за ухом: видно, понял, что не пора приглашать было. Микрюков в прежнее место ухоронился. А на грех да на беду подле самого того куста стали бечёвками план разбивать; как шпалеру эту самую ставить. От куста начали и шестики сбивать. Как вбили, лесенки разносить стали. Шкаликов да проволоки корзины огромные принесли и прямо поставили, словно дразня, перед самым носом Микрюкова. А он от нечего делать протяни руку да и возьми одну штучку, потом другую да третью... вертит в руках и не замечает, что мальчуган посажен все это добро сторожить. Глядит сторож зорко, а сам не больше клопа. А рабочие бегают, известно, суетятся: им не до чего уже, окромя дела. Вот Микрюков глядел-глядел на цветное стекло и хотел опустить уже в корзину, да промахнулся, Уронил в траву. А клоп, сторож-то маленький, как крикнет: "Солдат стекляницу стянул!" — молодца и цап-царап! Откуль ни взялся народ отборный, офицерство. Видят — солдат; нарядчик считать принялся. В корзине одной стекляницы нету, а две — в руках солдатских. "Винись, — говорят, — своровал одну!" Клянётся, божится парень. "Брал, — говорит, — посмотреть хотел, больно занятно!.." Сказали приказчику, и управитель пришёл. И писчик сунулся тут же. Спрашивать стал управитель прежде всего: как зашёл? Микрюков и рассказал, как и что, да сам на писчика указывает: он, мол, велел мне здесь с утра дожидаться. А писчик сам струсил: "Вор схвачен, — думает, — на меня показывает; беда моя, коли признаю..." И упёрся: "Знать, — говорит, — не знаю сего солдата; впервой вижу здесь!" Пока допросы вели, стклянку в траве нашарили. Управитель рад, что пропажи нет. По милости велел отпустить солдата. Накласть только в шею, чтобы вдругорядь было ходить неповадно.

Вот те и пристроился у светлейшего!

Тем временем, пока Микрюкова из сада княжеского выпроваживали да в спину ему здоровые кулаки всаживали, — перед вечернями у попа Егора и он и дочка получили полное удовольствие — запропавший нашёлся. Оголодала семья; матушка обеда, вишь, не собирала, все его, дорогого ей Фомушку, поджидала! Батюка наконец крикнул: "Не к вечерни же мне идти голодному!" Попадья накрыла. Сели за стол против окошка. Глянула Даша.

— Кто-то, — говорит, — подъехал на судёнышке, вот уж сказать, вальяжном! Расписное все оно и разукрашенное, и гребец в бостроге в красном.

— К кому бы в нашей улице? — отозвался смиренно поп Егор. — Ума не приложу. Никого нет такого значительного.

— Разве к Микрюкову, — сказала мать, — княжеский какой подхалим? К ему и есть. Вот, значит, это самое Фомушку и задержало. Да, никак, не он ли самый и есть, спиною-то стоит? У дворовых княжеских, как и у царских, одинакие плащи. Он, голубчик, он... и к нам прямо прёт. Глядь-ко, батюка, мимо оконца шмыгнул! — И вскочила, раскрыла окошко и кричит: — Фомушка!

— Покуда Иванушка, матушка. Ждали ли меня? — отворив дверь, крикнул Балакирев.

Поп Егор и Даша бросились к нему, а попадья так и осталась в окошке, словно приросла или приклеилась.

— Поздравь, батюшка, я ездовой теперь царицын. Микрюков к челяди княжеской пристроиться задумал; попал ли, не знаю. А я в царском доме, смотрите! — И сам повёртывался, блестя своими галунами.

Оставим покуда попа Егора и его семью, ведущих беседу с Иваном Алексеевичем. Он им, конечно, может пересказать все, что с ним было, так точно, как мы уже знаем: ни больше ни меньше.

Займёмся лучше Лукерьею Демьяновною и её сыном. По царской резолюции дан полный ход извету сына на мать на суде князя-кесаря. Но в суде его титулованного величества процессы решались не всегда по вдохновению, а большею частью по справкам. Когда дошло до них,

Преображенские дельцы начали сосать, не хуже других приказных, обе тяжущиеся стороны. Собрание справок и разных мелочей протянулось на три года почти. Вот на другой день Преображенья в 1718 году, уже при сыне пресловутого Федора Юрьевича, Иване Фёдоровиче — князе же кесаре, только втором — назначены: очная ставка и личный спрос сына истца-тяжебника с матерью-ответчицею.

Мы уже имеем полную возможность оценить вред для Вани того, что бабушку, против воли её, в Москве задерживал процесс с сыном. Каялся не одну сотню раз, может быть, и сам сын, не видя конца проволочкам и требованиям ответов на вопросы, ставившие его в тупик. Подьячий или повытчик, чтобы вытянуть у неопытного истца рубль, два, придумывали все новые вопросные справки. Ответчица была не из таковских. Если давала она, и давала не полтины и не рубли, а десятки рублей, то не иначе как секретарю; у себя с глазу на глаз, договорившись с ним начистоту, что он сделает за выполнение своего требования. Поэтому, когда нужно было слушать дело князю-кесарю, на стороне ответчицы было все чисто и ясно, а у истца вопросы без ответов.

Дело вдовы стряпчихи Балакиревой с сыном-сержантом теперь должно было определиться в полугодовой срок, даваемый государем для окончательного решения.

Лукерья Демьяновна, живя в Москве два года с лишком не по своему хотенью, времени даром не теряла, как мы знаем, и узнала уже все закоулки и подступы, чтобы направить тяжбу в свою пользу. Сам секретарь Преображенского приказа надоумил её — разумеется, не даром — полугодовой срок получить и обнадёживал её в верном успехе.

— Видишь, мать моя...— с душою говорил делец, смакуя в уютной каморке помещицы сладкую романею; уже он был насыщен и всем доволен по горлышко, — наши плутни теперя и верный твой выигрыш могут затянуть, склоняя тебя на мировую. Никак, уж с сынком-от твоим позавчера Андрей Матвеич Апраксин к нашему кесарю забегал. Помнится, наш Иван Федорыч, ясно на его слова, хотя и несловоохотлив очень, дважды повторил: "Мирить сына с матерью — святое дело!" Это

неспроста! Увидел твой тяжёбник, что не вывезет прямо, — ухитрился окольным путём обойти: покорностью, может, что вытянуть.

— Какую ты меня, Демид Семеныч, простенькую нашёл!.. От меня-то покорностью Алексей выжмет что?.. Нет, голубчик, коли покорность окажет, я от его, пьяницы, и последнее заберу в своё управленье... Коли бы ты знал, что у меня за внук Ванюшка, — понял бы, что к Алёшке не повернётся сердце в ущерб ему... Не-ет!

— Понимаю... Так увидят, что с тебя взятки гладки, Ивана Федорыча и уговорят положить под сукно.

— Да какой же кесарь-от ваш, коли послушается мошенников?.. Хуже бабы, значит... Тут казённый ущерб, туто явная пагуба всему роду крещёному, потачка такая плутне... За что ж кесаря и ставил государь? Чтобы не кривил весы, как делают судьи обыкновенные. Коли у его правды не найду — к царю пойду... Меня ужю обещали на переходе поставить у верхних хором... брякну челобитье и на кесаря.

— Не советую... А лучше ты попроси, чтобы решили скорей. Пропиши в челобитье, что по царскому указу держут тебя на Москве с делом, скоро три года минет... третий пошёл уже?

— Вестимо, пошёл... с Филипповок.

— Ну, так справки не должны три года тянуться. Самые запутанные дела государь велит, коли в Преображенском три года не решат за недостатчей чего, в Сенат передавать... Вот я тебе, со ссылкой на ту царскую наказную статью, и накатаю, хошь здесь же, челобитную?

— Будь отец родной! Орленой бумажки листок нужен?

— Вестимо.

— Один?

— Ну... ин и на одном упишу.

И скрип пера по орленой бумаге на несколько минут пресёк беседу дельца с помещицею.

Наутро, ещё свет не показывался, Лукерья Демьяновна уже приехала в Кремль и введена была знакомым истопником на переход, соединявший Грановитую палату с царскими теремами и Благовещенским собором.

Царь Пётр, живя в Москве, бывал у Благовещенья у обедни по пятницам. Вот кончилась обедня. Государь с государынею идут парочкою одни из церкви. Только поворотили к теремам, а навстречу старуха:

— Батюшка государь, Господу Богу ты молился... ради Господа Бога, яви пример богоподобного правосудия!

— О чём ты просишь?

— По высочайшему твоему царскому указу передан в Преображенский приказ разбор дела сына моего сержанта Балакирева со мною, его родной матерью, рабой твоей.

— Да, помню! — ответил государь. — Это не так уже недавно. Разве не решено?

— Не решено, государь... Все какие-то справки собирают. А меня третий год здесь держат и домой не дают съехать... а мне крайняя нужда. Коли не могут, государь, в три года справки собрать, повели, государь-батюшка, в Сенат перенести, как повелено тобою... а мне, рабе твоей, позволь домой ехать и явиться в срок, как слушать надо. С голоду вдалеке от землишки моей, отцовской вотчины, здесь помираю и разоряюся безвинно, сирота твоя. Матушка государыня, Катерина Алексеевна, окажи милосердие... попроси государя оказать мне милость, бедной и сирой!..

И, чуть не на колени падая, бросилась Балакириха ловить руку государыни, пока государь смотрел в челобитную.

— Хорошо! — сказал государь. — Я посулю кесарю в Сенат взять ваше дело, коли три года пройдут. Он и сам до того не доведёт... Будь покойна.

Розыск по уходу царевича в чужие земли уже начался в Москве, и князь-кесарь каждый день самолично являлся к государю за приказаниями.

И в этот день пришёл кесарь.

Завидя ещё его, государь уже крикнул:

— Нельзя вам давать никакого разбора! Волокиты насмерть не терплю и не вижу другого средства, как закрыть твой приказ и к Сенату его приписать.

— Помилуй, государь... И то день весь и часть ночи прихватываю, слушая

дела... Отец в последние годы прихварывал, так, может, запустил... Я все, почитай, спустил, что позадержалось...

— Коли два с половиной года собирали справки, довольно, кажется, было времени... Вспомни, что я сам прислал разобрать дело сержанта Балакирева с матерью.

— Сам знаю, государь, что залежалось у отца это дело; да есть, кажется, возможность помирить...

— А если не помирятся?

— Решить придётся тогда, как есть... коли и не все справки будут собраны.

— Хорошо! Даю полгода на ваши справки. Сегодня седьмое число февраля — на седьмое августа чтобы было разобрано бесповоротно. Смотри, князь, я помнить буду и... спрошу.

— Ваше величество коли приказать изволил слушать седьмого августа дело Балакиревых, письменный указ дам, не токмо на словах.

— А до этого срока с подпиской пусти ответчицу в деревню, если просить будет... И срок этот ей объяви, с подписью на её челобитной.

И передал кесарю челобитную.

Понятно, что все уже тут нужно было без слов точно выполнить.

Помещицу отпустили. Привела она у себя в порядок дела. Конечно, нашлось-таки кой-чего, хотя невестка и здравствующая ещё сватья, мать её, хозяйствовали как нельзя лучше и ничего не утеряти, не упустили ничего, казалось, к выгоде хозяйской.

Седьмое августа застало Алексея в самых дурных обстоятельствах. Жил он, положим, у Андрея Матвеича, но по смерти царицы-сестры и того дела были плохи, а процесс, погубивший общего друга — Кикина, — навёл подозрение царя на всех Апраксиных: что они расположены к виноватому царевичу больше, чем к великому государю. Насколько справедливо такое заключение, мы говорить не будем: а пока оно не рассеялось, к царю с просьбою ни один из Апраксиных пойти не решился бы. Тем более — просить о рассрочке платежей в казну или о прибавке вотчин, хотя бы под именем царицы-сестры захвачены были у брата, как

случилось с Андреем Матвеичем.

Лукерья Демьяновна уже в шесть часов утра, прямо от ранней обедни, приехала в приказ. Вот и князь-кесарь сел на своё кресло и потребовал истца и ответчицу. Истец ещё не являлся. Князь недовольный вообще явился в приказ свой, а тут ещё промедленье слушанья по милости истца. Живо представилась кесарю распеканция царская за медленное веденье дела, и он, едва владея собой, крикнул дьяку, благоприятелю и советнику Лукерьи: "Семеро одного не ждут! Читай! А коли явится, я из него выбью Андрюшкино похмелье".

Доклад прежде всего, по собранным справкам, вывел полное количество животных казнённого Елизара Червякова за погашением государственного начета.

"Две тысячи восемьсот пятьдесят три четьи в поле из прикупных и вотчинных оного государственного вора причитаются на часть неотъемлемую наследников, а таковыми к сему наследству, по уложению, единственная наследница сестра реченного Червякова, стряпчего вдова Гаврилова, по муже Балакирева, Лукерья. А по делу явствует, что вместо Лукерьи, поманкою и поноровкою должно почесть скверные ради прибыли, Лукерьиная часть закреплена во Владимирском приказе за сыном её, Алексеем Балакиревым; без челобитья матери и даже в кую пору был оный Алексей несовершеннолетних лет. А по новоуказным статьям сие весьма запрещается, а тем паче переотказ недоросля кому бы ни было, к явному нарушению повелений великого государя. И повелевается таковые переотказы ни во что вменить и в имения наследственные делёж не вносить. Сего ради подлежат ко возврату прямой наследнице Лукерье Балакиревой, из вотчины блаженные памяти государыни царицы и великие княгини Марфы Матвеевны шестьсот четьи и сто двадцать три двора крестьянских, отошедших в дворцовый приказ государынин по дарственной записи недоросля Алексея Гаврилова Балакирева, облыжно написавшего себя в службе, находяся не у дел... И кто сие беззаконие учинил, с того доправити все протори и убытки за владенье теми дворами и землями, со всеми доходы, поборы и

поступлении... И про виноватых спросити первее укрепивших означенную, неправедную, даровую запись Балакирева. А под записью писаны ручатели: стольник Александр Васильев сын Кикин".

— Ну... этот на том свете... спрашивать не придётся...— со вздохом участия проговорил князь-кесарь.

В это время в дверях судебной палаты показался Андрей Матвеевич Апраксин и, подойдя к столу, громко сказал:

— Я пришёл, державнейший князь-кесарь, твоему высочеству донести, что истец Алексей Балакирев огневицею болезнует и меня просил вместо него дело слушать и рукоприкладство чинить. И на то на все являю величеству вашему просительное руки его, Алексея, письмо.

— Опоздал ты, Андрей Матвееич, и повинен бы был к штрафованию; но, принимая невольность вины по Недужию истца, тебя в истцово место допускаем и ответ за его держати повелеваем. Садись! Продолжай, дьяк!

"Вторым, после обретающегося ныне уже не в живых Александра Кикина, ручал стольник Андрей Матвеев сын Апраксин".

— Андрей Апраксин, подпись твоей ли руки на записи Алексея Балакирева об уступке им ста двадцати трех дворов и шести сотен четьи в поле государыне царице Марфе Матвеевне?

— Моя подпись.

— А ведал ли ты, что та уступная незаконна и чему подлежат крепители её?

— Не ведал... Да почему незаконна?

— Недоросль не имел права, тем паче ему не принадлежащего.

— Какой недоросль?.. как ему не принадлежащее? Алексей Балакирев раньше того уже был на службе великого государя, и дядя его сам закрепил за ним, Алексеем, свои животы во Владимирском приказе. И признано это было надлежащим в Преображенском приказе, когда зачёт чинили похищенного Червяковым из казны, в возмещение.

Дьяк, предусматривавший, вероятно, подобную отговорку, зачитал:

— Балакирев Червяковым записан помещиком, как дознано, ещё несовершеннолетних лет, и за несовершеннолетием вина Алексею по участию

в мошенничестве дяди, казнённого за винность его, великим государем отпущена, с тем чтобы был он, Алексей, яко неразумный, во всей воле родительницы своей. А она, родительница Алексея Балакирева, вдова Лукерья, — прямая и единственная наследница брата своего, за постриженьем его дочери Анфисы.

— Что на это скажешь, стольник Андрей Апраксин? — спросил вторично князь-кесарь.

— Я этого всего не мог знать и не нуждался, имея в руках выписи из Преображенского приказа и приказание её величества государыни царицы Марфы Матвеевны: крепить вместо неё дарственную записку.

— Эти слова твои, Андрей, непригожие, — видимо сдерживаясь, но всё же не сумея скрыть злости, тоненьким, металлически звонким голосом произнёс князь-кесарь. Он прибавил затем с расстановкою: — На царицу усопшую клепать не пристало, и то вящая вина... поклёпом прикрывать своё плутовство. Говори что ни есть иное, на дело похожее.

Андрей Матвеевич, упавший духом от такого приёма, чуть внятно проговорил:

— Другого сказать не имею.

В таком же роде прошёл разбор и всех пунктов претензий Алексея Балакирева, на которые при вопросах, как было писано, то отговаривался он невозможностью представить доказательства, то, прося отсрочки, в данное время ничего не представил.

Был уже второй час в исходе, когда дочитан последний голословный извет Алексея Балакирева на мать самому царю-государю: что она держит не давящую отцовское наследство — поместье его, Алексея.

Поднялась тогда ответчица и, указывая на четыре заявки, сделанные ею в своё время о пропаже сына, только что женатого ею, подала князю-кесарю вечную память о браке сына и выписку из молитвенных книг патриаршего прихода, где записано было от законного брака её сына рождённое дитя мужского пола, наречённое именем Иоанна.

— Державный кесарь, — прибавила помещица, — за нахождением сына в бегах, я внучково наследство удерживаю и все сберегла сохранно,

ничего не потеряв. А буде изволите дать веру незнамо откуда явившемуся сыну моему, то изволь доход с его отцовского поместья вычесть из доходов моих наследственных после брата вотчин и дворов, и все покроется с лихвою... Я уже не отыскиваю с приказа царицына на свой пай, а воротить все сполна прошу мне, наследнице, что осталось после брата, чистым... за казённым взысканием.

— Быть так... Это совершенно законно. И тебе, Андрей Матвеич, советую, буде вдова Лукерья согласна одним удовлетвориться возвратом, подписать за сына, кончивши дело... Ты избавляешь себя и его этим от новой тяжбы, а возврат матери в пожизненное владение сам собою уж будет. Подумай!

— Что же Алексею останется? Его часть отцовская... да и та за уделением на жену и сына половины. А как же с остальным?

— Ничего ему нет из остального. Да и за Царицыну бывшую часть вам стоять нече, потому что те имения не вам, братьям, в разделе дадутся, а отчислиться должны в дворцовый казённый приказ.

Андрей Матвеевич Апраксин подумал-подумал и подписал полное удовлетворение решением тяжбы от князя-кесаря. Ответчица выставила и свою подпись полуустановом: "Лукерья, вдова Балакирева".

— Сегодня же посылаю рапорт до великого государя. Пусть не корит меня медленьем. Решил в один день, как велел государь, и бесповоротно. В Сенат ему моего дела нече передавать, сами справились.

— Теперь мой Ваня богат будет. Поспешу в Питер его обрадовать. Мать туда же возьмём и заживём припеваючи.

Гаданья бабушки, однако же, как и думы внучка о безмятежном счастье и соединении, были расчётами на песке — как увидим.

Глава VII. ВСЯК К СЕБЕ ТЯНЕТ

В парадном красном кафтане с галуном и в зелёной епанче на красной подкладке да в шляпе с распущенной плюмажем, с галуном по борту, Ваня Балакирев казался своим современникам таким красавцем, на которого и мужчины могли при случае заглядеться. Находчивость,

ставящая в тупик любого мямлю, не могла не нравиться Петру. Очень естественно, что милостивое выражение монаршего удовольствия заставило и царицын штат другими глазами глядеть на счастливица-удачника. Первая мамка царевен Авдотья Ильинична решила, что такого молодца следует прибрать к рукам, чтобы другим не доставался. У ней роднища была семьянистая, племянниц счёту нет. В бытность государыни за границую успела она выписать к себе из деревни и пристроить в комнатные девки одну племянницу, Авдотью Афанасьевну (выданную потом за Кобылякова). Эту Дуню, любезную и острую девушку, хорошо понимавшую даже взгляды тётки и их значение, Авдотья Ильинична задумала выдать за Ваньку Балакирева. "Он такой стрёмой; да и она не промах, — думала мамка царевен, — так мы и заживём припеваючи. Кого нужно под ноготок прибрать — приберём любехонько... Они парой — меня, а я их стану оберегать... И пойдёт как по маслу у нас".

— А что, девка, — рассуждая вслух, вдруг молвила Авдотья Ильинична племяннице, — ты ведь, чаю, не прочь бы за Ваньку... пойти?

— Как будет воля ваша, тётенька! — поспешила ответить покорная племянница, самым наивным образом опустив глазки в пол и заалевшись как маков цвет.

— И будто моя только воля заставить тебя за Ваньку идти? Полно, девка, не к делу хитрить!.. Чем парень не угар? Третьего дня довелось мне ненароком к фрелям толкнуться: уж не тебе ровня, а что ж бы ты думала, мать моя? И у их зубы точат насчёт балакиревского пригожества... Марья Даниловна простуха у нас: что ж, говорит, коли бы меня полюбил, я довольна бы была... всем взял молодец... Гляди на него... Сегодня у нас, а там, почём знать, и Сам-от в денщики возьмёт... Тогда до его и рукой не достанешь, как ноне до Ягужинского... Ведь тоже из посыльных выехал... да ещё у кого на посылках да на помыканье-то бывал... у непутных Монцовых, спервоначалу!.. Может, парня и барашки очищать турили... А теперь... во какой стал, нам, старухам, и шапки не ломает. Пройдёт, словно и не видит, что сидишь... Така хря, что и сказать нельзя... Коли звонова подняли годов в пять, в шесть, так не заказано подниматься и

теперешнему угоднику?.. Да этот, никак, половчее будет... В карман не лезет за словом, да и знает, где смолчать и виду не показать... А где и сзубоскальничает ловко, на потеху кому повыше... Я уж присматривалась к его обычаю с самого первоначалу, как привёл его Лакостов и зачал его исповедовать. Перед шутком парень стоял с уважением. Да сам все нет-нет и глянет ему в глаза таково пристально да озетно, что и тот смекнул, что парень на статью. Выкликнула я старика да на ухо спрашиваю: "Каков?" А он мне только обе ладони вывернул да начал пальцами перевёртывать, а сам ничего не молвил... Я и поняла, что показывает: малый, хоть в ушко, значит, вдевай, пролезет без мыльца. Вот я попервоначалу и хотела было, чтобы исправней заручиться, турят его во все, да вишь, ворог какой, прочухал и нос сумел наклеить... Будто бы княгинюшку Настасью Петровну на смех поднял, а врёт, шельмец, поняла я, показал это он мне, что — щука как есть заправская. Зубаст и увёртлив. Значит, про прежнее мы теперь молчок... нужно зубы заговаривать ворогу — по шерсти гладить... Была, правда, надежда, что свой человек, Дунька моя, толковита и воровата должна быть, сама смекнёт, как его исподтишка залучать... Да как вывезла теперь про волю-то мою единственно, так, видно, приходится отложить попечение на этот счёт... И то сказать... думаешь вперёд не о себе, старухе, а о молодёжи, разумеется... а коли рохлей будешь, тебе же хуже...

— Да я, тётенька, — откликнулась оживлённо чернобровая Дуня, — не поняла спервоначалу, куда бить изволит твоя милость... Хотеть-то за Ивана Алексеича пойти и не мне бы, дуре несчастной, думалось, да ведь как Господу угодно... Про его ль пригожество и не одна, может, Даниловна думает-гадает; наши девчата третьего дня зазывали его в бирюльки забавляться... За фант — поцелуи... да не больно-то пошёл. Прикинулся боязливым. Мне, говорит, Пётр Дорофеич наказал из передней не отлучаться; тем паче к вам...

— Ишь ты, поганец!.. Этот Петруха Лакостов — стервец тоже не из последних. Должно, смекает свою Сарку спихать за Ванюху. Плут старый понимает, где ракам-то зимовать! Вот он-от нас и отвёл уж... Да ладно,

что ты сказала это теперь. Ужо я государыне доложу, чтобы камер-лакею Балакиреву ближе велела ютиться: у нас, а не в передней горнице; где его там скажу, искать, коли нужно послать иной раз, и бежать некогда?.. Чуть не через двор. Нарочно от царевен из комнаты дверь к передней шкафчиком заставлю. Будут тогда кругом ходить... И ладно будет подстроить всю эту комедь... для залученья Ивана к нам под бок. Лакостов Петруха гриб и съест недуманно-негаданно. Ты только знай — не зевай. Чтобы из-под носа жениха не утащили.

— С нашей стороны, тётенька, и уменя, и охоты будет достаточно, а будет ли прок — не берусь отвечать. Букой глядит царский юрок. Испроведать бы, не находится ль уж зазнобы у него где на стороне?

— А ты так делай: коли и зазноба бы была, а ты бы показалась ему краше всех... Ну, чем, впрямь сказать, ты, Дуня, не взяла? Очи насквозь пронизывают; поступь — павушкой; дородства теперь не требуется, а коли в мать пойдёшь, перещеголяешь любую купецку жену; румянец что твой жар. Речь поведёшь — любого заговоришь. А привету аль ласки у нас кому иному прочему признаться придётся; а не нам у кого.

И, говоря эти слова, Авдотья Ильинична повёртывала Дуню, глядя на неё из-под руки с видимым удовольствием и понятною даже гордостью, девушка, пригожа и умница, была в её вкусе. Всю нежность свою — насколько только способна была она проявлять теплоту чувства — Ильинична высказала теперь племяннице, больше чем польщённой теткинкою доверенностью. Если бы, впрочем, знала Авдотья Ильинична, как задолго раньше её слов уже кружил голову Дуне бравый Иван Балакирев, на неё не обращавший внимания, тётушка, может быть, и остереглась бы от дальнейшего разжигания в девушке сердечного пламени.

И то уже Дуня несколько ночей не смыкала глаз, одна из первых увидав в царском доме Ивана Балакирева, когда только ввёл его Лакоста в переднюю к царице. Девушка чувствовала и без внушений тётки необходимость заставить Балакирева — на первый случай — если не заговорить, то выслушать её. А сказать ей хотелось ему очень многое.

Нам, конечно, понятна причина, по которой Ивану Балакиреву казалось излишним направлять взоры в сторону царицыной девичьей. Обитательницы же царевнинных комнат не могли понять, отчего ловкий камер-лакей не только избегает сношений с ними и не отвечает на окольные подходы, но даже прямые их затрагиванья принял он за правило не замечать. Его насторожённости девы верить не хотели и порешили, что вернее всего боязнь удерживает молодца в этом положении и мешает сблизиться с ними потеснее. Как мы видели, тонкая Авдотья Ильинична отчасти напала на след, подозревая участие в этом прежде всего Лакосты. И Ильинична с редкою проницательностью угадала побуждения, по которым шут взял под опеку новобранца на царицыной половине.

Но, как мы увидим, и Лакоста напрасно тратил своё ловко рассчитанное красноречие, чтобы внушить Балакиреву: он должен прежде всего искать поддержки. А охранительную сень влиятельной поддержки можно, разумеется, закрепить свойством. Вступая членом в семью, молодой человек обеспечивал себе её содействие вполне. Кто же своему пожелал бы в ту пору невзгоды или безвременья? С возвышением родича или свойственника могли, как Бог приведёт, и все, каждый в свою очередь, надеяться на благостыню. Род ещё много значил в ту пору. И опала разражалась иной раз по милости виноватой роденьки; и в Сибирь ни за что ни про что приходилось в ссылку тащиться; и с частью помещьев можно было расстаться за здорово живёшь. А всё-таки заманчиво было тянуться за родом: опалы реже ведь выпадали, чем милости от ближнего человека.

Эти же побуждения были и у Авдотьи Ильиничны, хотя она и очень плотно укрепила за собою государынино расположение. Да как рассчитывать на прочность чего бы то ни было на сём бренном свете? Благоволение сильных — учила вечная мудрость — не прочнее росы в знойный день! А потому всякий спешил найти какую-нибудь протекцию и укрепиться связями с нужным человечком. Лакоста, иностранец, настолько, однако, проникся русскою обыденною мудростью, что по

части поисков нужного человечка ничем не отличался от Ильиничны.

В то время, когда по царскому кивку и приказу Лакоста вышел для объяснения с Ванею Балакиревым, он, как мы уже знаем, дал ему понять с первых слов, что Ваня должен подчиняться указаниям руководителя, просто чтобы уберечься от ошибок. Они могли быть настолько ужасны, что и поправить сделанного иной раз невозможно. Рассудок Вани, положим, этот пункт принимая к сведению, в то же время стал соображать: какие бы такие могли оказаться ошибки, которые требовали бы полного отречения от своего я? Не много ли берет наставник на себя! Не олух же я, в самом деле, настолько, чтобы мне внутренний мой голос не подсказал, что этого делать нельзя, если вред несомненный? Будем сперва поэтому присматриваться: что за мудрёные такие порядки, чтобы не понять, где что можно и чего нельзя? И стал наблюдать.

Любопытство женское велико; кто этого не знает. Нового человека захотелось и фрелям, и комнатным девушкам рассмотреть; и стали они выбегать, будто за делом. Были малоприглядные, были и очень смазливенькие. Из числа последних быстроглазая Дуня, племянница Ильиничны, была всех краше и силилась всех упорнее заглянуть в глаза новобранцу. На удочку эту не поддался Ваня. Он, отвечая на вопросы, все в пол глядел.

— Нашего нового посыльного видала ль ты?

— Бука какой-то, а, впрочем, сокол такой, что расцеловать бы готова, — отозвалась Дуня вдове Максимовне, перестилая с нею вечером постельки царевнам.

— Какая ты, Дунька, влюбчивая! Как это, девонька, у тебя скоро? Сегодня первый день перед вечернями пришёл человек, а ты уж и целоваться готова!..

— Видно, Матрёна Максимовна, в тебе ничего никогда не ворошилось живое... Коли меня осуждаешь за скорость, как говоришь... Веришь ли, как увидела этого самого, словно ёкнуло сердце... Бравый из себя да румяный... Так бы схватила его за руку, да и закружилась бы...

— Рази уж такой писанный красавец? Дакось и я погляжу.

— Погляди... И сама мне поверишь...

Глядела ли в этот вечер Матрёна на Ивана Балакирева или нет, Дуне она об нём потом ни слова... Начала только присматривать за Дуней: как куда выбежит, Матрёна норовит в переднюю идти. Из себя была женщина не худа, не хороша; лет тридцати трех, пожалуй; хитра довольно и наблюдать за всем, что делается, охоча была.

На третий, никак, день она пришла в переднюю и, найдя одного Лакосту, сочла нужным намотать ему на ус:

— Вишь, старичок, тебе под руку, говорят, молодца отдали. Наши девчата известно, проказы, на уме... Выбегают все к вам — на него глянуть... Ты бы тово, иной раз и окрик дал, кому не следует выбегать. Эвона Дунька у нас Ильиничнина, похваляется, бесстыдница, твоего подручного, одно слово, расцеловать... Во она каковская.

— Мой нед тел до ваш тэвитца... Ви змотрай... Ми нишево. Цилюй дисатшу рас, моя суферешенная утуфолствия...

А сам принял к сведению сделанное внушение, и, когда Ваня воротился, справив комиссию, Лакоста посадил его подле себя и, наклонясь к самому его уху, прошептал:

— Я уснал мнока отшин никароши на двои шот...

Балакирев вспыхнул и хотел крикнуть: "Что такое?" — но шут, поспешно зажав ему рот и показав многозначительно на дверь во внутренние апартаменты её величества, вполголоса произнёс:

— То веджера!

Тут вновь послали Ваню с цидулами, и так случилось, что малый весь вечер был в разгоне и воротился на своё место, когда на половине царицы не слышно было движения.

Уложив царевен, нянюшки их, недневальные, уходили к себе на верхний антресоль, по каюткам, для покоя.

Лакоста тихонько, неслышными шагами ходил по передней, очевидно кого-то поджидая.

Увидев Балакирева, он просил его, шепча на ухо, следовать за собою.

— Да можно ли мне отлучаться отсюда?

— Зо мною мошна... Я дыби привету подом...

Ивану оставалось после этого, разумеется, только следовать за руководителем, которого велено ему было слушаться во всём.

Пошли они с царицына крылечка по двору в ворота, уже притворённые. Против ворот сидел сторож с соседними караульщиками, отбывавшими ночную службу по Луговой Большой улице. Луна в полном блеске выплыла на чистую полосу тёмного неба и ярко освещала сзади дворы, выходявшие на Мью-реку. Тишь была за мостом полная. А у двора доктора, что Поликало прозывался, чуть мерцал красный фонарик, вывешиваемый с сумерек сердобольным врачом и акушером, чтобы нуждающиеся могли отыскать безошибочно его жилище и во мраке. От угасающего фонаря Лакоста поворотил вправо и, пройдя мимо десятка запертых надёжно ворот, остановился перед проходом, откуда прорывались лучи света, указывая, что вдали есть жилое помещение. Лакоста взял Балакирева за руку и повёл бережно во мрак прохода. А он чем дальше, тем больше суживался, образуя подобие какого-то извилистого коридора, из которого видно было в выси мерцанье одиноких звёздочек на узенькой полоске тёмной лазури. Сделав три, по крайней мере, поворота, Лакоста со своим спутником в полнейшем мраке стали подниматься по ступеням. Балакирев шёл позади вожака, осторожно поднимаясь и держась за поручень. Достигнув нового поворота или, вернее, площадки, Лакоста выдернул свою руку у гостя и, торопливо достав ключ из кармана, вложил его в замок неслышно отворившейся двери. Оттуда смутно блеснул огонь свечи, как видно зажжённой надолго, потому что образовался большой нагар на светильне.

— Проссу каспатина файди ф мая том.

Балакирев машинально повиновался.

Вошёл он в небольшую комнатку с завешенными тремя окошками, но, должно быть, неплотно, потому что свет от свечи был виден, как мы сказали, со стороны переулка. Высокие кресла, картины, на столах книги и разные инструменты в большом количестве, употребление которых

неизвестно было Балакиреву, — удивили молодого человека, поразили его воображение и природную пылливость.

— Это все ваше добро, Пётр Дорофеевич? — поспешно, не подумавши, спросил Ваня, оставаясь под впечатлением увиденного.

— Моё, конессно. Мосит твая быть, ессели сакхотшесс...— и рукою показал на портрет молодой особы, очень миловидной и чертами напоминавшей шута, смолоду, должно быть, очень статного и привлекательного.

Ваня закусил губу и не промолвил ни полслова, опустив глаза и не обращая их в ту сторону, где висел портрет.

Молчание гостя на минуту озадачило Лакосту, но, как видно, решившись действовать напролом и очертя голову, шут завёл непрерывную живую речь, произнося слова своим ломаным русским языком гораздо быстрее, чем говорил он обыкновенно. От этого, конечно, речь его и быстрому Балакиреву была далеко не вся вразумительна. От передачи её слово в слово мы освобождаем читателей своих по той же причине, по которой тягостна она казалась покорному гостю Лакосты, однако внимавшему хозяину без малейшего нетерпения, чтобы не оскорбить старика. Цель его приглашения и виды Ване сделались вполне ясны с первого же раза. Он не хотел внушать рассказчику несбыточные надежды на выполнение его фантастических планов: назвать Ваню сыном своим и наследником скоплённого всякими средствами довольно значительного достатка в наличной монете и вещах, а ещё долговых документов по претензиям на многих высокопоставленных лиц в Петербурге. Услужливый Лакоста им доставал у своих земляков-итальянцев деньги далеко не бескорыстно. В случае неуплаты ими вовремя он должен был платить свои, но тогда брал от должников закладные на недвижимость с избытком. По просьбе должников он откладывал процессы, получая проценты на проценты, и всегда был уверен, что в конце концов заложенное имущество может перейти в его собственность. Теперь, посвящая Ваню Балакирева даже в свои семейные тайны, шут с видимым удовольствием три раза повторил, что своей Сарре он приготовил в Питере семнадцать хороших дворов со

всем, что в них заключалось и могло оказаться. Что у него, Петра Лакосты, рублевинов одних досыпается четвёртый мешок уже. При этом капиталист встал, подошёл к угловому шкафику под чёрное дерево и, вынув ключик из замка, отворил дверь шкафа, в котором действительно на нижних полках лежали три мешка немногим меньше, чем мучные — во всю полку, вдоль её. На четвёртой же полке мешок, растянутый по ней, был ещё не туго набит, но уже было в нём больше половины. Довольный этим представлением своего капитального могущества, сделавшись ещё словоохотливее, Лакоста распространился в описании достоинств всякого рода имущества, можно сказать, нагромождённого в жилище владельца. Оно же состояло, по крайней мере, из пяти комнат, та, где велась теперь беседа, была не самая обширная.

При свете часто нагоравшего сального огарка на стене комнаты от всех в беспорядке набросанных там и сям вещей тени рисовали самые фантастические сцены. Особенно когда в жару беседы Лакоста каким-нибудь ораторским неожиданным движением трогал жидкую этажерку или висящий на шнурках сквозной шкафчик, имевший одни боковые стенки, без задней и средней доски. Вещи, на них разложенные, приходили в движение, и оно сообщалось всей комнате, как бы колеблющейся или движущейся. Два раза при подобных толчках что-то скатывалось даже, и шорох от падения получал особый, смешанный звук, трогавший напряжённые нервы перевозмывавшего сон, утомлённого Балакирева. Он невольно вздрагивал при этом, а Лакоста, несколько суеверный, принимался тотчас уверять, что у него в доме это просто случайность, а в других местах бывают звуки и даже нечто угрожающее от нечистой силы, которую, по его словам, мастера оставляют вместо сюрприза хозяевам, дурно рассчитывающимся за работы. В числе этих хозяев вставил очень искусно хитрый Лакоста имя Авдотьи Ильиничны, мамки царевен, уверяя, что она для племянницы в Морской улице купила домик, да в нём жить нельзя, потому что каждую ночь поднимают домовые нестерпимую возню, как только погасят огонь. Что это он

слышал от золотых дел мастера Граверо, живущего по соседству, и что придётся мамке отступить от своего добра или сбыть его за бесценок из-за этого казуса. С домика и племянницы Лакоста перешёл на мамку Ильиничну и её роль в царицыных комнатах. Здесь, у себя в доме, он боялся говорить вслух очень резко обо всех людях и высшего общества — "нисто трукхое, кхак дварь, ниплакатарна... Тсаритсу опманифаит, фарюит, зпледнитшаит пра всикх..." Ваня из дальнейшего объяснения узнал, что Ильинична — крестьянка из одной подмосковной деревни, крепостная Нарышкиных, взята была для самой чёрной работы царевною Натальею Алексеевною и успела подбиться в услугу к Екатерине Алексеевне, когда ещё держали её под секретом в одноэтажном домике в селе Семеновском, выдавая за вдову царского повара, в детях которого государь — за услуги отца — принимал большое участие. Оставаясь при Екатерине большею частью все одна, Ильинична дождалась и красных дней: объявления своей патронши царицей. А с тех пор как дочерей стали воспитывать на манер принцесс крови, Ильинична напустила на себя важность и велит девкам горничным называть себя не иначе как гофмейстершей их высочеств. Что эту мнимую даму из лаптей все ненавидят, и сама государыня будто теперь не особенно жалует. Что воровство её царице сделалось известным во время путешествия с государем её величества. В Голландию написала генеральша Брюс, да заступилась по приезде старая шутиха княгиня Настасья Петровна; а вернее, подействовал подарочек от Ильиничны княжне Марье Федоровне Вяземской. Написала княжна, что будто дело не так совсем было, как донесено, и — спасла мамку. А то в грозном письме государыни велено было прямо за воровство Авдотью от хозяйства отрешить и обратить — по-старому — в судницы.

Ваня слушал с полным вниманием. При рассказе об Ильиничне, придирки которой он на себе уже испытал и всю сущность её уразумел, у малого и усталость пропала и сон как рукой сняло. Заметив впечатление от слов, Лакоста прибавил, что Ильиничны следует ему бояться как огня и ни за что не уходить от него из передней, где он ни на минуту не

теряет Ивана из вида. Что все меры он принял, чтобы уберечь его от различных подкопов со стороны бабья царицыной половины.

Занятый своею думою о поповской Даше и понимая, что с бабьем поладить иначе, как заведя с ними дружеские связи, нельзя, Ваня горячо поблагодарил Лакосту за науку и обещание покровительства. Его к себе отношение и приязнь Ваня, забывшись, назвал родственными, и Лакоста, случайному выражению придав тот смысл, какой хотелось ему, мгновенно повеселел. Он вновь занёсся далеко от блеснувшей надежды и ещё усерднее принялся развивать на разные лады выгоды для Балакирева: соединить свою судьбу с ненаглядной Саррой — "Он-на карасса, как мать; змирьна, кхродха, россан алий; пелиссна знегге; фолесс тшерни; кхолес зладки"...

Нанизывая пышные эпитеты, Лакоста не замечал повышения своего голоса, гремевшего теперь трубою, способною разбудить мёртвых. Предмет же родительских восхвалений — девственная Сарра — лежала всего через две стенки и, несмотря на свою тридцать пятую весну, если ещё не благодаря ей, могла превзойти любопытством любую внучку праматери Евы. Понятно, что она не в состоянии была остаться на своём ложе в ту пору, когда, судя по речи родителя, произносились эпитеты её особе. Она понимала, что отец надеялся тронуть или привлечь существо, могшее подать ей, Сарре, руку, чтобы повести её к алтарю. Одна мысль о таком вожделенном событии бросала в дрожь живейшего нетерпения мечтательную, заждавшуюся невесту. И она в чём лежала, в том вскочила и направилась вдоль тёмных комнат на свет, льющийся из не совсем притворённой передней комнаты, где велась громкозвучная беседа. Пройти комнату, следующую за её спальнею, Сарре удалось бесшумно благодаря лунному свету. Вступив в комнату с двух окон, соседнюю с местом полуночной беседы, Сарра подошла к самой щели в дверях. Подле дверей сидел отец, а гость его, к которому обращалось нахваливание скромной Сарры, приходился как раз против этажерки с разными редкостями. Видно было только сукно его красного рукава и зелёный цвет епанчи, заброшенной гостем при входе на спинку высокого

кресла. Как ни напрягала Сарра глаза, но в узкие скважинки между вещами на полках этажерки ей не удавалось ничего больше рассмотреть. Неудача, однако, только развивает предприимчивость. То же было и с девственной Саррой. У неё блеснула гениальная мысль: распахнуть половинку дверей и заглянуть с другой стороны. Этажерка занимала не весь дверной проем, и если открыть другую половину двери, образуется место для наблюдений. Мгновенно последовало выполнение. Ваня сидел совсем задом к дверям, напротив овального зеркала, висевшего у самого входа с лестницы. В зеркале этом, когда он случайно бросил взгляд вверх, ему что-то показалось похожее на видение или на тень. Он заметил её ещё при движении девицы Лакосты в полутемноте, когда освещённая луною стенка то открывалась, то исчезала. В зеркале Балакирев видел постепенное приближение бледной фигуры, сверху чем-то покрытой. Сарра, боясь простуды и приготавливаясь стоять долго, чтобы все услышать, на голову накинула одеяло.

Девица Лакоста при первом взгляде и днём казалась очень тощею. Представьте же: ночной полумрак и тень отражения в зеркале, отворившуюся дверь, откуда пролилась струя затхлого, хотя и прохладного воздуха, из мрака возникающую фигуру со скелетообразными формами груди и шеи, с космами, волнующимися от движения как змеи. Можете прибавить себе при этом ещё саван-одеяло и поникшую головку существа, как бы оставившего мир... Немудрёно, что испугался Ваня: зажмурился и стал читать пришедшие на память молитвы на изгнание бесовского наваждения. Долго ли находился в этом положении слушатель Лакосты, пока била его нервная дрожь, мы не берёмся точно определить, только его призвало к жизни и бросило в жар падение мячика с этажерки, столкнутого проснувшейся чёрною кошкою... да крик хозяина на кого-то.

При звуках голоса Лакосты Ваня даже привскочил и с боязнью оглянулся на дверь, половина которой оказалась, однако, притворённою и отражалась в зеркале напротив.

Пётр Дорофеевич принялся уверять Ваню, что он задремал, но в словах

его можно было подметить смятение и недовольство чем-то.

Ваню обуяла в это мгновение зевота, и он стал просить словоохотливого хозяина проводить его до улицы, поскольку его одолевает сон, а до завтра нужно отдохнуть, подготовиться к разгону с раннего утра до ночи.

Лакоста любезно предложил ночевать у него, говоря, что он распорядился заранее и все приготовлено для ночлега гостя, но Ваня упёрся и настоял на своём. Ему ещё живо представлялась голова, чего доброго, покойницы какой-то? И страх оказаться под влиянием нечистой силы почему-то теперь сильно занял мысли молодца, совсем до сих пор не помышлявшего ни о чём подобном. Теперь уже и сам Лакоста со своим скарбом казался Ване едва ли не знахарем-нашептывателем, намеревавшимся закабалить его, простака, в плен к лукавому. О том же, что представилась ему нахваленная родителем девственница Сарра, Ваня Балакирев не поверил бы никому, даже если бы и сам Лакоста вздумал уверять его. Так много значат неожиданность и обстановка. После бесполезных уговоров лечь в его каморке, по соседству, Лакоста уступил Балакиреву. Когда он свёл его со своей лестницы, предметы уже довольно явственно обозначились в полумраке рассвета.

Бедняк Ваня между тем, дойдя до ворот дворца, не попал на двор и проспал часа два на скамейке сторожа, пока не отомкнули калитку. Тогда тихонько прошёл в свою переднюю, dokonчил короткое время ночного отдыха на полавочнике у дверей.

Это, как мы знаем, случилось на самый праздник Преображения Господня, и казус — явление тени в доме Лакосты — так запал в мысль Вани Балакирева, что он не утерпел, пересказал попу Егору свои сомнения.

— Не со всяким человеком ходи в ночь, Иван Алексеич... Тем паче с нехристью какой ни на есть... Держися в сторонке ото всех их... верь Господу Богу, лучше будет... Покамест Создатель охранил тя от навета вражия... а ино и попускает Создатель искушение... Молиться надо, да хранит Вездесущий нас на всех стремнинах жития здешнего... Не ровен час-от... А от шута тем паче оберегайся... Коли вишь сам, что у его деется,

а он те зазывал, говоришь, силком с собою идти? Умница, что не остался... Лучше у ворот будь... и дождичек пусть мочит... не велика беда... все лучше лихого человека... Может, и прелестник ещё какой... в ересь какую склонить неопытного. Давно ль ты, к примеру сказать, говел-от?

— В Великом посту, батюшка, со всем полком мы говели...

— Ну, это и слава Богу... а, чего доброго, долго бы не принимал тела и крови Христовых, враг и осетил бы бесстрашного и неосторожного...

На этом беседа перервалась, потому что молодой сынишка попов, вдруг вбежавши в комнату, сказал, что видел, как Фома Исаич шёл с каким-то солдатом к себе в дом и оченно не в себе... они...

— Вот уж и взял светлейший-от к себе!.. — ни к кому прямо не относясь, высказала матушка и вышла на крыльцо.

Её ждало полное разочарование на этот раз. Она увидела не просто выходившего из дома своего Исаича, а со связанными бечёвкою руками. Солдат полицеймейстерской канцелярии запечатывал вход в жилище Микрюкова, а запечатав, поднял и положил на плечо связанному епанчу его солдатскую да мешок с Фоминым скарбишком. Сам взял в руку конец верёвки и повёл Микрюкова к Гостиному двору, против которого в сенатском корпусе помещалась военная коллегия.

— Куда ж вас, родимый мой? — крикнула попадья удалявшемуся Микрюкову вслед. — К светлейшему уж?

— Не, родная... теперя солдатика этого самого предоставлю я перво-наперво в повытье воровских дел: вишь, бают, замыслил покрасти что у светлейшего князя... А потом как великий государь повелит: в работу... аль там на высылку куда ни на есть, как водится с солдатством... за провинность...

Сам Микрюков даже не оглянулся от стыда, не только ничего не ответил. Сердце его замирало от страха, что из-за нелепого заперательства знакомого писчика невыгодно растолкуют его поступок. Мечты о наживе, о поступлении в княжий дом погибли, если люди, схватившие его у корзинки, подтвердят обвинение. Просил уж он майора Коршунова,

чтобы свели его под вечерок на двор княжий: уговорить управляющего; да тот, ворог, на солдат гарнизонных зол: упустит ли случай привязаться, когда видел сам, как Фомушку провожали в ворота княжеские рабочие да на спрос ответили — с поличным пойман!

Выслушав эти слова, Фомушку, отпущенного княжескими людьми, арестовал сам Коршунов и, не принимая от него никаких речей, послал его на дом с солдатом своим: досмотр учинить — нет ли чего? А нет, так в повьтье воровских дел свести, несмотря на праздник, — с памятью от себя, чтобы приняли и посадили впредь до разбора дела. И в полк отписал, — как объяснил Фоме солдат, его ведший.

Попадья, слыша слова солдата, связавшего Фому, прибежала вне себя и все слышанное выбрехала сподряд, спрашивая мужа:

— Что бы это была за притча такая?

— Какая там притча, коли говоришь, приличился в татьбе? Татей вяжут, известно... Не дают по воле ходить, коли с поличным взяли. Вот те и пристроился у светлейшего! Рассчитывала ты его барыши там... Не за их ли, что больно скоро принялся, и ведут теперя в повьтье?..

Ваня поник головою. Его доброму сердцу тяжело было слышать от матушки невзгону хвастуна. Он к тому же не вдруг помирился и с мыслью, что сам случай с Микрюковым был возможен. Фома, положим, плутоват и жаден, но едва ли он стянет прямо... и у кого? У князя в дому!.. Не может быть.. "Что-нибудь, матушка, не так", — заключил он в раздумье.

А Федора Сидоровна вновь принялась пересказывать виденное собственными глазами и слышанное собственными ушами от солдата.

— На это Фома Исаич ничего не молвил поперёк, — заключила она не без злорадства. К этому чувству способны бывают обыкновенно создания таких правил и навыков, как матушка отца Егора. Он сам ничего не прибавил к прежде вырвавшимся у него словам и только качал головою, скорее одобрительно, чем отрицательно, при словах Вани.

Даша была так довольна своим положением, сидя подле Балакирева, что Фома Микрюков только скользнул, если можно выразиться, в её памяти

теперь без всякого следа. Да и откуда мог бы оказаться след на зеркале, всецело отражающем черты милого образа, нисколько не похожего на Фому. Тот и прежде служил только пугалом, не более, и помехой её благополучию. Для Даши, истосковавшейся в отсутствие Вани, никого краше его не было, да к тому же сегодня он был наряжён таким молодцом, каким она раньше и представить себе не могла. До того ли было девушке — думать о Фоме? И кто из нас способен укорить Дашу за такое состояние её души?

От картины невозмутимого благополучия поповны перенесёмся во дворец.

Задолго ещё до возвращения домой Вани Балакирева здесь уже наведывались: пришёл ли он?

Когда вошёл Ваня в переднюю, где проводил он время подле Лакосты, на рундуке с полавочником, старик казался очень не в духе и с нетерпением ходил быстро взад и вперёд, беспрестанно сплёвывая. Эта его привычка выказывала необыкновенное раздражение. На Балакирева посмотрел он, как показалось молодому человеку, злобно и презрительно и не удостоил ответом на дружеское приветствие:

— Ещё здравствуйте!

— Твой пропатаид чили тни, а трукха тшилефек финофайд...

Балакирев ничего не понимал, что происходило.

— Меня государыня лично отпустить изволила на всё время своего царского из дому отсутствия к светлейшему князю — и никто мне не указ, коли отпущен. Царское же величество изволит ещё в саду быть. Как ехал я по Неве, слышны были из сада звуки рожков.

В это время из внутреннего коридора кто-то неприметно заглянул в переднюю, и вслед за тем вошла Авдотья Ильинична, мамка царевен.

— Тебе, голубчик, Иван Алексеич, государыня приказать изволила сидеть не здесь. Тут далеко очень; несподручно нам тебя кликать, как даётся приказание... Так изволь идти к нам. Я покажу, где быть тебе, сударик.

Ваня беспрекословно последовал за Ильиничной, не взглянув на

сердитого старика, — скорее всего потому, что думал тотчас воротиться. Вышло не так.

Лакоста как будто присмирел. Усевшись против дверей в коридоре, он устремил глаза в потёмки и словно окаменел. Прошло немало времени, а он все сидел в этом положении. Лицо его только побледнело более обыкновенного и щетинистые седые усы задвигались, словно у кота, от содрогания кожи над губами.

Он, кажется, решил дождаться своего подручного, как до сих пор называли Балакирева. Но прошло больше двух часов. Совсем стемнело, а молодец не показывался.

Вот послышался чей-то шорох впотьмах. Лакоста вскочил как десятилетний мальчик, как говорится, горошком, но вслед за привскоком согнулся старец, почувствовав жестокую боль в пояснице. Мимо него прошла работница при комнатах царских детей, вдова Пелагея, и, сняв с вешалки епанчу Балакирева, унесла молча её с собою.

— Он-се сто? — не утерпев, спросил Лакоста бабу.

— Не будет, — лаконически ответила Пелагея.

Шут вскочил на ноги, выпрямился и забегал взад и вперёд, отплёвываясь с учащённою скоростью.

Ясно было, что ответ этот сильнее всего раздражил старика, и он почти себя не помнил в бешенстве.

Вспышка, однако, через несколько времени стала слабеть, и, побегав с четверть часа, старик уже из передней вышел, стукнув дверью.

Он понял, что его расчёты и планы неожиданным ударом разрушены, если не безвозвратно исчезли.

В то время, когда Лакоста, чувствуя себя дурно и проклиная мамку Ильиничну, вырвавшую Балакирева из-под его влияния, шёл домой из дворца, Ваня волею-неволею выдерживал tete-a-tete с нею и племянницею.

Когда вошёл он в детскую царевен, Авдотья Ильинична с самою утончённою вкрадчивостью высказала новое распоряжение государыни и повела его сама на антресоли. Здесь отведена была для камер-лакея

каютка с одним круглым окошком, из которого видны были две дымовые трубы на дворцовой кровле и сточная труба на углу флигеля на дворе. В каютке была кровать с пологом, два шкафа, стол, лавка и два стула у печи, подле которой была дверь в перегородке.

— Вот, батюшка, ты здесь должен расположиться, а за стенкой — мы, грешные... Ради соседственности, прощенья просим, на новоселье заздравную опорожнить, как у добрых людей ведётся. Чтобы нам, служа вместе, друг друга не выдавать и оберегать. Всяко бывает; козыряться не приходится и обегать добрых людей не довелось.

Говоря это, она взяла Балакирева за руку, двинувшись так решительно, что он машинально последовал за нею.

Переход к тому же был так недалёк, что некогда было раздумывать и останавливаться. Десять шагов вдоль световой стены и — дверь; за дверью, тоже против окна на двор, переборка деревянная, а за нею помещение Авдотьи Ильиничны.

Келья её была если не втрое, то вдвое, наверно, обширнее отведённого Ване апартамента. Мебель поставлена из царевниной детской, при замене там новой, лучшей.

Стульчики и софа были самых миниатюрных размеров, но столы и кровати обыкновенные, и обе кровати — мамки и её племянницы — одна против другой по противоположным стенам комнатки, с кисейными пологами и с подзорами из прошив довольно искусного рисунка. Эти прошивки в избытке в старину изготовлялись швеями бывшей царицыной мастерской палаты, и в запасе их имелось всегда довольно количество, так что можно было года через три заменять новыми. Из-за частых перемен и государынины слуги могли снабжать себя ими, как и прочими постельными принадлежностями, по первому требованию. Авдотья Ильинична была баба не промах и пользовалась всем, что только представлял случай приобрести даром. Этим объяснить можно обилие, если не излишество у Ильиничны всего, что отпускалось в комнаты царевен малолетних на сроки и бессрочно. Благородные металлы в изделиях и вкусное съедобное, начиная с рыб и мяса и кончая сладостями,

— все доставалось первой Ильиничне. Она буквально следовала пословицам "своя рука — владыка" и "своя рубашка — к телу ближе" и себе выделяла львиную долю, получая повеление делить или приходя к выводу, что "не спросят" того, что поступало в её ведение. Разумеется, и необходимость испытать лично доброкачественность материала, прежде чем представлять к употреблению их высочеств, играла тут не последнюю роль — в случае если бы пришлось оправдываться.

Это правило, широко применённое на практике, во всём блеске выказалось на собранном на столе в комнате почтённой мамушки, когда ввела она к себе Ваню Балакирева. Небольшой сравнительно стол в полном смысле был заставлен блюдечками, рассольниками и кунганчиками, вмещавшими лакомства всех родов и видов, которые привыкла готовить царственная Москва. Оттуда высылали к государскому двору в Петербурге целые грузы своих изысканных приготовлений гастрономов того времени не только наших, но и иностранных. Можно сказать, пустого места не было, на котором можно было бы рассмотреть сложный узор камчатной скатерти, покрывавшей стол. На нём теперь, кроме посуды, стоял только тонкодонный жирандоль с двумя свечами, разливавшими обильный свет в комнате.

— Милости просим, чем Бог послал! — вымолвила Авдотья Ильинична не без гордости, взглядом, брошенным на стол, вызывая гостя похвалить угощение. — Вот, прошу любить да жаловать мою дочушку, Дуняшку: она у меня одна... Все, что по милости Божией да государственной сколотить смогла, — все ей! Братец у меня, родной, один; его это дочушечка младшая, сиротка. Другие дочери от мачехи, а эта от любимой моей подружки, я её и присвоила себе в дочери.

Ваня робко поклонился Дуне, а она отвесила гостю поклон в пояс. При этом она подарила его таким вызывающим на сочувствие взглядом, от которого молодой человек должен был почувствовать невольное трепетание сердца. Если бы оно у Вани было свободно, трудно поручиться, чтобы он смог увернуться от расставленных ловко сетей амура; но, занятый мыслью о Даше по низложению соперника, Ваня

теперь меньше всего был способен пленяться иною красотой и замечать какие бы то ни было заманчивые взгляды. Холодность Ивана Балакирева, выдержавшего первый обстрел чарующего взгляда Дуни, очень хорошо была подмечена разом и тёткою, и племянницей. Они даже переглянулись при таком неожиданном результате, поставившем их в тупик. Краска, выступившая на лицах тётки и племянницы, вызвана была чувством негодования. Девица, метившая в невесты новому Фебу, отнесла, впрочем, невнимание юноши к её пламенному зову недостатком светского обращения. Такое представление уменьшало вину недогадливого и неумелого и представляло в будущем возможность, может быть, и быстрейшего покорения его. Тётке пришло на ум, что Лакоста успел внушить о ней невыгодное мнение, которое скорее надлежало бесследно уничтожить. Она и принялась действовать с удвоенным усердием.

— Слава Богу, батюшка, что удалось мне, грешной, втолковать кому следует, что тебя, человека молодого хотя, да такого стремого, должны держать в милостивом призрении и полном довольстве. Чтоб было из чего тебе усердствовать... Мы, говорит государыня, Балакиревым и сказать не умею, как довольны. То-то, говорю, государыня милостивая, довольны быть изволите, так надо малого наградить своею государскою милостью, чтобы он не хмурился, думая, чем не угодил. Чтобы понимал он, что служба его замечена и не пропадает, надо его от прочей челяди отделить и предпочесть. Пусть у вас на виду будет, а не со двора, в передней торчит. Там без пути иной такой посылает, который плевка не стоит человека. Здесь уж коли изволят куда послать — сами позовём и расскажем, а лишней посылки не будет. Да надо, говорю, и комнатку ему отвести: человек он, ино и отдохнуть надобность имеет, коли упарится... все как следует. Вот вверху, здесь, велела очистить комнатку... Сама я, голубчик, все тебе поставила, выбрала, прибрала и позвать тогда велела... Чтобы не с бухты-барухты человека ухватить. Теперь покорно прошу нас не чуждаться; по летам по твоим, коли б Сеня мой жив был, ангельская душенька, в твои бы годы, батюшка, почитай, приходился?!

Один вы у матушки-то, смею спросить?

— Один.

— А — то сестрицы, верно?

— Никого нет.

— Что ж, отец-от, что ль, рано скончался?

— Нет, он и теперь жив.

— И матушка здравствует ещё?

— Да как с бабушкой сюда поехали, здорова была... Я сам три года уж не видал, пишут, здорова, а как знать?

— Пишут, так чего не верить?.. А отец-от на службе государевой?

— Кажись, что так. Баили — капралом, что ль, а где — неведомо нам. Не пишет к бабушке и к матери, как уехал... Ровно отца и нету у меня... совсем.

Балакирев, проговорив эти слова, под наплывом горького сознания семейного одиночества почувствовал минутную тоскливость, отразившуюся в живых чертах его подвижного лица. Это не укрылось от внимания Ильиничны, и она разлилась новым потоком ласковых речей, в которых сказывалось как бы горячее сочувствие к бездомному сироте.

— Не вешай головы думной, молодчик хороший, я недаром нянькой служила, с детьми возилась, от их, знать, понабралась норову; как вижу чужую тоску, сама готова плакать. Поведай, голубчик, свою кручинушку... Ино можно попросить матушку: велит государь и про отца испроведать... А родимую захочешь повидать, и то можно: пустят на сколько-нибудь... заслужишь... Главное, не таись от меня, старухи, я же не ворогом хочу быть, а желала бы все угодное сделать... Кое-что во святой час да в добрый могу замолвить, времечко выбравши; и дельвали, бывало, по моему челобитью...

Ваня молчал. Он ещё памятовал наставление Лакосты, и сладкие речи Ильиничны не совсем могли усыпить его природную осторожность и рассудительность.

Рассудок подсказывал: "Берегись; все, что говорилось, очевидно, недаром. Видывал я, как Авдотья Ильинична шипела на других, да и на

меня спервоначала налегла крутенько; совсем не чета теперешнему. Подъезжает теперь, очевидно; только бы понять, с какой стати? Что ей от меня нужно?"

Мы уже выше замечали, по поводу знакомства Вани с попом Егором, что внук Демьяновны был неопытен. И теперь он не мог догадаться: что за цель у Ильиничны прибирать его к рукам. Теряясь в догадках, Ваня был смущён. Она же, с своей стороны, не спускала с него глаз и, подметив его смятение, объяснила это в свою пользу: "Ай да Дуня, значит, недаром трудилась..." — подумала она. И взглядом, устремлённым на племянницу, указала на смущение гостя, — девушкой, разумеется, и раньше замеченное. Дуня повернула голову и, поведя глазами на Балакирева, этим выразила сомнение в том, что можно вывести его теперь чем-либо из бездвижности. Новый, более упорный взгляд тётки, кинутый на племянницу, давал ей приказ не оставлять атаки; вслед за тем Ильинична молвила:

— Дуня, ты бы гостю поклонилась гостинчиком... Вишь, он ломливый: сам будто не смеет.

— Прикушайте, Иван Алексеич: вот яблочко наливное... вот вишенки из царских владимирских садов... коврижки с Вязьмы с самой... сухое варенье — нам прислали из самого из Киева.

Произнося каждый титул, Дуня поднимала со стола блюдечко и подносила гостю. Он как-то нехотя взял две вишенки и положил подле себя да одну мелкую коврижку, облитую сахаром, с померанцевого коркою.

— Ты, как я вижу, сама, девушка, не умеешь потчевать... Гостя проси, не ленись; не отнимай блюдечка, пока в почесть не изволит взять. Вот увижу я, как он будет упрячиться... приду незамедленно, только взгляну вниз...— И, встав с места, поспешно удалилась. Гость волей-неволей должен был сидеть на месте.

По уходе тётки Дуня подседа ближе к гостю и заискивающим голосом спросила его:

— Чем я, несчастная, прогневить успела тебя, Иван Алексеич? Когда бы

высказал, знала бы по крайности, чем провинилась, рази неумышленно... а то думаю-думаю, ума не приложу.

— Чем ты могла прогневить? Я вовсе не гневлив. С чего ты это взяла, голубушка?

— С того, что не изволишь глядеть на меня, бесталанную, не приветишь словом ласковым...

— Я, голубушка, не мастер речи на подбор подбирать, и в беседу вступать не приходилось ещё, потому по самому, что не для чего... Кто выйдет — скажут, что мне ехать аль идти надо, а коли позволишь утро доброе желать — с нашим великим удовольствием. А насчёт того, что неразговорчив я, то спервоначалу человек к вашим порядкам не пригляделся: как что у вас ведётся... И мы будем делать такожде...

— Мы вот с тётушкой истинно тебя как родного полюбили и так напредки будем всякую приязнь оказывать... Ты же, баишь, здесь в одиночестве... Чай, только по товарищам по полковым сегодня удосужился наведаться... как часок вышел свободный?.. — И сама устремила пытливый взор.

Сердце её сильно забилося почему-то, и вся кровь прилила к нему, наведя на лицо девушки смертельную бледность.

Мгновения показались ей веками, а Балакирев не торопился ответом. Дуня не выдержала и, вся зардевшись пламенем, повторила вопрос: — Что же, по товарищам ходить изволил сегодня до вечера?

— Нет... был у знакомого батюшки отца Егора в посадской слободе, за рекой... А своих видел одного бывшего своего дядьку Семена Агафонова...

— Что ж он, обрадовался, чай, тебе?..

— Как же. Поговорили всласть. Сказал ему, где я... и какую должность мне дали...

— А поп-то вам давнишний знакомец... из вашей стороны, что ли?..

— Нет, здесь...

— И большое семейство у попа?

— Так себе, ребятки есть подростки, есть мелюзга...— И остановился, опустив голову.

У Дуни отлегло от сердца. Ваня не думал лгать, но про Дашу с кем-

нибудь заговорить у него не хватало духу. Дуня же была вполне довольна ответами Вани и совсем повеселела. Она в эту минуту готова была обнять всякого встречного. Бросилась бы на шею к Балакиреву, если бы не удерживала девичья стыдливость. А что она чувствовала в эту минуту — трудно пересказать словами. Рукам её почему-то хотелось прыгать, бить такт; делать из пальцев козу рогатую — на маленьких ребятках... Шаловливые пальцы, прыгая, задели без спроса своей обладательницы за грушу, которая потеряла равновесие и скатилась из рассольника на блюдечко морошки, разбрызнув варенье. Несколько брызг попало на белый кружевной парадный галстук Вани, и он полез в карман за платком. Виноватая Дуня поспешила поправить сколько-нибудь свою проказу и, намочив ширинку в воде, принялась смывать морошку. Для большего удобства она взяла Балакирева за плечо одной рукой, а другой принялась тереть кружева, ещё больше смачивая их.

Пришлось в конце концов распустить узел и платок совсем снять с шеи. Дуня принялась поспешно застирывать на кружевах пятна от сиропа, когда вошла тётка и очень благоволиительно расхохоталась.

— Вот уж, батюшка Ванюшка, и прачка своя! Добрый знак... Видно, нам тебя и впрямь к своим близким... причислить?

Балакирев поклонился, и поклон этот был принят за чистую монету. Вопрос о причислении к своим молодого лакея царицы — казалось Ильиничне — развивался сам собою, чуть не по щучьему веленью. Самолюбие — великий сводитель концов в такой именно узел, который мы рассчитываем завязать всего удобнее. В мыслях выходит это неизменным и непреложным; на деле бывает иначе. Тётка и племянница обе были в этот вечер в таком настроении, которое не допускало возможности решить дело о Балакиреве не так, как им казалось. Замыванье шейного платка нужно было окончить вполне теперь же, не откладывая до утра. Утром уже лакей обязан был с раннего часа быть начеку, дожидаясь посылок. Поэтому Ваня в комнате Ильиничны дождался, пока затопили печку и виноватая Дуня, встряхивая перед огнём, высушивала кружева да руками сплюила их.

Ваня Балакирев вернулся в свою каютку уже далеко за полночь. Раздевшись, он думал заснуть, но сон не приходил на зов молодого человека. Только на заре уже задремал он и видит себя в воеводской избе в Муроме. Бабушка упрашивает непреклонного солдата, чтобы взял он назад свою явку А он хохочет:

— Ни за что! — говорит.

— Отпусти, голубчик мой! — упрашивает бабушка.

— Сказал: не будет этого — и не будет!

— Проси, Ванечка, служивого! Может, сжалится на твою юность да неумелость... пощадит.

— Пощади! — говорит Ваня за бабушкой.

— Так нет же! — закричал сердитый солдат визгливым голосом Авдотьи Ильиничны. Ваня вглядывается и видит — что не солдат, а сама Ильинична крепко схватила его за руку. Вместо же бабушки стоит Даша поповская и слёзно плачет: "Не оставляй меня, Иван Алексеич... Не переживу я твоего оставленья..."

— Не оставлю, — утвердительно говорит Ваня и чувствует, что его трясут за плечи. Сквозь сон слышит он слова:

— Ишь как заспался, провал те возьми!.. В какую вышь усудобили лентяя, а он и рад дрыхнуть до вечерен, — благо некому будить.

Очнулся Балакирев. Будит его сам Пётр Иваныч Мешков.

— Зачем я вам потребовался? — не без удивления, сев на своё ложе, спросил Ваня грозного интенданта.

— Ещё спрашиваешь, негодяй!.. Видно, нужен, коли вскарабкаться мне, старику, сюда довелось... Ты мне-то скажи, куда девал епанчу свою?.. Новая епанча, с иголки.

— Сюда, должно, занесли и повесили по приказу Авдотьи Ильиничны где-то... Я ещё недосмотрел.

— То-то, недосмотрел... не прогулял ли ты её, смотри у меня... Лакостов, проклятый, взбудоражил, вишь... Пришёл. "У нас, — говорит, — из передней епанча Балакирева унесена... не видно..." Как, думаю, так? Кто унёс, коли сам не спустил? Хоша стар человек, а коли о добре

государевом речь, поплетусь-ка, думаю, да разыщу... Свой глаз всего вернее.

— Спросите у Авдотьи Ильиничны, я сюда переведён по собственному приказанию её царского величества.

— Ладно, ладно, спрошу... Теперь ещё спят, а ты, коли разбудил я тебя, вставал бы да поискал епанчу... За тобой слуг-от нет...

И сам поплёлся из коридорчика к лестнице, оставив разбуженного Балакирева в досаде — очень понятной.

— Вот бестолочь! — плюнув со злостью, прошептал несчастный. — Хорош будет, видно, денёк, коли так начинается.

Пробовал заснуть — не удалось. Встал, делать нечего. Одедся. Слышит — заходили внизу. Сошёл. Сел в коридорчике совсем готовый. Вышел в переднюю — Лакосты нет; хотя обыкновенно и рано приходил старик. Балакирев догадался, что шут, взбудоражив интенданта, намерен сухим из воды выйти. Для того и не приходит... умышленно.

Ваня почувствовал скверное желание отомстить за неприятности, но развитию гнева помешал выход Ильиничны, сунувшей ему в руку записку, залепленную сургучом.

— Снеси к Монсову, к Вилиму Иванычу, и попроси ответ, да поскорее! А придёшь — никому, oprичь меня, ответа не отдавай... Знаешь, где найти его?

— Здесь близко, кажется?

— Не знаю, как тебе сказать. Готов ли дом, что наискосок дворца, через дорогу... А не то — и на Городской остров скатай, только скорейча же. Выходила от Самой Анисья Кирилловна и сказала, чтоб наспех ответ принести.

— Бегом слетаю... Да, кстати: куда убрали мою епанчу из передней, с гвоздя? Индентант спать мне не дал — пристал, куда я девал епанчу... "Прогулял", — говорит, — и все тут.

Ильинична спросила у посыльной своей. Епанча, конечно, оказалась прибранной, и место указано, где вешать её. Пошёл молодец и нарочно завернул в подклеть к интенданту — показаться в епанче.

— Ну, ин ладно... Ужо я напою старому черту, шуту проклятому... Нельзя не искать, коли наврал, что пропала у тебя... Ты на меня не серчай, и сам, коли в чём в ответе, искать примешься... коли говорят, утерялася. Юрок ты, сам царь говорит, ужо буду знать, что исправен... Ступай же, брат! И мне, и тебе некогда пустословить.

Вот и все оправдание за кутерьму. Пришёл к Монсу.

— Цидулу велено передать и ответ получить, — объясняет Ваня худощавому юркому молодцу, в передней палате что-то писавшему.

— Давай. Прочтём и ответим.

— Тебе не дам... Самому господину должен в руки...

— Да он спит ещё...

— Разбудите!.. Коли от государыни — встанет и примет.

— Много чести. Станет Вилим Иваныч вставать раньше времени! Отдай мне, всё равно. Встанет — предоставлю.

— Мне велено самому в руки, и никому больше.

— Ну... мне, значит, все едино...

— Ничего тут нет и похожего на дело, не только не едино. Холоп останется холопом, а барин — барин! Всяк сверчок знай свой шесток...

— Я не холоп вовсе, а секретарь... От холопа разница. Все бумаги и челобитья к Вилиму Иванычу — ко мне идут.

— Ну, пусть идут... окромя этой цидулы. Её отдам только самому.

— И мне отдашь, коли добра хочешь да толк смыслишь в делах... А не хочешь давать мне — пошёл вон!..

— Гнать ты меня не смеешь, коли, говорят, за делом послали... А тебе не отдам и заставлю идти... разбудить барина.

— Ну... это старуха надвое сказала... Хоша и вставши бы был, да не выходил из опочивальни, к нему не пойду.

— Покажи мне, где эта опочивальня... Я и без тебя дело справлю.

— Ловок ты, я вижу...

— Смекаю, что ловчей тебя... Знаю, как дело справлять, а ты не даёшь... Скажи на милость-, что ты за птица?! — начиная терять терпение и возвышая голос, говорил Ваня.

— Вот какая я птица, что не ори, а ступай вон честью, коли не даёшь цидулы!

— Я тебе говорю: не пойду, пока сам не отдам, как велено. Послан я наспех. Грубияна встретил — жалобу принесу своим чередом, а... медлить больше не могу.

Говоря эти слова, во всём, в чём был, ражий Балакирев сделал шаг от дверей в внутренние комнаты, заметив слева притворённые двери.

Писавший вскочил и заслонил собою эти двери. Ваня сдвинул его с места, повернув как перо. Но сбитый с позиции ухватился за сиящегося войти. Произошла борьба.

— Что там у вас за возня! — раздался сердитый голос из внутренних покоев.

— Меня не пускает ваш человек, Вилим Иваныч, а велели мне наспех цидулу отдать и ответ принести! — крикнул Балакирев.

Боровшийся с ним побежал, должно быть, оправдываться.

— Подожди, я позову, оденусь! — раздался через несколько мгновений голос Монса, и вслед за тем показался присмиривший секретарь. Балакирев бросил на него взгляд победителя.

— Постой же, шельма, я проучу тебя, коли поперёк пошёл! — с угрозой прошептал смирившийся. — Будешь помнить Егорку.

— Хоть Егорок сотню поставь — не испугаешь! — отозвался Балакирев на бессильную угрозу врага.

Продолжать перебранку было некогда, потому что раздались шаги и приказ:

— Войди сюда!

Балакирев отмахнул притворённую дверь и очутился перед нахмурившимся Монсом, сидевшим в креслах в шлафроке и в надетом кое-как парике.

Почтительно подойдя и вручая цидулку, Ваня повторил данный ему наказ и заявил жалобу на препятствовавшего спешной передаче.

— Все так, да ломиться в чужой дом не годится... потише можно тоже сделать.

— Я ничего другого не мог при отказе вам доложить... Никому другому, кроме собственных рук, отдавать не приказано.

Монс не возражал, уже разломив сургуч и читая. По мере чтения лицо его прояснялось, и, кончив чтение, он подарил верного переносчика взглядом благосклонности и прибавил:

— Ты прав, мой друг... Всегда так поступай... Егор! Когда он придёт — не задерживать и дурачеств не начинать впредь. Ты виноват, он — прав кругом. Нужно было действительно... Я сейчас напишу ответ. Проси, Егор, у него извинения. Помиритесь, и чтобы не было между вами тени распри! Приходить должен он часто ко мне. В первый и последний раз тебе спускаю вину... Не то смотри... За заносчивость может быть тяжела расплата.

Пока писал барин, недавний противник счёл за благо послушаться наказа высшей власти.

— Коли погрешил я от усердия, где не нужно, не гневись. Я, Егорка Столетов, за провинность готов услугой отплатить. Скажи, как звать тебя, и будь покоен: знавши, не прогневолю.

— Иван Балакирев я. Коли смирился, Бог простит. Быль молодцу не укор... Коли бы не наспех, чудак этакой, чего бы мне тебя не слушать! Да есть власть повыше нас с тобой; в силу этой власти я и настаивал... Егором, молвил, прозываешься, а по отчеству как?

— Михайлов, Столетов... А вас как чествуют по батюшке?

— Алексей Гаврилов батюшка, а моё имя Иван, я сказал.

— Из каких вы?

— Дворянин. Солдат был в Невском полку, а недели полторы — государь взял во дворец и лакеем я... у государыни.

— А я подьячий, из писчиков, секретарь Вилима Иваныча; невдомёк мне давеча, — кафтан-от твой, думал, княжеский... а там люди что собаки: завсегда огрызаются.

Вилим Иваныч позвал Балакирева и тихо сказал, подавая цидулу:

— Ильиничне одной. А я тебя помнить буду. Вижу, исправный малый. Коли что потребуется, можешь обратиться ко мне — не ошибёшься и не

напрасно просить будешь... Ты мне полюбился заправду.

Ваня кланялся, пятась задом к дверям, и, отвесив в самых дверях последний поклон, повернулся и вышел в переднюю. У дверей он по-приятельски простился с новым знакомцем Столетовым, внутренне смеясь возникшему казусу.

Войдя ещё в коридор перед комнатою младших царевен, Ваня услышал вверху у себя знакомый голос, и при звуках его сильно забило сердце молодого человека. Ноги как бы приросли к полу, а самому хотелось перелететь пространство, отделявшее от места, где слышался хорошо известный ему говор.

— Никак, бабушка здесь!

Балакирев летит и видит подлинно свою бабушку, усаженную Ильиничной в кресла и ведущую с нею беседу такую дружелюбную, как бы век жили душа в душу. Помещица, сидя задом к дверям, не вдруг увидела внука, а увидев — зашаталась и только произнесла: "Ванечка!"

Оправившись несколько, она усадила перед собою внука и смотрела на него, молча любуясь статностью юноши, которому очень шёл ливрейный кафтан придворный.

— Истинно, матушка, сокровище тебе Господь Бог дал в потешенье на старость Ивана Алексеича! — с одушевлением высказала Ильинична, вторя в том чувству бабушки, не помнившей себя от радости.

— На нашу сиротскую долю Господь дал и царю-то, государю, спознать Ванечку... позаприметил, видно, коли и к себе-то во дворец взял... Красный кафтан дал и эти, прости Господи, брыжжи непутные.

Бабушка, охорашивая внука, почему-то невзлюбила кружевных концов его шейного белого платка, с которым произошёл вечером грех.

— А матушка что? — сам осмелился спросить Ваня бабушку, замолкшую вдруг под впечатлением такой перемены в судьбе внука.

— Все здоровы. Бабка рюхинская благословение посылает. Все добрые люди, окромя твоего ворога-отца непутного... Ништо взял злодей с меня... сберегла и отстояла я, Ванечка, твой достаточек. Отец твой гриб съел, а ещё у царя суда на мать просил.

Ильинична, как ни желалось ей все разом выслушать, что говорить будет бабка с внуком, должна была удалиться с ответом, принесённым Ванею.

Часть II. МСТИТЕЛИ

Глава I. НА РАСПУТЬЕ

Авдотья Ильинична удалилась, обещаясь скоро прийти.

Счастливым Ваня, оставшись один на один с бабушкой, не замедлил посвятить её в тайну своего сердца, но бабушка слушала как-то рассеянно.

— Вот уж я отпрошусь и тебя, родная, сведу к батюшке... увидишь моё счастье...

— Какое там счастье: связаться с поповной без алтына денег, да роднища, вишь... робятищи... Не такая тебе нужна жена... А чтоб поддержка через родню её была... Чтобы по рангу твоему, из своей братьи, вокруг государыни... Чего морду воротить от Авдотьи Ильиничны?.. Случайный человек... приветливая, умная, разумная, учтивая... Поддержка прямая, крепка надёжа...

— Я и сам, даст Бог, эту надёжу в себе сыщу... службою дорогу найду к милостям, не хуже других...

— Конечно, коли сам не будешь хорош, Ванечка, никто тебя не поддержит, спору нет... Да при поддержке и твой талант да сноровистость приметят; а без замолвки доброго слова, хоть семи пядей будь — не больно-то оценят... Я человек старый... всего навидалась... могу дать тебе один добрый совет... ведь ты у меня один... Стало, то пойми, что добра желаючи, тебе говорю — не погуби себя... неразумьем!.. Благо любят тебя здесь... Авдотья Ильинична баила, что души в тебе не слышит... Смотрит как на родного уж... и должен ты, это самое, на ус намотать... Не искать по задворкам, коли счастье на завалине сидит да тебя ждёт.

— Нет, бабушка, то не счастье, что приголубить задумали, когда съесть, чего доброго, не удалось — сам зубы показал да нос наклеил бездельным помыкателям... Теперь лебезить вздумали, как в них не нуждаются. А то счастье, родная, где душа — не расчёты и сердце отозвалось сердцу...

как у нас с Дашей. Менять Дашу на приязнь Ильиничны и племянницы её — плохой расчёт, хоша бы и сердце не говорило другого... А тут не властен я забыть Дашу... Не корю Авдотьюшку — приглядная девушка, невеста хоть куда, только... не нам.

— И нам будет с руки, коли дурить перестанешь да взглянешь на дело разумно и толково: самохвальства не забираючи да своё досужество не представляючи. Ильиничну, коли теперь и впрямь благоволить к тебе стала, раздражать не рука; а ковать железо, пока горячо, — самая осторожность напредки требует. Времена переходчивы. Раз сошло ладно твоё невежество — что коня отпряг у княгини там какой-то — да, правду сказать, и самому батюшке показалось впрямь твоё дело правое... и слава Создателю!.. Только ведай, Иван, недаром пословица искон ведётся: близ царя — близ смерти! И угодить подлинно будешь стараться, да не покажется — и прогнали за посмех...

— Не та пора, бабушка! Не такие люди и порядки не те, да и сам государь невинного не обидит упрёком, не только взыскивать не станет за небывалую вину. Сам себя знаешь. К службе усердствуешь. Знаем стал повыше Ильиничны кому — так её гнева не боюсь... А буде мстить станет, по своему праву, что не сделаю, как ей хочется, — даст Бог милости, отделаемся. Только душу свою за какую ни на есть честь не продам. Сердце неволить не хочу... Даша — сказал — моя и будет моей!... А хороших, пригожих, богатых, тороватых, родовитых и сановитых Ваньке Балакиреву не надо... Без их проживём с одной Дашей.

— Не ершись так, молоденок ещё, Ванюшка! — едва сдерживая гнев, высказала Лукерья Демьяновна уже с пылающим лицом. Взорвали её последние слова Вани, что Даша будет его во что бы то ни стало. "А я-то что? а слова-то мои внуку, наказы-то, во что же он вменяет?" — представилось жёлчному самолюбию старухи, и — поставить на своём было её первое решение.

Ваня ничего не ответил, высказавшись вполне и понимая, что коса находит на камень и что бабушка на первых же порах попала в сети Ильиничны. А Лукерья Демьяновна при упорстве своём не способна была

ни к какой уступке. Вспышка бабушки Ваню сразу отрезвила и указала ему единственную тропку для удержания своего права — уклончивость. Он уже стал винить себя, что слишком прямо высказал своё неременное решение: взять Дашу. Но через минуту пришло ему на ум, что сделать иначе, как он поступил, не задумываясь, и нельзя было, сколько ни думай. Самая горячка его в настоящем деле даже была частью выгодна. Как ни была разгневана упорная старуха Балакирева, но по пылу внука поняла, что сразу с ним ничего не сделаешь, а можно провести свой план в несколько приёмов, напирая все на одно и стоя на своём. Приняв такое решение, она понизила тон и милостиво наведальась у внука, когда он будет свободен?

— Трудно сказать, бабушка... могут и теперь же куда-нибудь протурить. Действительно, в притворённую дверь кельи Ваниной тихонько постучали, вызывая его.

Он встал с места и, отворив второпях дверь широко, чуть не ударил Дуню, племянницу Авдотьи Ильиничны.

Дуня несла закуску для гостыи. К счастью её, она подошла к двери Ваниной кельи тогда уже, когда хозяин и гостыи молчали, подавленные предшествующим объяснением. Значение бабушки для внука, смущённого и робкого, Дуня поняла довольно осязательно, и надежда с её помощью устроить судьбу свою с Ваней мелькнула в мыслях девушки.

— Вас зовут, — сказала она робко предмету своей развивающейся сильно привязанности.

— Ты, бабушка, посидишь у меня ещё? — застёгивая кафтан и поправляя тупей перед зеркальцем, спросил Ваня.

— Подожду тебя... Может, как воротишься, пустят тебя меня проводить... увидишь, где остановились мы... Я ведь матку привезла сюда.

— Балакирев! — раздался снизу голос недавно ещё пожалованного в гофмейстеры гофкурьера Дмитрия Андреевича Шепелева.

Ваня поспешил сбегать по лестнице вниз.

— Зовут к государыне.

Её величество сидела в своём покоевом канифасном бостроге да в юбке

и раскидывала карты на три кучки.

Ваня стал у порога и поклонился. Анисья Кирилловна Толстая, сидя подле государыни, отдала приказание:

— Подойди поближе и не перепутай, что я тебе буду говорить: прежде съезди к княгине Настасье Петровне, наведайся о здоровье да скажи, чтобы завтра не жаловала, государыня занята будет; и послезавтра тоже нельзя будет её принять. Потом съезди к Варваре Михайловне, попроси на образец выкройку крылышек старшей княжны Марьи. А это, — подавая цидулу, сложенную уголком, сказала она вполголоса, — отвези камер-юнкеру на Городской остров и отдай в собственные руки, да ответ его привези ты же!

— Слушаю-с! — ответил Иван и, отвесив поклон государыне, смотревшей на карты, прошёл к коридору, где висел его плащ.

В плаще и шляпе прошёл Ваня через переднюю и уже взялся за дверную ручку, как Лакоста, ожидавший, должно быть, выхода его, пробормотал на ухо своим металлическим голосом:

— Ппи-ри-кись Иль-ги-нис-шни...

Крепкое пожатие руки и взгляд полного доверия были ответом со стороны Вани на бесполезное, как мы уже знаем, но доказывающее приязнь предостережение шута.

Княгиня Настасья Петровна жила попеременно то в доме у Литейного двора, то на Городском острове, в конце Большой Дворянской. Где застать её вернее каждое утро, было загадкой. Ваня решил всего удобнее ехать на рябике и сперва завернуть в Невку, к Дворянской, а буде там нет, можно было уже и к Литейному двору, недалеко отклоняясь.

Садясь в рябик, сказал Ваня, как ехать, старшему гребцу Антипу.

— Нет, государь Иван Алексеич, коли к Монцу нужно ещё, так наведемся вперёд к Литейному, а на Городской остров успеем скорее и никого не проглядим с Невы. А коли на Городской попречь, может, княгиня уедет, и мы не захватим её... Тогда — гонка тебе, потому что коли с отказом посылают, никак не желается, чтоб очи показывала... И

коли без приказы, греховным делом, по першпекту скатаем, можешь оправдание принести: к ей, мол, к первой поехали, да не застали уж.

— Ну, ладно, коли так...

Выехали на Неву и плывут серединой. Вот поравнялись с Троицкою пристанью; вот впереди магазейн, где на часах Ваню поймал царь на купанье; вот хоромы министерские и канцелярские на повороте в Невку, на Городском острове. А на Московской стороне, за Летним садом, впала в Неву Фонтанная речка; за ней дворцовый запасный дом с амбарами и погребями и новая слободка из постоянных домов до прорываемого наискось к Литейному дому канала. А за ним к ряду и полукаменные хоромцы княгини-шутихи; низ на новый манер — каменный; фундамент как следует, а деревянный верх с красными и волоковыми окошечками — к крыльцу и на реку. И драниц, видно, не хватило и у сиятельной на всю кровельку; гонтин наколотила с надворья. Крыльцо с Невы-реки, а сбоку, на двор — въезд, что в помойную яму. Обиталище сиятельной скопидомки внутри было тоже смесью новых излюбленных старинных московских порядков. Впрочем, так бывало и у всех столбовых бар петровского времени, придерживающихся старинки. Сама княгиня Настасья Петровна от привычек детства, разумеется, отстать не могла. А в числе этих разлюбезных привычек едва ли не главным было ежедневное выслушивание всевозможных басен, с утра до вечера. Княгиня босиком, в душегрее и юбке валялась на пуховике и слушала, покатываясь со смеху, складные неприличности, которые привычные повествовательницы барабанили ей усердно, с полным сознанием своей службы. Доклад о приезде царицына посланца не остановил заведённой машины сального острословия. Напротив, в присутствии молодого человека незастенчивые острословки, желая отличиться своею досужливостью, наперебой забарабанили в три голоса:

— У попа у Евтея, у великого книгочая, попадья была добренька... Проси прямо у ей смело, кому хошь отказывать она не умела. Про такое её художество да про попово убожество воевода новый Скорохват услышал и на крыльцо скорейча вышел... Тройку велел наспех запрячь... Приехал и

повёл с попадьёй речь... Ты еси жена доброзрачна и толковата... у нас всем можешь быть удоволена досыта...

Балакирев, видя, что княгиня как бы его не замечает, не долго думая, громче горластой пересказчицы, потеряв терпение, закричал:

— Государыня меня прислала твоему сиятельству, княгиня, доложить, чтобы не изволила к её величеству быть... Покуда приказ новой не сошлётся и до слуха честности вашей не доведётся...

— Ай да молодец! — крикнула княгиня, невольно увлечённая тем, что царицын приказ был произнесён так складно. — Ты, голубчик, как слышим теперь, сам краснобай не последний... не обессудь, потешь хоть единой побасеночкой!.. Смерть люблю складное слушать... Присядь-ко... присядь хотя на малость...

— Приказ передавши, ни момента не велено мотчать без дела, — отрезал Балакирев.

— Что, голубчик, за дела такие у вас? Не верю, чтобы человеку нельзя было кружечки хоша испить прохладительного... Что кушать изволишь обычно?

— Квас, а не то воду!

— А окромя что... жажда коли велика?

— Ничего.

— Медок, к примеру сказать, ну... как не пить?.. Конечно, на досуге... не правда ль, Егор Михалыч?

— Правда, ваше сиятельство: как не пить меду!.. Он ломается только... Пьёт, воистину пьёт...

Балакирев хотел было прикрикнуть на отвечающего за него так развязно, но говоривший уже стоял перед ним и жал дружески руку, спрашивая:

— Не узнал, видно?

— Столетов, кажись! — не вдруг признавший было его в пышном наряде, ответил Балакирев, недоверчиво пожимая плечами.

Действительно, не заговори Столетов — в парчовом кафтане, алонжевом высоком парике, в ботфортах и бархатном камзоле, расшитом золотом, —

ни за что не признал бы Ваня секретаря Монса, начавшего с ним знакомство чуть не дракою, а теперь обращающегося дружески.

— Знакомы, видно? — спросила княгиня Настасья Петровна.

— Ещё бы... Кто же меня не знает? — не без ухарства проговорил расфранчённый секретарь Вилима Ивановича и прибавил, благосклонно показывая на царицына посланного: — Юрок-от царицын, нашенский же.

— Э-э, любезный, так это ты-то и есть, что сыграл со мною шутку отменную... коня-то отпряг? — не без ехидства, но доброжелательно проговорила княгиня Настасья.

— Я и есть, ваше сиятельство!

— Должен же за провинность свою выпить непременно горяченького... без того не прощу... Все корить буду, пока жива.

— Как угодно милости твоей, княгиня... а я ни горяченького, ни холодненького пить не могу, потому что послан наспех к барину его милости! — указал Ваня на Столетова, покрасневшего от неудовольствия, что признали в нём слугу Монса.

— Зачем так? — вздумал было разузнать Егор Михайлович Столетов, но, вероятно, скоро спохватился, вспомнив столкновение с Балакиревым и его неспособность уступать.

Припоминание заставило не только понизить голос в конце вопроса, но и боязливо поглядеть на Ваню, в ожидании от него, чего доброго, нового комплимента, который сшиб бы напускное Егорово высокомерие. К счастью, слуга царицын промолчал и только добрым взглядом, брошенным на Столетова, постарался успокоить замеченное им смущение.

Егор был доволен и не выпущенную ещё из своих рук руку Вани пожал совершенно дружески. Он был умён и понял неловкость своего вопроса, а в словах Вани намёк: раз Балакирев послан к Монсу, то и ему следует сократить своё пребывание в доме княгини. Если Иван проговорится, что секретаря его видел у княгини Настасьи Петровны, что скажет Вилим Иванович? Неизбежный вопрос: зачем? — может быть больше чем опасен Егору; особенно теперь, когда Монсовы родные предостерегают патрона,

нашёптывают ему. Эта мысль заставила изворотливый ум Егора Столетова тотчас решиться ехать с Балакиревым самому и немедленно.

Выполняя повеление княгини, между тем уже несут к Ване вино на подносе. Балакирев не берет.

Княгиня настаивает и грозит запереть ворота — не выпустить за порог, пока не выпьет. Столетов спешит на выручку нужного ему теперь Вани.

— Княгиня, я за него ответчик. Видите, дрянь... смаку ещё в вине не знает. Ужо коли узнает — сам попросит... Я за него пью... Будь здорова, княгиня Настасья Петровна!

— Не так чувствуешь, сударик! — отозвалась одна из рассказчиц побасёнок. — Чтобы её сиятельству, богоданной нашей матушке, век веченской всласть было поесть и попить да послушать нас, недостойных, милостиво.

— То от вас, а нам пожелать того не приходится, — вывернулся Егор.

Балакирев же пробарабанил присказкою:

— Прощенья просим, княгиня, на ласке да на угощенье.

Егор, не желая отставать и в то же время стремясь напомнить о цели своего прибытия к княгине, балагуря, высказал обычную формулу подьячих милостивцам:

— Теперь станем ожидать к себе вашего посещения, чтобы про дело не было забвенья.

— Будем, будем... сами... А его все же отпустить не хочется... Ты, пожалуй, Егор Михайлыч, иди... а юрка мне оставь...

— Без него не могу, государыня! — ответил за себя и за Балакирева Столетов.

— Так оставайся и ты... покуда выпьет он.

— И ему, княгиня, медлить, сам знаю, нельзя — не удерживайте. В другой раз, коли досужно, он, ваше сиятельство, милостью твоей будет доволен.

— А все же выпить можно, — настаивала княгиня уже из приличия. В душе она довольна была умеренностью Балакирева, хотя в первую минуту ей было блеснула мысль напоить малого, чтобы подвести его в

отместку за шутку с нею.

Вмешательство Столетова сослужило службу и Ване, и княгине, предоставляя почётный выход из возникших затруднений.

Княгиня, делать нечего, произнесла, как бы уступая необходимости:

— Ну, ин быть по-вашему. Только ты, юрок, напредки не отказывайся... Я считать за тобой буду сегодняшнюю чару.

— Прощенья просим, княгиня! — поспешил ответить, делая налево кругом, бравый Ваня, за которым последовал и фронт в парчовом кафтане.

Когда они вышли из ворот, Столетов схватил за руку Ваню и торопливо проговорил:

— Стой и слушай! Никому не пикни, что ты видел меня у княгини Настасьи Петровны... коли хочешь быть мне другом! И я, в свою очередь, тебе готов вспомогать во всём, что потребуется... Идёт — так давай руку!

Опуская свою руку в широкую ладонь Столетова, Балакирев, в свою очередь, сказал:

— Готов, но... и ты исполни все, коли я буду иметь в тебе нужду.

— Готов также... в чём нужда, говори прямо Егорке: так и так... Что могу — тотчас же сделаю...

— И теперь могу просить?

— Проси.

— Да видишь ли... может, и так пройдёт, повременить могу... а в случае крайности — тогда просить стану... Видишь... коли бы Вилим Иваныч, как обещал, взаправду бы протекцию оказал мне... супротив врагов.

— Почему не так... Говори, кто у тебя враги, — я его как следует настрою... Все сделает, что желаешь.

— Давай-то Бог... Я, видишь, девушку одну полюбил... Она — меня тоже. Хотел жениться... Да боюсь, чтобы пакостей каких не наделала Ильинична... Приехала бабушка ко мне. Ильиничне и попадись прежде меня... А та её и настроила, чтобы меня женить на Дуньке, на племяннице её, Ильиничниной... А я, кроме Даши, не хочу ни на ком жениться. А бабушка грозит. Попервоначально вздумал... Вот бы Вилим Иваныч помог

своей милостью: оборониться от Ильиничны?

— Это, братец мой, плёвое дело. Нет ли чего побольше?.. И то сделать можем... А насчёт Ильиничны не беспокойся... Женись на ком желаешь, воли с тебя никто не снимет.

— А бабушка... коли что...

— И бабушке молчать велят... не соваться не в своё дело!

— Да, так нужно бы... чтобы бабушку не прогневить... Крепко люблю я её... Помню её милости к себе и к матери... Ни за что бы не послушался ни в чём, да Даша-то моя, такая душа, коли бы знал... Не полюбил бы — совсем другое бы было. А коли так случилось, жизнь без Даши — не в жизнь. И навяжись на горе, на беду мою, Дуня с Ильиничной... Дуню ни в чём похаять не могу, да не нужна она мне — понимаешь!.. Не выбирать мне невесты...

— Коли уж выбрал, вестимо... А я так, братец, другого складу... Мне девки все хороши, смазливы да здоровы бы были... К одной я не привязываюсь... ни к чему нашему брату покуда с бабой со своей вожжаться... Мне моя воля дорога: гуляю где и как хочу... А гульнуть не прочь при подачке крупненькой... И без подачек мерзцов всяких аль мерзавиц, вроде хошь княгини Настасьи, опять скажу тебе, справлять нашему брату дела да челобитьицы — не рука. Они — пусто им будь — каждая себе норовит ведь!.. Так что я за дурак буду, коли не сорву на свой пай? Дают, всенепременно дают же везде, где кому надобность в деле довелась... на том свет стоит. Живи же — пока живётся! Иное дело — не знаешь, как и что с тобой может быть? Так пока заискивают — и бери, знай... спуску нечего давать. Ведь не дали бы, коли бы нужды не имели!.. Не будут иметь в тебе нужды — и не посмотрят, не только чтобы давать...

— А что ж тебе за подмогу мне потребуется? — брякнул прямо Ваня откровенному новому другу.

— С тебя — ничего... Так готов всякую подмогу оказать.. в своё время пригодишься и мне должен сделать, что попрошу...

— С нашим великим и превеликим удовольствием.

— Так чего же больше. И я готов на все для тебя! Ты нашенский. А свой своему поневоле друг.

— Как же вашенский, коли я послан к твоему Вилиму Иванычу теперя во второй раз всего?

— Да это-то и есть нашенский... Коли от царицы посылают... Потому я своему могу шепнуть и насчёт твоего прошенья об уме Ильиничны... Коли бы у царя в токарной ты что просил сработать себе на пользу, сказал бы прямо: не могу! Там денщики не наши. Приступить к ним даже не с чего. Один Васька Пospelов ещё туда и сюда. А насчёт Ваньки Орлова, аль Алёшки Татищева, аль там Сашки Румянцева — что теперя с царевичева привоза в гору лезет... и думать не стоит. Стервецы, собаки! Себе одним норовят, а делиться, чтобы все шито да крыто было, не умеют ещё, невежи. Зато попадись который ни есть, и — выведут его, друга сердечного... Вот Алексей Васильич — иная статья. Секретарь у царя, как я, к примеру сказать, у Монса. Я к нему что к себе иду... Так, мол, и так, нужно. Он и сделает все без слова. Он из нашенских совсем. Был из подьячих взят и доступен как есть ко всякому. А с нашим братом нече ему и зубы точить: насквозь видим друг друга. Прямо ему и говоришь: взял я столько-то; тебе даю столько-то! Вот у нас как, начистоту!.. Ничего друг от друга не скрываем... И идёт круговая: друг друга обороняешь, для себя. Поживи с нами — увидишь, что все легко поворотить как желается. Из наших и у князя светлейшего есть делец, Алёша Волков. И к нему идём прямо. А он князю прямо же. Из сенатских Июда Сибилев есть, секретарь; да Анисим Яковлич Щукин — люди как есть хорошие. Так-то мы общими силами и ворочаем! Живу я, к примеру сказать, у Монса в секретарях с поездки в европейские штаты, а всю канитель понял спервоначалу же. Уж и теперя сам Вилимушка прямо говорит: так и так. Столько-то даёт, за то-то можно ли взяться? Рассчитаешь, сколько придёт на братию в разделе, и решишь, можно ли. Вот как у нас!..

От этих разоблачений холодом повеяло на Ваню. Компания, в помощи которой он теперя нуждался, внушала ему неприятные чувства, но,

подавив их, Балакирев сделал невольный поворот и двинулся от угла дома княгини к лодке.

— Куда же ты? — спросил поражённый Столетов, не ожидавший внезапного манёвра.

— А к Вилиму-то Иванычу цидула... С тобой день-деньской простоишь этак, за рассказами, — нашёлся Ваня, на душе которого ещё не улеглось неприятное ощущение: страх не страх, а что-то ещё мучительнее и томительнее — бесприютность при сознании собственного бессилия. Боль в сердце и боязнь утраты любимого предмета навсегда и бесповоротно красноречивее, однако, заговорили против неуместной разборчивости средств в эту минуту. А без этого хотелось ногам Вани убежать от бесцеремонного Егора. Он открыл такую перспективу перед глазами честного Балакирева, что тот хватался за голову, пощупывая виски и уши — на месте ли они? Ясно: если такого разбора была заступа, к которой рассчитывал прибегнуть несчастный друг Даши, то и он сам, цепляясь для неё за поддержку мошенников, шёл в ряды их своею доброю волею? Как ни пересиливал себя умный, не по летам сдержанный Ваня, а на лице его выражалось если не отчаяние, то грусть безысходная.

Столетов, шагая сзади Балакирева, до спуска в рябик не видел лицо своего нового друга-протезе, а увидев, не мог удержаться от вопроса:

— то с тобою?

— Ничего, — чуть слышно, пересиливая невольное отвращение, ответил несчастный Ваня.

— Не робей... Нечего так падать духом... — вздумал утешать его Столетов. Занятый, впрочем, своими расчётами и планами, ветреный секретарь Монса, никогда не задававший себе вопроса, дурно или хорошо им совершённое, а только — выгодно или нет? — никак не мог бы понять подлинных чувств Вани. Тяжёлую грусть нового друга он на первых порах объяснял проще и доступнее, по своему разумению: "Верно, малый что ни на есть набедокурил сдуру да боится, чтобы шашни не открылись... вот и упал духом. Видно, Дуня — Ильиничнина роденька-то

— пригрозила жаловаться, что поиграл он с ней неладно... спервоначалу... не спросивши, хочет ли... А насчёт поповны — парень-от ухарь — должно быть, художество настряпал... Да с двоими разом как концы свести и не знает теперь... Вот и приуныл, как разделка близка. Наш, конечно, может рот зажать — хоша бы и не за девок вышло... А малого попугать не мешает маленько. Дай-ко попытать поглубже боязнь-то его..."

И, опустив руку за борт рябика и плещась водою, заговорил Егор, внимательно вглядываясь в лицо Вани и стараясь усмотреть в нём перемену по мере хитрого, как он думал, вопроса.

— Так что же Ильинична — царице сегодня хотела жалобу принести, что ль, на тебя, что племянницу испортил? — надумал он задать первый занозистый вопрос.

— Чего ей жаловаться... Жаловаться ни теперь, ни после, я думаю, не станет она — предлог нужно подыскать для жалобы, — а настроить бабушку рази жаловаться на моё неповиновье?. Да и это далека песня... Мы не скоро дойдём до разлада с бабушкой...— бормотал Ваня не то про себя, не то отвечая Егору, совсем сбитому с толку этими словами.

— Так поп, что ль, нажимает... хочет конец положить твоему вожжанью с дочкой, а тебе не хочется так скоро бросить её? — сказал он, пробуя с другой стороны.

Ваня на этот нелепый вопрос даже не ответил, презрительно отвернувшись в сторону.

Но для Егора этот поворот получил совсем другой смысл, и он в душе поздравил себя с быстрою разгадкой причины горя Балакирева. Довольство собою у Столетова, порочного, но в душе не злого человека, быстро заменилось желанием утешить бедняка, как он думал, убитого горем от страха неминуемой кары.

— Не вешай, одначе, головы! Наш все для тебя сделает, только прямо говори... И торговаться ему с тобою не след, коли... посылает тебя Сама к нему, из рук в руки передавать... Уж коли на меня из-за тебя напустился в первый же раз, значит — ты ему нужен. А нужным людям Вилимка не

дурак, чтобы отказывать в первой просьбе... Сам знаешь, какую пакость можешь учинить, — и Столетов захихикал, многозначительно крякнув. Ни кряхтения этого, ни смысла последних слов Ваня между тем не понимал ещё. Поэтому посмотрел он на Столетова так наивно-глупо, что тот сразу смекнул, что Балакирев слышит это, никак, в первый раз.

Однако царицын камер-лакей ни словом, ни знаком не проявил никакого любопытства и желания узнать больше или получить разъяснение непонятому. Столетов приготовился с охотой удовлетворить то и другое, но напрасно посматривал на Ваню, выжидая от него вопроса. Ему сделалось теперь неловко от принуждённого, как ему показалось, молчания Балакирева, и, судя о других по себе, он забрал себе мгновенно в голову, что молчание царицына лакея ни более ни менее как предательство. От одной мысли об этом страшно стало Егору. А страх ещё более усилился, когда он заглянул в глаза Вани и прочёл в них теперь суровость, если не жестокость.

Тяжёлое предчувствие беды и бессильное отчаяние овладели полностью душою Вани: он знал своеобычный характер бабушки и неохоту её отменять раз принятое решение и боялся, что Ильинична сумела внушить ей свои планы накрепко. Мрачный, рассеянный взгляд Вани поймал Столетов и так невыгодно для себя истолковал. Этот взгляд заставил, впрочем, трепещущего Егора попробовать умиловить сладкими обещаниями мнимого предателя:

— Может, ты и не так расслышал мои слова, — начал он, подобострастно глядя на Балакирева и искоса на гребцов, — оттого тебе и не показалось это самое... А ты волком-то не гляди, а рассуди впрямь, что я тебе всякого благополучия желаю и готов за тебя истинно на все идти... а насчёт лиха какого ни на есть ты не сумлевайся... и в помышлении у меня не было... Я...

— Слов не нахожу, Егор Михайлович, тебя возблагодарить за приязнь, — ответил Ваня, тронутый и начинающий снова надеяться, что обстоятельства поправятся благодаря влиянию нового друга. — Я твой услужник по гроб... неизменный. Меня коли поддержишь теперь... Я всюду

за тобой: куда ты, туда и я... не раздумывая.

У Егора отлегло от сердца, и он с жаром ударил ещё раз по протянутой в знак дружбы Ваниной руке.

— От тебя, Иван Алексеич, впредь таиться Егорка не в жисть ни станет... вся душа нараспашку... Ты — такожде...— И горячо чмокнул в губы повеселевшего на минуту Балакирева.

Это скрепление дружбы последовало на самой шири Невы, разлившейся на ту пору от недавних дождей. С моря веяло отрадною свежестью. Светлые облачка быстро бежали по небу, открывая лёгкую лазурь. На крепостных часах куранты проиграли десять часов. Оба берега Невки, в которую от дружного взмаха четырех весел стремительно влетел рябик, представляли оживлённую картину труда. Народ рабочий копошился справа на Выборгской, на лесных пристанях и в караване барок, стоявших поодаль. Справа же шла спешная стройка домов в береговой слободке. Из-за береговых строений в прорезе переулка показались и две белые трубы дома камергера Монса.

— Ты, Ваня, меня попречь спусти... И иди не следом за мной. А к примеру сказать, минуты через полторы, чтобы я мог переодеться к твоему приходу. — Говоря это, Столетов вынул английские часы из кармана парчового камзола. Часы эти, когда Столетов поворачивал их, тяжело опуская на ладонь, рисуясь и играя цепью, обратили на себя жадное внимание гребцов на рябике и не произвели никакого впечатления на Балакирева. Он совершенно машинально спросил нового друга:

— Так ты ещё переодеваться будешь... Да рази ты живёшь... не у Вилима Иваныча?

— То-то и есть, что нет... Тут же, близко, да в своём дому. Войдём ко мне... Я одним моментом кафтан, камзол да исподни переменю... Понимаешь, инаково нельзя.

— Почему не понять?.. Понимаю; да только скорее ты.

— Да ведь сам ещё не вставал... не бойся... не опоздаешь... И помедлить гораздо можешь... и то ничего.

— Ой ли! Так и до Посадской дойти успею, может?

— И то ладно... А там кто у тебя?

— Кое-кто есть, — ответил Ваня, не успев или не сумев скрыть невольного вздоха.

Повеселевшему Столетову этот вздох Вани прояснил многое.

— Эге! — думал теперь секретарь Монса, — да Балакирев, видно, по девчурке вздыхает... А я было, осел, подумал, что парень мироед и шельмец какой... А он?! Значит, в ем мне клад даётся! Смышлён крепко, а облыжности нече бояться, — во все пустим его... Пусть на свой пай зашибает... нам ещё безопаснее. Нужно у Монса настоять, чтобы в нашеньские его. А там все пойдёт по маслу парень — просто золото.

Слова эти, думая вслух, произносил Столетов у себя, живо переодеваясь в обычный свой кафтан и глядя в оконце вдоль улицы, вслед уходившему Ване. Он между тем, поравнявшись с поповским домом, был встречен радостною Дашею, как будто нарочно поджидавшею милого друга в огороде.

— Я на минутку забежал... К Монсу иду... с цидулою.

— Не пуцу! — шутливо схватя его за плечо, промолвил, подкравшись, поп Егор.

— Нельзя долго-то.. Наспех послан... Вы все... здоровы?

— Ночевали здорово, тебя проводивши. А ты, батюшка, как?

— Я-то? Здоров.. Бабушка приехала...— и сам немного замялся.

— Где же она остановилась?.. Ты к нам бы её...

— Коли бы пошла, с моим великим удовольствием... Попрежь познакомиться нужно только... Она маленько своеобразлива, — невольно высказался Ваня. И у него на душе опять стало невесело.

— Что ж, что своеобразлива! — отозвалась попадья, снова теперь уже заискивающая в Ване после микрюковского афронта.

— Известно, человек пожилой надо угождать... Да ты, батюшка Ванюшка, только приведи знай.. А уж моё дело бабушке всякое почтение будет оказать... Останется довольна. Не каки мы такие завалящие, не станет брезговать... А почтение старому человеку первое дело...

Ваня вздохнул. Он понимал теперь невозможность согласить то почтение, которого хотелось бабушке, с стремлениями его чувства, сулившего счастье. Оно теперь представлялось ему осязательно, покуда горячая рука Даши лежала в его руке. Зная характер Лукерьи Демьяновны, Ваня не верил, что это счастье устроится с благословения бабушки и может сделаться для неё желанным. На беду ведь подсунулась ей на первом шагу эта ненавистная Ильинична. Поставила вверх дном самые задушевные стремления и Вани, и свои, и тех добрых существ, которые верили, что могут понравиться помещице. Веры в это у Вани не было, и мечтания, которыми думал утешать он себя, не слагались во что-нибудь, похожее на общий мир и счастье. Поддержка влиятельного Монса, к которому теперь шёл Ваня, после откровений Столетова теперь претила честному Балакиреву. Брататься с грабителем, каким показался Егор Балакиреву, по необходимости или даже оставаться с ним в дружбе и единении он признавал себя неспособным. Но крайняя нужда в его поддержке, впрочем, заставляла искать его временного содействия и помощи. А там — что Бог даст! — вылилось окончательное решение в мыслях Вани, когда, простясь с попом Егором и всеми его домашними, он торопливо подбежал к крылечку обители дарителя милостей.

На этот раз посланного царицы уже ожидали. Босоногий калмычонок, не дожидаясь стука в кольцо, отворил дверь в переднюю и снял епанчу с Балакирева... А Столетов, завидя его, сам ушёл докладывать, не спрашивая, и, выйдя через мгновение, молча указал ему путь к Вилиму Ивановичу в спальню. В неё входили из гостиной с двумя окнами, от которой роскошью уборов она не отличалась. Можно даже сказать, что опочивальня генерал-адъютанта и камер-юнкера больше походила на будуар модной красавицы западной Европы, чем на каютку холостого военного русской службы. Вилим Иванович Монс в спальне своей не только спал, но и занимался, проводя большую часть времени. Оттого и обстановка спального чертога была роскошная, изысканная и заключала в себе все, что нежило и утешало владельца дома. Он в спальне своей окружён был изображениями особ, оказывавших ему благосклонность.

Тут в разных (по форме и размеру) рамках развешаны были шесть портретиков красавиц, между которыми на самом почётном месте, под зеркалом в серебряной раме, писанный масляными красками кистью Ганнауэра лик царицы Екатерины Алексеевны. Персона её грозного супруга помещалась в гостиной тоже под зеркалом. Так обыкновенно тогда по московскому обычаю помещали ценные картины. Отважный камер-юнкер в недосягаемом для посторонних спальном чертоге своём поместил и свой миниатюрный портрет в соседстве с изображением государыни (даже между ею и зеркалом). Балакирев, пройдя в спальню и случайно бросив взгляд на стену, противоположную полугу кровати, мгновенно подметил это, несмотря на то что портрет красавца камер-юнкера был задёрнут серенькою кисейкой.

А Вилим Иванович был в полном смысле красавец: с чертами женственными, необыкновенно приятными да с цветом лица и губ самым живым и здоровым. Яркое лицо в рамке чёрных природных кудрей при огненном взгляде глаз и очаровательной улыбке даже самого бесстрастного созерцателя заставляло невольно сознаться, что редко приходится встречать такую картину. Прибавьте приятный, гармоничный голос, несколько картавивший, но так, что это не портило общего впечатления, высокий рост, статность, маленькую аристократическую руку, под пару которой не найти было у мужчины в целой России, — и вы поймёте, как современницы должны были приходить в восторг от страстного взгляда Монса! Он же, вполне осознавая своё физическое совершенство, хотя и был весьма влюбчив, но надолго не привязывался ни к какой юбке. При встрече с отставной своей фавориткой он прикидывался ещё сохраняющим к ней чувство, ловко обманывая доверчивость страсти ссылкой на недосуга, мешавшие свиданию... Так что врагов между особами прекрасного пола у Монса не было. С каждой новой любовницей он увеличивал штат вздыхательниц, никогда за удовольствие ничем не жертвуя, а скорее приобретая даже благосклонность.

Монсу было всего тридцать лет, но он казался годами пятью моложе. В

эти годы, в полном смысле цветущие, не требуется, разумеется, особых забот о поддержании физических прелестей, тем более у человека отнюдь не истощённого и — к чести красавца нужно прибавить — не любившего никаких излишеств. Но весь почти стол в спальне камер-юнкера уставлен был флаконами да склянницами, наполненными всякими средствами, недёшево стоившими и придуманными угодливым Западом для возвышения или поддержания природных прелестей. Одних инструментов для приведения в благообразный вид ногтей лежало больше дюжины в двух раскрытых готовальнях. Красок и помад было тут двадцать две склянки причудливых изящных форм, в виде голов разных народов, от китайца до негра. Огромное количество других туалетных принадлежностей расставлено было рядами на бархатном вишнёвом покрове стола. На нём оставалось места у стенки не шире полуаршина для письменных принадлежностей и немецкого молитвенника малинового бархата с золотыми застёжками. На стене же кроме портретов и зеркал развешаны были арапники, уздечки, ошейники собачьи и два горские аркана. Тогда как под пологом кровати и по сторонам его, на стене, противоположной столу, красовалось дорогое оружие с золотыми и серебряными насечками.

По этому убранству внутреннего кабинета-спальни можно было безошибочно заключить, мы полагаем, что обладатель этой обстановки был одновременно любителем женщин, собак, лошадей и, может быть, даже охоты. Но последнее было скорее данью моде и приличию, чтобы, посещая знакомых любителей подвигов в отъезжем поле, не отстать от них при случае. Душевно же предан был Вилим Иванович, если можно так выразиться, одним только удовольствиям — при участии прекрасного пола. Но и этот нежный пункт в его хозяйственных расчётах не влёк за собою, как сказано, издержек, а, напротив, вознаграждался подарками и денежными приношениями. Последние он предпочитал всему и наводил на них всеми путями заискивающих его расположения. По мере же приобретения значения при дворе лиц, ищущих его помощи, стало немало. Особенно когда Вилим, истинный представитель своей родни,

для приобретения взяток стал пускаться в ходатайство по любому делу, не спрашивая: трудно ли его оборотить таким образом, как желалось искателю его поддержки? В душе он был не злой человек, но благодаря всосанной с детства привычке принимать подачки и даже вымогать их все его хорошие качества проявлялись в неизменной зависимости от количества приноса. Приобретение за оказанную поддержку, замолвленное слово и тому подобное вошло у Вилима Ивановича в обиход и побуждало его к деятельности. Так что если бы ему сказали: ты должен даром сделать то или это — он улыбнулся бы только, ничего не ответив. Иное, разумеется, было дело, когда он, имея сам нужду, хотел привлечь кого-либо к себе. При таких случаях он рассыпался в обещаниях и готов был даже поступиться чем-нибудь; разумеется, в крайнем случае. К числу таких лиц Видимом Ивановичем после первой же посылки причислен был Ваня Балакирев.

Когда вошёл он в спальню Монса, камер-юнкер занят был чтением очень длинной записки на орленых листах, сшитых тетрадкою. Должно быть, приготовился он к скуке этого чтения со стоицизмом, заслуживавшим лучшего применения, и сидел в спокойной позе на постели в длинном красном халате, подбитом заячьим мехом, без прорезов с боков, но с карманами. Ворот этого халата застегнут был золотым аграфом с аквамаринном недурной воды.

При входе посланного царицы Вилим Иванович наградил его милостивым взглядом и принял цидулу с лёгким поклоном головы. Заметим, что этого не делал он и с особами рангом повыше его самого.

По мере чтения лицо камер-юнкера делалось мрачнее и серьёзнее, и, дочитав послание, Монс устремил на лакея государыни взгляд, вызывающий на откровенность больше, чем когда-либо. И сам начал:

— Чего ты хочешь от меня? Я постараюсь тебе быть полезным... Но с условием — чтобы ты так же мне хорошо служил, как начал... Я должен... опасаться враждебности многих... завистников. Потому я нуждаюсь в человеке, на которого бы мог рассчитывать вполне. Чтобы все, что тебе поручается, умирало... как бы ничего ты не знал... не видал... не слышал...

На всякий вопрос: "Что несёшь?" — отвечал бы: "Ничего!.." Слышь?!

Иван, озадаченный этой подготовкою, молчал.

— Отвечай же: да или нет? — возвысив голос, добивался юнкер.

— Слышу...

— И что же?

— Буду поступать как сказано, — ответил с трепетом Балакирев.

— В таком случае... все, что тебе желается, не оставлено будет без внимания... Ты будешь отличен больше всех... будешь всем доволен... И если теперь чего хочешь, говори.

— Я бы попросил вас, Вилим Иванович, принять меня под ваше покровительство... — робко высказал Ваня.

— Это само собою... Я...

— Меня заедает Ильинична... Хочет принудить жениться на племяннице, а я...

— Не хочешь?.. Почему же? Партия выгодная... при свойстве будешь ещё лучше выполнять мои дела...

— Я люблю поповскую дочь... другую и жён...

— Ну, это другое дело... Только... взяться надо за это... умеючи... Ильинична нужный человек и...

— Если вы не защитите... я перепрошусь у государя... к его величеству...

— Ну... это совсем напрасно... Я, во всяком случае, не допущу... чтобы... Я скажу Ильиничне... чтобы оставила тебя в покое... Но за это помни... требую... молчания... отрицанья... полного... "Нет... не знаю..."

Балакирев кивнул головою с уверенностью.

— Я клятв не требую... Они... слова... прикрывающие другие намерения.

— И камер-юнкер при этом даже улыбнулся, но как-то неловко. Очевидно, он припомнил теперь своё собственное употребление клятв.

— Так вот, — сказал он важно, — я напишу ответ на цидулу, тобою принесённую... Ты его... отдашь самой государыне в руки... не Ильиничне... И чтобы никто не знал...

Последние три слова произнёс Монс шёпотом.

Написать ответ ему нужно было несколько мгновений; залепить воском

— одно.

Передавая цидулу, Монс взглядом показал, что её следует опустить в карман камзола, и ласковым взглядом простился с посланным.

В передней был один Столетов. Он, казалось, ожидал выхода друга с большим нетерпением.

Заклучив Ваню в прощальные объятия, Егор на ухо ему сказал:

— Дай цидулу прочесть!

Балакирев отрицательно качнул головой.

Столетов погрозил кулаком. Ваня улыбнулся и, надевая епанчу, расширил обе руки так, как бы охватил кого, и, подняв, выбросил.

Угрожающий взгляд Егора был ответом на эту мимику; но он не устрасил и без того смятенного Балакирева. У него с чего-то защемило сердце, а в голове был словно дурман; и в глазах зелено, и — звон в ушах. Ваня невольно схватился за сердце, заколотившееся так, словно готово было выскочить.

Глава II. ТРОПА ОКОЛЬНАЯ — ЛОЖЬ НЕВОЛЬНАЯ

Ваня по дороге от батьки думал после Монса пуститься отыскивать бабушку, но теперь он забыл всё, что хотел, и, выйдя из дома камер-юнкера, направился переулком на Невку. Подойдя к своему рябику и садясь в него машинально, он услышал предостережение Михайлы, одного из гребцов:

— Что тебе попритчилось, Иван Алексеич? Глянь-ко — и шляпочка задом наперёд.

Балакирев поправил шляпу, ничего не ответив.

На душе его было мрачно; сердце ныло, как бывает у людей, не потерявших совесть и понимающих, что переступают грань, за которою нарушится душевный мир. Он ещё ничего не сделал, но готовность на все вызывала у него внутреннюю борьбу с собою.

Ничего почти не видя под наплывом тяжёлой думы, Ваня почувствовал толчок и, невольно встрепенувшись, огляделся вокруг. Толчок получился от наскока рябика на ял, в котором перевозили чей-то гроб, никем не

сопровожаемый, к месту последней оседлости и покоя. Перевозчик, должно быть, ворон считал; настолько же внимательно относились к своему делу и гребцы придворного рябика.

Толчок и вид гроба вызвали нервный трепет в захваченном врасплох Ване, и без того расстроенном.

Назвав присмиривших гребцов ротозеями, Балакирев опустил голову на руки и погрузился в такое состояние, которое трудно считать сном и ещё труднее — бдением. Это такое состояние, при котором, глядя раскрытыми глазами, человек видит недоступное для него в другое время.

Они проезжали мимо Троицкой пристани, и Ваня видел теперь на ней, будто бы толпа народа кишит вокруг высокого эшафота, на котором стоял кто-то знакомый ему. Но кто это стоял — как ни напрягал память свою Балакирев — ничего не выжал из неё и обратился за помощью к гребцам.

— Кто там такой, высоко-то над толпою? — спросил он гробовым голосом.

— Где? — оборотившись в указанном направлении, спросил Андрей — гребец, особенно стремый и одарённый превосходным зрением.

— Да над пристанью, у моста-то в крепость... где подмости...

— Никакой толпы, ни подмостей нет, да и на площади ни души! — отвечал тот с уверенностью. Взглянув на Ваню, чтобы начать с ним дальнейшие разъяснения, Андрей осёкся, словно окаченный холодной водою. На лице Балакирева была смертная бледность, и хотя глаза его были открыты, но, судя по ослабленному дыханию, он спал, лихорадочно вздрагивая, как в припадке.

— Что с Иваном-от Алексеичем деется, глянь-кось, Митюха?... Не в себе он, кажись.

— Смалчивай... Нам-от что?.. Может, с непривычки забрало его... Ведь княгиня Настасья Петровна неволит сквернеющим винищем... И меня ономясь угостить вздумал ихний кучер Кузьма... Один стаканчик пропустил я да к вечеру думал — шалею... Вот те Бог — правда.

Андрей качнул головой в знак недоверия, но не возразил, увидя, что Балакирев приходит в себя.

Оправившись кое-как, но всё же с болезненной бледностью на лице, Ваня вышел из рябика перед дворцом и поворотил на двор, думая пройти ближе с канала сквозь ворота у царской конторки.

Поравнявшись с крыльцом, с которого сходил государь, чтобы садиться на свою верейку, Ваня на этот раз почти столкнулся с его величеством. Государь словно вылетел из мгновенно распахнувшейся двери. Отскочив в сторону, Ваня сорвал с головы шляпу и стал как вкопанный.

— Зачем здесь проходишь?.. Запрещено было.

— Не слышал я запрету, ваше величество, и невольно проступился, по неведению.

— Я не взыскиваю теперь, но вперёд знай... Откуда несёт?

— Прямо с Городского острова приехал на рябике.

— Гм! К кому там-то понадобилось?

— Камер-юнкеру передавал...— И замялся.

— Что передавал?

— Приказание...— пересилив себя, нашёлся Балакирев.

— Какое приказание?

— Чтобы был скорее: послать... государыня хочет, велено сказать, — молвил ловчак, глядя в пол и боясь взглянуть в глаза прозорливому монарху, и в то же время вспомнив строгий наказ нового покровителя и чувствуя всю гадость принуждённой лжи.

— Гм! — соображая или припоминая что, буркнул Пётр I и взял за руку дрожавшего слугу.

— Взглянь мне в глаза!.. С чего ты дрожишь? На тебе лица нет!..

— Пр-ро-студился... должно, ве-лик-кий г-го-ссу-даррь!...— с трудом произнёс сквозь дрожь лакей, упорно и тупо глядя в глаза недоверчивому повелителю.

Пётр этим упорным взглядом дрожавшего слуги был успокоен, и подозрение вылетело из головы его так же мгновенно, как родилось, заменившись участием к страждущему.

— Покажись Арескину... Скажи — я прислал, и обстоятельно перескажи ему, что чувствуешь... А там... я скажу, чтобы тебя не так гоняли... Силы у

человека не воловьи.

— Всего бы лучше, ваше величество, коли бы милость была, взял бы меня, государь, к себе в конторку... как изволил мне, неключимому, пообещать, — брякнул Ваня и зарделся румянцем, дохнув полною грудью. — Я бы, великий государь, зная волю вашу, и мыслью бы не погрешил. Думал бы только, как точнее выполнить поведённое... Совесть моя открыта была бы и на душе светло, — заговорил он от души с отвагою отчаяния.

Пётр был тронут и милостиво обнадёжил:

— Знаю, что обещал... И хотел, да помнишь сам — жена упросила. Сам чувствую, что с бабьем такому молодцу прямому... тяжело ладить... да потерпи... Ещё раз поговорю с женой... Ты мне взаправду по душе... Будь покоен.

Балакирев поник головой, и у него прошибло слезы от сознания своей вины. Он хотел тут же сознаться во лжи своей, но государь, сам расстроенный, махнул рукой и быстро зашагал к рябику, не оглядываясь на плачущего. Что могло быть, если бы он ещё простоял и выслушал Ваню одно мгновение?

Взмах весел привёл в себя Ваню, и он не без ужаса огляделся. Никого вокруг не было. Он провёл по глазам рукавом и, подавив в себе чувство, готовое прорваться и — как знать? — сколько бед наделать, направился через двор к царицыну крылечку.

В самых дверях из коридора схватил Ваню Лакоста и силою, которую трудно допустить в старике, прижал к стене. Здесь он на ухо ему скороговоркою пробормотал:

— Ведшерем, у м-ма-н-ня сшиф-фод-дни!

— Нельзя никаким образом, — наотрез сказал Ваня, — отлучаться, как стемнеет, строго мне заказано...

— Нню! Тдакх — ездду-са!.. — протянул с отчаянием Лакоста, ожидая ответа и все ещё держа за руку молодого человека.

— Здесь... вечером... Изволь, Пётр Дорофеич, — приду.

И взгляд, полный благодарности, с горячим пожатием руки, был

наградой Ване за его обещание.

Пройдя через переднюю, Ваня встречен был Ильиничной, тоже не без волнения ожидавшей вестника. Встреча с царём была не одною даже Ильиничной наблюдаема со страхом и трепетом.

— Ну, что?

— Ничего... Я государыню должен видеть... Самое.

— И мне можешь передать.

— Не велено... Не смею.

— Ну, вот ещё... давай!

— Не дам, сказал... коли царю не отдал, тебе — подавно!

И так поглядел, что Ильинична ушла, поняв, как бесполезны тут её возражения. Выбежав затем из внутренних комнат, она взяла за руку Балакирева и поволокла за собою, как будто он упирался. Войдя в апартамент её величества, Ваня вполголоса высказал данный ему наказ, и когда по знаку государыни Ильинична скрылась за дверьми, вынул и передал в собственные руки цидулу камер-юнкера.

— О чём тебя спрашивал его величество? — последовал вопрос государыни.

— "Куда посылали тебя?" Я ответил: "На Городской остров". — "К кому?" — спросил государь. "К камер-юнкеру", — я сказал. "С чем?" — "С приказанием..." — "С каким?" — "Чтобы явился ко двору теперь", — ответил я, не смея нарушить запрета насчёт цидулы.

Румянец вспыхнул и мгновенно слетел с лица Екатерины Алексеевны.

— Ты хороший слуга! — милостиво молвила она. — Я твою услугу попомню... Слышала я, — присовокупила государыня, — что имеешь ты намерение племянницу Авдотьи Ильиничны взять... Мы на это соизволяем.

— Я не просил такой милости, ваше величество! — отважно возразил Балакирев. — Я люблю другую девушку...

— Как хочешь... С тебя воли не снимаю... А Ильиничнина племянница, казалось мне, наша же девушка... хорошая, исправная...

— Ваше величество, я её милость не корю... но в сердце своём не

властен уже раньше был, чем милость государя в слуги ваши меня назначила.

— Если так... с Богом... Я буду матерью посажёной...

— Ваше величество! — бросился на колени Ваня перед государыней, поразив неожиданностью милостивую царицу. — Если уж таковы щедроты твои... не отринь моления последнего раба: повели бабушке моей, чтобы не неволила меня жениться на племяннице Ильиничниной Авдотье, а позволила бы... мне выбор... мой...— и язык его путался, а он весь дрожал в сильнейшем нервном припадке.

— Успокойся, мой друг... Я всё сделаю... все... охотно...

Ваня, схватив себя за сердце и поднявшись с колен, шатаясь, как человек, вылежавший несколько недель в постели, вышел в переднюю и сел на лавку, откинувшись назад в полном бессилии. В таком положении отдыхал он не менее получаса, и во всё время Лакоста стоял перед ним, не смея оставить его одного. Он теперь сторожил Ваню как добычу, готовую ускользнуть у него из-под рук, несмотря на все предосторожности.

На счастье, проходил подлекарь мимо, и его подозвал Лакоста, шепнул на ухо:

— Ба-лк-хирь-ев бо-ллэнь зкассши, зтоп каспатин Арескин, присшоль басмадриль...

Арескин оказался лёгким на помине и сам, проходя да видя лакея в лихорадочном припадке, прописал успокоительное. Послал в аптеку и при себе велел принять, уложив больного на диван.

В это время явился Монс. Осведомившись обо всём от самого ослабевшего Вани, он пошёл доложить государыне. Там он узнал самую суть и понял, что причиною нервного припадка было не что иное, как страх, развившийся вследствие обстоятельств, сопровождавших встречу Балакирева с царём. В душе камер-юнкер остался вполне доволен верностью лакея и под впечатлением его подвига вполголоса наговорил её величеству столько хорошего о нём, что Екатерина Алексеевна сама захотела осведомиться: кто такая бабушка Балакирева и почему он так

боится её? Теперь положением больного заинтересовалась вся женская половина двора.

Ильинична, позванная для опроса, ещё не зная, что Балакирев уж объяснился с царицей об устройстве своей судьбы, отозвалась о Ваниной бабушке самым лестным образом.

— И знаешь ты, Ильинична, где остановилась она?

— Знаю, государыня: в Большой Посадской, во дворе купчины Ивана Протопопова... Как не знать.

— Так вечером, как больному полегче будет, съезди за бабушкой сама и привези её... Только не напугай смотри...

— Помилуйте, ваше величество... к чему пугать? Да смею спросить: не лучше ли отложить призыв старушки и представление к вам, государыня, до утра примерно?... Авось Ивану Алексеевичу и полегчает тогда...

— Я хотела, чтобы бабушка была при нём... Может, он при ней скорее успокоится.

— И наши, государыня, с племянницею уходы, я полагаю, достаточны будут. Да и молодец не так занемощенствовал, чтобы надежды мало было на то, что скоро пройдёт. Он успокоится... так и легче будет.

— Арескин боится — горячка бы не была!

— Тогда и отдать бабушке, а куда...

— Да ты съезди, не ленись, коли знаешь.

— Вечером изволите приказывать... а куда не совсем досужно... Государыни царевны по ненастной поре у себя в покое занимаются.

— Ну, вечером... Только непременно... и привезти бабушку.

Ильиничне возражать было нечего.

Лакоста сказал Арескину, что он сам будет давать лекарство Балакиреву, и врач донёс о таком участии шута государыне, не только позволившей, но заявившей шуту полную признательность.

Ильинична в свою очередь поторопилась заявить, что лежать, хотя и легко недомогающему, Балакиреву лучше всего в его же собственной каютке. Там он может и снять с себя лишнюю обузу!..

Это вполне одобрил присланный было Арескиным подлекарь и по совету

Ильиничны проводил Ваню наверх.

Лекарство, конечно, оказало какое-то действие, но больше лекарства помогло, пожалуй, рассеяние страха насчёт царских подозрений.

Государь, по возвращении из кунсткамеры, пообедав и отдохнув, потребовал к себе Арескина и спросил у него сам:

— Был у тебя лакей Балакирев?

— Меня призывали к нему, лежавшему на софе в государыниной передней... в сильнейшем припадке лихорадки. Я дал успокоительное, но надеюсь, что его молодость не потребует затем особенного лечения. Если лихорадочный припадок — не признак, покуда ещё не существующей, но возможной... горячки. Если не она, то завтра он будет совершенно здоров.

Слова эти успокоили Петра, и ненормальность поведения лакея при внезапной встрече на крыльце царь теперь прямо объяснил недомоганием его, а ничем другим. Впрочем, по привычке своей лично до всего доходить царь не преминул зайти и сам посмотреть Балакирева.

Он в это время полулежал, полусидел, совсем одетый, подле постели, опустив голову в глубоком раздумье.

— Здравствуй, Иван! Ты, слышал я, расхвораться было задумал?.. Нехорошо совсем такому молодцу хохлиться... Глянь-ко как следует, молодцом! — и, смеясь, сам державною рукою своей приподнял опущенную голову Вани.

Искра весёлости зажглась у разбитного малого, и он, по-солдатски отдав честь, гаркнул: "Рад стараться!"

— Это так, хорошо. Люблю! — и поцеловал в голову, тут же обнадёжив: — К жене пойду и ещё раз скажу, что... хочу взять тебя.

Слова эти совсем оживили Ваню. Он проводил государя по лестнице и у самого низа встретил служителя, нёсшего свечу к нему.

Взяв у него свечу, Ваня осветил путь его величеству по тёмному коридорчику в апартамент государыни и вдруг почувствовал лёгкий удар по плечу.

— Затшем зкадил внис? — раздались слова Лакосты. — Ти тдеперь мой

пленник... Здубай верх.

И потащил его в его каморку.

Там они сели, и повеселевший Балакирев услышал, что Ильинична уехала за его бабушкой, а он, Лакоста, воспользовался этим удалением врага, чтобы поговорить с Балакиревым.

— Ти шеныдзя кочишь? — задал шут Ване вопрос, устремив на него испытующий взгляд.

— Так что же?

— Каросшь... Полжи ниджево...

— Женюсь, — отвечал Ваня.

— На кхом? — с особенною интонацией в голосе спросил шут и тотчас же встал и, осторожно дойдя до дверей, заглянул на лесенку вниз. Его чуткое ухо где-то прослышало шорох.

Ничего не найдя, шут сел на прежнее место и повторил свой вопрос.

— Есть на примете девушка одна...— нехотя ответил Балакирев. Лакоста вздохнул и голосом, полным искреннего сочувствия, начал длинную рацею о неискренности Вани.

Тот и не думал перерывать разглагольствования Лакосты, а сидя с закрытыми глазами, читал про себя молитву на отогнание беса, живо представив себе ночную сцену в его доме и наказ попа Егора.

Долго говорил шут, но, по молчанию Балакирева догадавшись о безучастности его к своим внушениям, переменял тактику и стал напевать о кознях Ильиничны и о том, что близость к ней, породненье с нею может привести его, Балакирева, к немилости у царя.

— Пбо-до-му, — сгоряча брякнул шут, — сшто Илиниджна з Монсо и зестра ево затки биерут зо всех, па-до-му, сшто этдо вори... мозшенники.

В это время шорох, сильнее раздавшийся в тишине кельи Вани, заставил привскакнуть шута с лавки и приложить себе палец к губам. Погодя немного, он встал и прошёлся по комнате, заглянул в дверь и затем немножко притворил её. Он, впрочем, никого не подстерёг и на этот раз.

Садясь на место, старый шут обнял Балакирева, прикрыв его плащом своим, и голосом, способным тронуть самого бесчувственного, с

особенною торжественностью произнёс:

— Скажи-ша имня тдвоя невеста?

— Её зовут Дашей... Она поповская дочь...

Падение тяжёлого тела при этих словах перервало речь Вани, вскочившего вместе с Лакостой. Оба они отворили дверь и за нею нашли без чувств, совсем холодную, Дуню Ильиничнину. Несчастливая подслушивала.

Ваня с Лакостой понесли бесчувственную Дуню в комнату её тётки. Вдруг Ильинична в бешенстве вбежала к себе и со злостью, захватывавшей у неё дух, с каким-то змеиным шипеньем произнесла:

— Вон отсюда!.. Коли мы не годны для такой персоны.

Оказалось, что Ильинична, отнюдь не приготовленная к настоящему обороту дела, едва возвратилась из своей поездки к Балакиревой, как была позвана прямо к государыне.

Старухи Балакиревой она не застала дома, а от попадьи, с ней приехавшей, одно могла узнать, что помещица пустилась искать какого-то Ивана Андреевича. Да вдобавок ещё получила она неожиданную неприятность.

Позванная к государыне Ильинична услышала следующее решение её величества, кем внушённое — дознаться мамка и потом не могла.

— Балакиреву Ивану я нашла сама невесту, Ильинична... Племянницу твою я пристрою, будь покойна, не хуже... но за Балакирева выдавать её не след. Потерпи немного, и ты сама увидишь, что все к лучшему... Его величество никак не хочет, чтобы Балакирев между моими женщинами нашёл себе пару... Только с этим условием оставляет он у меня покуда этого расторопного малого... Государь также строго наказал: за пустяками Балакирева не рассылать. Я распорядилась, чтобы впредь он призывался сюда... ко мне... Если захочу я его посылать, сама пошлю и самой же мне он ответ будет давать... Ты ни во что до него касающееся не мешайся... Да чтобы я не слыхала и никаких ни пересудов, ни наговоров насчёт его...

Можно представить, что чувствовала Ильинична, слыша такое решение! Однако она ещё совладала с собою и, поклонившись в пояс её

величеству, сказала почти спокойно:

— Без воли вашей, государыня, я бы за Ивана и не подумала ладить свою Дуняшку... А коли сами изволите ей обещать женишка напередки, нам ещё лучше всего... И я, и племянница только и можем дышать одною вашей милостью... Истинно, клеветать на меня всякий готов... Одна заступа, матушка моя, ты, богоданная повелительница...

Грохнулась в ноги и поцеловала ручку её величества. При целовании руки прошибли слезы у бедной, притесняемой будто бы, Ильиничны. Понятно, слезы эти произвели полный эффект.

Глава III. В ВОДОВОРОТЕ

Судьба Вани теперь должна была бы получить, по-видимому, естественное развитие, но душе его пришлось ещё вынести неожиданные бури.

Уж и то было недурно, что не успела увидеть Ильинична бабушку в этот вечер. Мысль лично познакомиться с отцом Егором была решительным шагом в пользу Ваниных интересов.

Нечего говорить, что мысль эта Лукерье Демьяновне подсказана была её спутницею попадьёй, тоже в своём роде не последней дипломаткой.

Мы уже знаем из предшествующего, что Анфиса Герасимовна была испытанным другом Балакирихи. И если, обдумав все крепко, приходила она к какому-то решению, то умела и помещицу повернуть к нему да так, что та, думая, будто ей самой пришло это в голову, на самом деле только выполняла подсказанное попадьёй.

Сама жена священника, Анфиса Герасимовна очень высоко ставила священный чин и с той минуты, как услышала от Лукерьи Демьяновны, что Ваня хочет жениться на поповне, нашла, что разумнее и богоугоднее этого соединения и быть не может. А что бабушке внушила мамка — благо малый не того хочет — нечего и ждать от подобной затейки проку.

При объяснении с внуком, когда он рассказал ей прямо и решительно о выборе своего сердца, Демьяновна ещё удерживалась от гнева, но, придя к себе, помещица разразилась громом упрёков внуку и угрозами не

позволить ему жениться на поповне.

Анфиса Герасимовна слушала все внимательно, глядя по обычаю своему в глаза Балакирихе и ожидая конца пыла. Как у всех самолюбивых людей, первый пыл должен был пройти скорее, если не встретит возражений, а затем, если осторожно подойти, да умело взяться, легче, чем когда-либо, можно поворотить дело наоборот.

Анфиса была права, дождавшись даже скорее, чем можно было думать, наступления своей очереди говорить. Мало того, ей сделано было даже предложение высказаться.

— Ну, мать моя, а как ты думаешь? — спросила Лукерья Демьяновна свою внимательную слушательницу, кончив свою отповедь и переводя дух с видом явного утомления.

— Господь Бог, знать, ещё на нас, грешных, не вконец прогневался, коли отроку, можно сказать, Ивану-то Алексеичу на сердце положил слово истинное: не зариться на чужи достатки... а все упование возложить на Создателя, не боясь страха и угроз человеческих...

— Все так, может... да на себя мальчику на одного... надеяться... не ладно... И два раза сойдёт, да третий — не вывезет... Тогда что?

— То же, что и при надежде на человеческую помощь... На словах, пока нужды нет, — все старатели... А как нужда грянет — никого нет... Опять один, как перст... Знай на Бога уповай: коли не разучился, на человеков надеясь...

— Ах, какая ты, Анфиса Герасимовна, смешная!.. Ну кто может без надежды на Бога жить? Да на Бога надейся, а сам не плошай — говорится в пословице. О сплошанье-то собственном и речь моя... А как же Ванечки несплошанье, коли он говорит, что без Ильиничниной поддержки обойдётся, сам собой?.. И не в его высоту, да нужных людей не обегали... тем паче коли сами ещё люди эти готовы все для него сделать...

— Да не сама ли, мать моя, высказала ты, что Иван-от Алексеич тебе молвил: теперь эта самая Ильинична залезает, а попрежь съесть хотела... Это ли приязнь?.. На такую ли стену надёжа?

— Говорил-то он говорил, не спорю... Да опять как же тут думать нужно:

может, и лишнее сказано? Может, показалось спервоначалу; может...— и замолчала, не зная, какой ещё довод привести; у неё, очевидно, не клеилась защита Ильиничны. Да и слова её, которыми она пыталась подтвердить своё поспешное решение, расходились уже с её мыслями.

— То-то и есть, сударыня, Лукерья Демьяновна, — начала торжественно попадья, подобравшая, при очевидной несостоятельности доводов помещицы, такие со своей стороны доказательства, которыми думала она разбить в прах предрассудок Балакирихи. Возвышенный тон и слово "сударыня", бывало, Анфиса Герасимовна употребляла всегда в решительную минуту разгрома противников. — То-то и есть, сударыня, матушка... Бог-от младенцев умудряет, а мудрых и разумных оставляет заблуждаться в их мечтаниях... суетных... Иван-от Алексеич, может, на Создателя одного надежду возложил по всему тому, что с ним сделалось: царь узнал его неведомо как; никто не ходатайствовал — сам государь оказался за сироту ходатаем. Потом за провинность аль за ошибку, вместо наказания — царь к себе его взял... без чужих ходатайств же... Вздумали теперешние залезатели в дружбу прижать молодого человека; сам же притесняемый, своим умом да находчивостью, не жалуясь ни на кого, от всяких дрызг освободился и в царе заступника нашёл... Кто же это все творит, как не Бог?.. Люди хотели зла, да не смогли... Чего же ждать добра ему от них? Чего же трусить их, коли целой головой перерос притеснителей? Уж коли ищут присвоить ныне, значит, сами его боятся; а не ему приходится их бояться? А что молодой человек полюбил дочь иерейску, то ему не в порок... а в честь... Перст Божий виден... Спасал он её — царь помог, и спасатель государю с того знаем стал. Значит, со спасенья и все добро повалило... Не обегать такой семьи, а крепко держаться нужно... благословенье Божье на сём иерее, видно. У кого ни спроси — все говорят, что лучше этого батюшки отца Егора и не знают по всему городу... Как знать? Не ради ли праведника и на твоего внука счастье сыплется... и впредь, коли в родне будет, — ещё больше. Вспомни, читывал нам с тобой мой покойный житие Филарета милостивого.

— Ну... поехала теперь! — перервала речь Балакириха. — Уж коли завела матушка, и конца, полагаю, не будет притчам... насчёт поповства... Так тебе приходской поп алтыны собирает, а в Филареты милосливые и угодил...— И сама замолчала, раздумывая. Так всегда бывало с умной помещицей, когда сказанное уже возымело сильное действие и одно упрямство заставляло не согласиться на словах.

Попадья замолчала, зная нрав Лукерьи Демьяновны и её неизменный — за этим молчанием — призыв продолжать.

И теперь действительно это же случилось.

Молчание, водворившееся за порывом со стороны Демьяновны, было нарушено возгласом:

— Никак, мать моя, ты уж надулась!.. Ничего не скажи тебе... Какая ты, Анфиса Герасимовна, ндравная!.. Уж и молчишь, и сопишь... Я, мать моя, зачала с тобой беседу по душе, не с тем, чтобы обижаться мне аль тебе... Не сегодня сошлись, слава те, Господи... Тридцать лет душа в душу живём... Какой же тут совет да любовь между нами будет, коли ты говорила и вдруг ни с того ни с сего перервала...

— Да ведь ты же, Лукерья Демьяновна, запретила?

— С чего ты выдумала это?.. С больной головы сворачивать на здоровую!.. Я жду речи, а не в молчанку хочу играть.

— Да коли не любя речь — лучше молчать...— понимая свой перевес над сдающеюся помещицей, упиралась умная попадья.

— Да говори же, говори... Я не все слышала, — пристала, уже рассмеявшись, Лукерья Демьяновна.

— Да что говорить? — как бы в нерешимости начала сама с собой Анфиса Герасимовна. — Мой бы склад — самой убедиться: что за поп Егор... да что у него за семья?.. Да и какова дочка?.. Иван Алексеич хотел вести, так куда тебе: не смей и молвить про это самое!..

— Ну, уж и врешь... И полусловом поперечки не сделала.

— А здесь-от не ты ли, никак, целый час пеняла: как осмелился внук предлагать тебе к попу идти?

— Здесь, у себя, я вольна вслух думать. Мало ль чего... И так посудить

можно, и инаково... тем лучше, чем больше сторон, с которых к делу подходишь...

— А коли обсуждать со всех сторон, то прийти и самой своим глазом увидеть — первое дело... Тем паче коли слышала мамкины рассказы и показались они тебе ценнее чистого золота...

— И мамкины речи слушала... и к попу идти не прочь... Почему не идти... Только... к чему ждать мне Ванечки?.. И сама пойду... Врасплох застаю — лучше рассмотрю.

— Лучшее дело! — подтвердила Анфиса Герасимовна, просиявшая вполне от сознания, что успела, как ей хотелось, поправить дело.

Не теряя дорогих мгновений, победительница повела речь и дальше, даже без той осторожности, с какой вела разговор прежде.

— А Иван-от Алексеич коли бы с тобой был, ты бы усмотрела и то, как он к поповне расположен... сильно аль нет? — попробовала попадья почву и с этой стороны, углаживая дорогу к водворению мира между бабкой и внуком.

— Не надо мне в том и убеждаться... Молоденек ещё — на своём ставить, — припомнила гневная бабушка своё неуходившееся неудовольствие за резкую поперечку Вани.

— Я ведь, мать моя, с Ванькой не так скоро покончу... для его же пользы... Он не невежничай... Заладил одно: "Моя будет... сам собой дойду.." Да Бог с тобой, доходи — да учтиво попроси позволенья... Я ль внуку враг?.. Чего только не делала для него: три года у кесаря судилась — с сыном с родным... У его, непутного, отобрала... И все для кого же, как не для Ваньки?.. А он так-то? Так стой же, сударик... Поучись терпенью да вежливости!.. Знай, с кем обращаешься. Вот и видеть покуда не хочу.. И знать не желаю его.

— Ну, полно, Лукерья Демьяновна... За что, подумай сама, в гору тебе лезть? На ком взыскивать? На молодости... да в ту пору, как душа болит. И диви бы внук некошный какой, а то молодец, истинно — Божье благословенье за сиротское терпенье... Сама говоришь, лыко всякое в строку не ставит, а тут распыхалась... на правду... только зачем эта, вишь,

правда, да подана с пыла, без умасливанья!..

— Хотя бы и так, Анфиса Герасимовна. Лукерья твоя стара стала, а умела и хотела, что знала, вести как желалось ей... А теперь разжаловать вздумали в мочалку поганую... кто бы подумал — внук родной!.. Мальчик, у которого молоко материно на губах не обсохло!.. Нет, стой, светик!.. Шутишь!.. Не на ту попал...

— Шутишь-то ты, матушка... Взводишь на малого обвиненье в непочтении, когда он, голубчик, и в мыслях этого не имел...

— Какая ты всезнайка, подумаешь... разумница! Я с внуком считалась, она здесь сидела, а защищает его невежество как правого... словно у его на уме была.

— По твоим же словам... не по его... Ты и не замечаешь, что твой пересказ в разладе идёт с твоим теперешним обвинением внука... Он тебе только открылся, а не невежничал.

— А как это понять: "Моя будет Даша и моя"?

— Что ж такое?

— Что ж такое... а как есть кто-нибудь, кому, кажется, лучше иную парочку прибрать... повальяжней, может...

— Потому-то и высказал внук пыл свой, что ему другие парочки не подходят... сердце сделало выбор...

— Сердце! Ишь ты, пусто тебе будь... защитница!.. Сердце!.. А малому бы рано сердцу-то этому и волю давать... Вот что я тебе скажу...

— Лукерья Демьяновна! Не против ли себя ты говоришь, свет мой?.. Как Гаврило-то Никитич нашёлся, поглядела ты на запреты бабушки, Анисьи Мироновны?

— Что ж такое?.. ну... не поглядела... Да это к чему ты?

— Анисья Мироновна тоже вынянчила тебя, холила, лелеяла; да коли приглянулся тебе покойничек Гаврило Никитич, ты сказала ей: "Бабинька... всего, чего хошь, прощай... а в выборе моем я одна властна..."

— Так ведь я вдова уж была, после первого-то мужа... Понимала свет и людей.

— А Иван-от Алексеич ещё больше понимает, видно, коли с врагами справился да царю знаем стал.

Лукерья Демьяновна была поражена силою собственного примера. Она замолчала и погрузилась в глубокое раздумье.

Анфиса Герасимовна теперь заговорила с большею уверенностью, давая советы в форме чуть не начальнического предложения подчинённому, которому остаётся лишь повиноваться.

— Твоё дело, матушка Лукерья Демьяновна, взвешивая по своей душе, поминая свою молодость, детищу не перечить, коли впрямь девушка стоит... А стоит ли — можно разузнать без чужого посредства, без окольных внушений да нашептов... А гнева внуку безвинному не оказывать... Попомнить надо, что он на чужой стороне один как перст... Недруги окружают, а не друзья. Горе да невзгоды, положим, в молодости легче сносятся, да коли на такой службе хлопотливой поставлен молодой человек... сам себе дорогу проложил... завидуют уже многие — своим-то не удручать его следует, а ободрять ласкою да бережью...

— Бережи хочет, береги бабушкино спокойство.

— Он и бережёт.

— Непокорством, да своеобычностью, да презорством?.. Сам-ста себе господин!

— Опять, говорить будем, не так ты глянула на доброе самое расположение внука.

— Хотела и хочу я ему больше всех добра.

— Да только чтобы всё было по-твоему?.. А не разбираешь, что добро твоё ему может и в зло обратиться...

— Как бы это так? Я умом-разумом не раскину уже...

— А так вот... Божья воля ведёт в иерейскую семью, а твоя воля — с мамкой в родню. А мамка — невесть какой человек... Из дерьма вылезла да в знать лезет... как все выскочки, не разбирают пути... Только бы выше лезть.

— Ей нече лезть... Чай, в мамки-то не простые забираются, а все боярыни, я полагаю.

— Да эта-то мамка из боярынь — с родни разве пастухам да свиньям, как говорила опомнясь хозяйка наша... Про неё она как тебе порасскажет, так, может, и плюнуть не захочешь, голубушка, на эту тварь... Племянница-то, вишь, родилась, как батяка пастухом был сельским в вотчинах царевны Натальи Алексеевны... А бабу взяли, Дуньку эту самую, в чёрную работу... И попала она к теперешней царице, покуда и не думала та сама подниматься высоко... А там... потянулась и чернорабочая бабёнка ввысь... Кума приходится нашей хозяйшке, а теперя и на глаза не принимает... гордянка такая, что страх!

Лукерья Демьяновна слушала с видимым неудовольствием или, лучше сказать, с тем тяжёлым чувством, когда мы внутренне обвиняем себя в промахе, но прямо признаться в этом не хотим и готовы, пожалуй, сочинить тысячу разных причин, чтобы доказать своё.

Помещица, словом, присмирела совсем и отдала приказ — подавать обед.

— Поедим... отдохнём... и я к попу пойду...

Сама хозяйка накрыла и стала подавать все любимые кушанья Лукерьи Демьяновны, кушавшей с полным удовольствием.

— Это ты, видно, постаралась надоумить, что я люблю? — ласково спросила она попадьё свою.

— Да и я это люблю... И сказала: сделай нам, Ирина Кузьминична, кишочек... да гуська начини капусткой... да блинный пирожок смастери... да калью с грибами...

— Уважила, мой свет... Истинно... Спасибо, хозяйшка... Стряпунья ты как есть.

— Помилуйте, Лукерья Демьяновна, да вы только прикажите!.. В былые годы, как кумушка моя меньше зазнавалась, я и про самое Анисью Кирилловну кашку ладила с печеночкой... И сама матушка Катерина Алексеевна не брезговала... кушать изволила, да приказывала не одиново приносить... И уточкой раз царю-государю с хренком поклонилась да с лимонцем. Вот мы каковы, вам скажу...

— А ты, Ирина Кузьминична, боярыне-то порасскажи, какова твоя

кумушка-то оказалась, — молвила попадья.

— Много, государыня моя, про все художества этой самой змеёвки Дуньки вашей рассказывать... Эту стерву не месяц, не год, почитай, спервоначалу и кормила я, бесталанная... Да раз государыня, мой принос принявши милостиво, хотела за него благостынькой своей государской найтить, так сама слышала, как отговаривать, ворог, стала: "Ей, — говорит, — и то дорого, ваше величество, что как есть бабу простую жаловать изволите — ручку давать целовать..." Это она какой идол!.. Платок персидский государыня с ней послала мне — зажилила и тот... Говорит, что запомятовала: никак, ей дано... А Лискина, девушка есть, чухонка, рыжая такая, рябоватая из себя, — та божилась, что мне послан платок... И её укоряла... Да что возьмёшь с бесстыжей?.. Стоит, бельмы вылупивши; молчит... И хоть бы ты что!.. А ноне и совсем заказала к ей ходить нам... Недосуг — первое дело; с боярынями, вишь, ноне вожжается... Да и жадность одолела... А спроси у меня, в чём застала её спервоначалу-то? Годков десять-двенадцать, скажу тебе, не утаю, одно платьишко было да шубёнка нагольная от холода...

Помещица была очень недовольна разоблачениями хозяйки и, не спрашивая ни о чём, из-за стола, помолившись, отправилась прямо на постель.

Уже отзвонили к вечерням, как поднялась с ложа своего упокоения Лукерья Демьяновна. Спала она, впрочем, немного, а все думала и раздумывала. Высокомерие и гневливость как рукой сняло. Их заменила разумная сосредоточенность.

Анфиса Герасимовна заметила это, как только помещица открыла глаза, а сама прикинулась спящею. Лукерья Демьяновна, не будя её, принялась проворно одеваться. Вздела сарафан штофный, цвета дубового листа; жёлтую душегрейку с бахромой; повойник новый, шитый по карте золотом по зелёному бархату; черевики, жемчугом низанные. Фатой прикрыла седые волосы. Вынула парчовую епанчу и ширинку, шитую золотом, с кружевами — в руки. В уши вдела серьги с яхонтами... ну, совсем хоть царю представляться, вышла из каморки своей — к немалому

удивленью хозяина и хозяйки. Эти добрые люди только руками развели.

Только притворила за собою дверь Балакириха, как порхнула попадья к хозяйке.

— Видали нашу чудодейку?

— Как же... Ещё бы!.. Куда это собралась такой павой?

— К попу, должно быть, к отцу Егору... врасплох нагрянет; думает — лучше высмотрит самую что ни есть подноготную... Вишь, внук-от — дай Бог ему, голубчику, и впредь во всём успевать — бабушке начистоту отказал взять мамкину племянницу... "По душе, — говорит, — мне прилась дочь у Егора у попа — Даша".

— То-то, никак, вашинский в солдатах ещё как был, к попу к посадскому захаживал... А это вот для чего? Ишь ты ухарь какой!.. Молодчина!.. Поповская Дарья Егоровна добрый, можно сказать, человек... Душа ангельская... вся в отца... Матка Федора Сидоровна со всячинкой; ради мзды готова и совестью покривить; а батька да дочка — ни в жисть... Экова батьку, я те, голубушка, поведаю, на всём Городском острову не слыхано... Первое дело хмелем николи не зашибается... Дело своё справляет... Ко всем ходит одинаково, не спрашивает, богач али нищий зовёт... Дадут что — ладно, а сам не спросит... не токмя за похороны аль за крестины и — за венчанье; одни венечны и куничны деньги, известно, внеси за память, а ему, попу, — за труд, что изволишь пожаловать, всем доволен... Не гораздо прежде у его хватало, а теперя, как спознал народ его добродетель, всяк к ему прёт, без отказа... И лучше теперя ему стало не в пример. Уж жалобились архимандриту троицкие батьки, да ничего не взяли. Спросили отца Егора: как ты так? "Да я, — говорит, — не знаю, чьего прихода: моего аль не моего, потому что троицкие отцы и в мои дворы захаживали, и память была чтобы по дворам не делить этой стороны, на Городском острову. Вот вам противень памяти, мне присланной... Я по ей и поступаю. С благодатью они ходят, а в требах я никому не отказываю, кто позовёт... Да и как я, ваше высокопреподобие, откажуся по священству, коли приходят ко мне и зовут? Человек при смерти, а у соборного чередного толкнулися — дома не улучили". Строг и

взыскателен был архимандрит, а рассудил, что Егор ладно делает, и пообещал сам начальству представить как исправного попа...

— А я, матушка, верь ты мне, и до твоих теперешних слов про попа Егора не иначе думала... Вот, значит... и права я, коли смекаю умишком, что нашему соколу Бог невидимо подаёт благодать в такую благословенную семью...

К такому же почти заключению пришла и Лукерья Демьяновна собственным рассуждением после всего увиденного ею в поповском доме.

Помещица, ни у кого не спрашивая, дошла до церкви в конце Большой Посадской улицы у Невки. Крайний дом на берегу против церкви сама Балакириха признала за поповский. Вошла в раскрытую калитку на двор и у крыльца столкнулась с пригожею девушкою, нянчившею ребёнка.

Девушка быстро отвела ребёнка в сторону и посторонилась.

— Батюшка здесь жительствоует? — спросила Балакириха.

— Здесь... Теперя он с требой только пошёл. Будет скоро. Милости просим обождать.

— Да ты, голубушка, не поповна ли? Дашей, что ль, прозываешься?

— Я самая, государыня! — и покраснелась как маков цвет. Слово "государыня", произнесённое с таким уважением, расположило помещицу к Даше с первого раза. А девушка, по пышному новому платью Балакирихи считая её очень важной боярыней, не могла, разумеется, иначе отнестись к ней, как с почтением; хотя и ко всем привыкла относиться вежливо и внимательно.

Первая встреча для многих, особенно в старину, была делом огромной важности, решающим; и все зависело от впечатления, возбуждённого им. А Балакириха была одною из таких личностей, для которых первое впечатление было самым главным. Даша, стало быть, завоевала себе первыми словами с бабушкой Вани полное к себе расположение.

Ещё с большим уважением, чем дочь, отнеслась к богато одетой особе интересантка-мать. Попадья Федора чуть не в ноги поклонилась вошедшей в скромное жилище их гостье в парче и шёлку. Указав с поклоном почётное место вошедшей — у стола под святыми, попадья,

подобострастно взглядывая на усевшуюся помещицу, осведомилась:

— Какая благодать указала путь за наш порог вашему высокостепенству? — иначе возвысить гостью, придумав титул погромче, попадья уже не сумела.

— С вами хочу, голубушка, сойтись поближе.

— Да чем мы, государыня, бедные, такую честь уллучили? — да сама ещё поклон ниже пояса.

Балакириха просто-напросто растаяла.

— Знаете Ивана Алексеича Балакирева... я... его...

— Государыня-бабушка! Дай устами коснуться ручки твоей благодетельной! — и попадья бросилась ловить и целовать Балакирихину руку.

Высокомерная помещица была покорена этою угодливостью, чуть не рабскою, попадья Федоры.

— Просим любить да жаловать нас с внуком, — выговорила уже совсем благожелательно Лукерья Демьяновна. Она окончательно освободилась от предубеждения против поповской семьи и готова была принять в свойство настоящую почитательницу своей дворянской спеси.

Но вот отворились двери, и вступил сам отец Егор. Перекрестился на образ и поклонился незнакомой пожилой боярыне, сидевшей у него в парчовой епанечке. Помещица встала и подошла под благословение.

— Батько, ты и не ведаешь ведь, кто нас, бездольных, взыскал своею богоподражательною милостью? — не уставая кланяться, заголосила попадья Федора. — Вишь, её милость Ивана Алексеича бабушка к нам соблаговолила пожаловать сама... воистину краше солнышка ясного нам сей праздник приспел...

Отец Егор, благословив и раскланявшись с гостьею, сел против у другого конца стола.

— Прохладиться не изволишь ли, государыня? — не оставляла усердствовать попадья Федора.

— Да ты чего спрашиваешь? — отозвался радушно отец Егор. — Попроси любым... что изволит в горлышко пропустить... и водочек подай, и

наливочек... и ратафея есть... Давно ль Господь Бог нам, недостойным, на радость честь твою, государыня милостивая, во град столичный сей принёс ныне подобру-поздраву?

— Третий день, отец честной... Сбиралася давно, да средства не было... Было у нас судьбище долгое... с сыном. Три года волочили меня лихие люди да тянули моё дело правое... одначе милость Божия да его царского величества приказ неотменный — повершить через полгода всенепременно — подействовали... Отсудили все мне... на внука, Ванюшку... а ворогу моему — шиш, с позволения сказать... Вот я, и домой не заехамши из Москвы, да прямо — сюда... Больно захотелось внука повидать... Ведь три года с походцем будет... а может, скоро и четыре стукнет, как не видала... Где он?.. Что он? Приезжаю — нахожу своего Ваню в чести большой, а в хлопотах ещё пуще... на часу раз пять иной день посылают... Насилу удосужилися переброситься словечком... И тут помешали окаянные. Говорил он мне, что у батюшки бываю... Дай, думаю, поколь ему недосуг, и сама я к батюшке загляну... благодарность принесу за то, что внука ласкали... По-родственному принимали...

— Он у нас и спервоначалу стал что свой... верьте истине... Такого, истинно, сокровища, я полвека прожил на свете, а не удалось ещё признать! — ответил отец Егор без застенчивости и всякого напускного чувства. Он был человек прямой, как мы знаем.

— Сколько деток-то у вас? — вдруг поспешила, будто спроста, задать вопрос отцу Егору Лукерья Демьяновна.

За него ответила подбежавшая с подносом попадья.

— Восьмеро, государыня!.. Парнишка да Даша — большенькие, а остальные — мелюзга... Десятерых в младенчестве мы похоронили. Прошу прикушать моего изделия... Сама из крыжовника водичку сладила... А это земляничная наливочка... Даша, в подызбицехвати ещё!..

Даша встала и вышла за перегородку, где был спуск в открытый люк.

Когда мелькнула за перегородкой Даша, Лукерья Демьяновна шёпотом сказала попадье:

— Я об дочушке-то вашей хотела спросить: сколько годков считаете?

— Шестнадцатый с поста, с Великого... Не первая она у меня... Первенькие умирали...

— Совсем невеста... И всем взяла: ростом, пригожеством, миловидностью, вежеством, лаской, — и сама вздохнула тяжело, да тут же улыбнулась. — Моему Ивану совсем под масть... Только повременить приходится, родные... Не вдруг теперь ему про женитьбу можно речь завести... Новая служба... да сами знаете... у кого?! Один шаг — и все пропало... Нужно быть... внуку моему на службе на своей не токмо исправному — хоть в ушко вдевай, — а ещё и стремому... чтобы лихой человек не нанёс лиха по насердку.

— Я и сам то же говорил Ивану Алексеичу, как пришёл да показался нам в новом чину своём, — сказал отец Егор, — молодец он... душа! Тысячу раз похвалишь, а все, кажется, не все высказал, — да огонь такой, что просто иной раз слушаешь да головой качаешь, как он хватит, не долго думавши!.. За то государь и отличил... И люди, разумеется, подкапываться станут всеми мерами, да... государыня милостивая, никто как не Бог... Кого же Господь оставляет правого без своей всеильной помощи? Если грешник взмолится о провинности своей, воззовет к Богу с покаянием — Бог услышит, как сам рек: "Воззовет ко мне, и услышу его!" Кольми паче раба своего Иоанна, помысл чист имуща и сердце не скверно... помилует Господь, общий благоподатель и заступник... и покровитель... Я, государыня, каждую службу, в молитвах поминаючи присных, его имя возношу и, любвеобильные щедроты твои памятуя к нему, чту имя рабы Божией Гликерии.

Лукерья Демьяновна прослезилась от глубокого чувства. Взглянув на добродушный лик отца Егора, никто бы не сказал, что слова его с расчётом, или не от души им говорены бы были или чтобы он не то говорил, что делал.

И поп, и попадья, и покорная, любящая Даша в мыслях Лукерьи Демьяновны, можно сказать, выросли и поднялись на такую высоту, на которую не ставила она до сих пор никого. Даже и рюхинская семья —

как ни расположена была Лукерья Демьяновна к ней — в эту минуту отходила дальше, чем члены семьи попа Егора.

Когда Даша внесла новый поднос, уставленный больше чем десятком чарок и сосудцев разных форм, ценностей и из разного материала, мать бойко выхватила у дочери и сама поднесла бабушке, не допившей ещё всего, что было в поставленных подле неё на столике кунтанчике да стопке серебряной. Проворная попадья вокруг этой пары сосудов, совсем опорожнив поднос, в три ряда устала новую партию. Лукерья Демьяновна в это время рукою без слов подозвала к себе Дашу и, целуя её в уста, прошептала, не скрывая душевного волнения:

— Милая моя внучка!

Ну что, согласитесь, после этого могла бы сделать Ильинична? А пожаловала она в обиталище помещицы Балакиревой не больше как через четверть часа по выходе её к отцу Егору.

Разумеется, Анфиса Герасимовна, при всей антипатии, высказанной в разговоре с Балакирихой, приняла вместо неё хитрую мамку приветливо и, предложив ей присесть, распорядилась послать за каким ни на есть угощеньем. Сама Анфиса не тратила слов на растабарыванье ничего не значащих любезностей. Она свои способности употребила на тонкое выведыванье планов и намерений достойной Авдотьи Ильиничны. Попадья охотно отвечала, но и сама пыталась навести собеседницу на откровенность. Кто кого из этих двух дипломаток успел провести — рассудите сами.

— Какая честь моей дорогой Лукерье Демьяновне, когда узнает, что твоя пречестность, великая госпожа — запомновала, матушка, имя и отчество вашего степенства — изволила сама ты вдовину её клеть посетить!..

— Послала меня государыня сама, голубушка!.. Верь Богу, не лгу... Ведь Иван-от Алексеич у нас было — сего утра что-то ему попритчилось неладное — прихворнул... И дофтур был, и лекарства давали, и велели отоспаться, сударику... да слава Создателю... полегчало...

— Ах-ти-х-ти! Вот горе-то... грехи какие! Испужается моя старуха... Хорошо, что без неё пожаловала твоя честь... да как, говорю, имечко-то

ваше? Я, бесталанная, запомнявала... что хошь!..

— Авдотья Ильинична я... Так бабушка-старушка, говоришь, ушедши?.. А не знаете ль, в какие страны?

Анфиса, как мы знаем, очень хорошо знала куда, но отвечала, что не знает.

— Думаю, на вашей стороне будет, к одному офицеру... Что Ивана Алексеича в первый их приезд с бабушкой надоумил к шведу в науку отдать...

— А какой такой, смею спросить, офицер этот самой и в коей стороне — не знаешь ты, родная — живёт?.. Может, в нашей стороне, так ещё дорогой с Лукерьей Демьяновной стречуся.

— Около Адмиралтейства самого, кажись, баили... а прозвание наше, русское, слова нет, а, хошь что хошь, запомнявала... А зовут Иван Андреич, кажись, говорили... И он такой из себя... неказист гораздо, а умком, слышь, своим до офицерства дошёл здесь... и уж такой-от ласковый да приветливый, что наша Лукерья Демьяновна Бога молит... научил и наставил спервоначалу...

— А об нас-то говорила, мать моя?.. Ты мне поведай по душе... Я сама твою честность не забуду... при случае найду чем ни на есть... Я ведь, знаешь, сударка, няней у царевен...

— Как не знать?.. Говорила матушка... нахвалиться не может вашим приёмом; уж так-то хвалит, так-то хвалит, что и сказать нельзя... Уж по ласке по её, говорит, совсем забудешь, что вышла... из...

— Из каких... по-твоему?.. Ну-ка, ну-ка? — вся вспыхнув, стала допрашивать Ильинична. Она не догадывалась, что хитрая попадьа подставила ей капкан будто спроста. В чём ловкой допросчице хотелось убедиться, проверив слова хозяйки, то подтвердили сами возбуждённые допрашиванья и краска на лице. Для Анфисы Герасимовны стала теперь несомненною ничтожность Ильиничны и её внезапное возвышение.

— Так из каких я, вы узнали? — вся побледнев, нетвёрдым голосом закончила вопрос Ильинична. Её поражал насмешливый, торжествующий взор попадьи, уставленный на неё в упор и нисколько не отвечавший

уклончивым речам попадьи.

— Ты, мать моя, строго так спрашиваешь... почём нам, приедем, знать в точку ваши саны!... Хозяюшка наша, кума твоей чести сказывалась, — она знает вдосталь, а мы... ни-че-вво...

Ильинична села на лавку в изнеможении. Удар был так неожидан, что она не сразу могла приготовиться. Молчание наступило в полном смысле красноречивое. Попадья потупилась и, поглядывая исподлобья, словно не замечала смущения, госты, старавшейся победить его и оправиться. Однако нескольких минут хотя и тяжёлого, но спасительного молчания достаточно было, чтобы привычная к уловкам в борьбе с препятствиями Ильинична собралась совсем с духом и выступила во всеоружии нахальства. Она сообразила, что, судя по покрою наряда попадьи, эта противница прямо явилась в новорождённую столицу из деревенской глуши и что всего лучше будет прямо отрицать услышанное, хвастая родовитостью. Кстати ей теперь припомнилась привычка княгини-шутихи, умевшей отлично пересчитывать заслуги именитых, влиятельных её предков.

— Как вы, бедненькие, одурачены с вашей помещицей какою ни на есть сплетницей-вруньей — ради, просто сказать, поднетья на зубки вас, как дурь запечную?.. О нашей ли родне кому взбрѣдет на ум баснословить!.. Вот мило!.. Да батюшка мой, покойничек, ездил сам-шест с вершниками; все в уезде Илью Еремеича знали, и богатство... и честь... А матушка взята тоже не ниже за него... дедушка Ульян Максимыч стольником был уже в двадцать четыре года... в воеводы назначили, да скончился, сердечный; а то бы и в окольных ему не место... А про наши животы нече и сказывать: за мной, некошной, теперь четыреста дворов, кроме угодий всяких... Да что и говорить?..

И тут, увлѣвшись своими вымыслами, Ильинична пустилась фантазировать, ничем не сдерживаясь. В пылу творчества достойная нянюшка, сидя задом ко входу и глядя в глаза попадьѣ, не услышала, как тихо вошла по мягким половикам с подносом и двумя чарками с наливкою её кума. Она остановилась, не сумев удержать улыбки от слышимой

теперь в первый раз околесицы. Чудная повесть, которую развивала Авдотья Ильинична, чтобы произвести полное впечатление на попадью, не могла скоро кончиться, и куме наскучило ждать с полным подносом в руках.

— Полно, будет... оставь на другой раз хоть чуточку своего вранья-то, авось и припомнишь, что теперь валяешь! — язвительно и неожиданно срезала она словоохотную Ильиничну.

При звуках знакомого голоса достойная нянюшка невольно оборотила голову и посмотрела, растерявшись, на попадью и на куму.

— А-а!.. взя-тть рра-ззи, — заикаясь, молвила она, протянув машинально руку к чарке и уже не помня себя от смятения.

— Возьми, разумеется, промочи горлышко, чтоб глаже лезла нескладица не в свою голову... Недаром же я стояла да слушала твоё враньё да великачество...— резала бойкая баба, чувствовавшая, что наступила её очередь теперь отплатить гордянке, забывшейся от счастья.

Попадья, не ожидавшая такой скорой развязки комедии, не могла удержать хохота, но силилась остановить хозяйку, дёргая её сзади за сарафан.

— Нече меня дёргать, матушка... Лгунья запорола тебе такую нелепицу, что я крепилась-крепилась, стоя... одначе не выдержала... ишь ты как режет... Словно и впрямь путная... Господ своих бывших в родню себе поставила... А забыла небось, как этот самый Илья Еремеич, боярин-от твой, что ты в батюшки теперя в свои пожаловала, — Акульку, сестру твою старшую, запороть велел до смерти на конюшне? Не я ль, полно, матушку боярыню, Анну Алексеевну, — в сенных у ей была о ту пору — на коленках стоячи, со слезами умолила... не губить души христианской? Так она заступилась... Постегали, и гораздо, да свиней пасти услали, косы обрезами... Да и твою честь, как за Кузьку хожалого выдавали — не я ль просила с поваром Антипом... не отсаживать от двора... как ты мне покою не дала, упрашивая да руки у меня целующи... И все-то забыто тобой, негодница!.. Знаем, что не по силе твоей благополучье привалило...

Попадья бегом из светлицы от таких разоблачений. А сама думает: "Ну, как вцепится мамка в хозяйку!.. Не пойду в свидетели".

Но Ильиничне было не до драки.

Поставив на стол поднос с чаркою, торжествующая кума удалилась за дверь, оставив онемевшую нянюшку. В ушах у неё звенело и голова была кругом, но не от выпитой чарки наливки.

Попадья, ловкий политик, видя в щёлочку дверей, что гостья немного оправилась, вошла с самою невинною миной и, взяв со стола поднос с другою чаркой, извинилась за отсутствие по надобности да просила гостью выкушать.

Принимая машинально чарку, гостья про себя лепетала: "Ах ты, проклятая ведьма! Слыхано ли... слыхано ли..."

— Я, голубушка, ничего не слыхала, — многозначительно, будто не понимая даже, что и как, заверила гостью матушка. Подсев снова рядом, она упрашивала Ильиничну подкрепиться.

Луч надежды блеснул для потерявшейся. Она ухватилась за неё, как утопающий за соломинку: выходит, кума один на один её отделала. Эта мысль, подкреплённая извинениями попадья, выросла в неопровержимую истину и воротила дар слова Авдотье Ильиничне, от природы одарённой, как сказали мы, уменьем быстро изворачиваться.

— Подкреплюсь, голубушка... Слов не нахожу благодарить твою милость на приятстве да на ласке... Увижу Лукерью Демьяновну... за приём без её чести поблагодарю...

— Не на чём, мать моя... Рады мы на чужбине всем добрым людям, нас не обегаящим... Тем паче вашей чести ласка спервоначалу оказана Лукерье Демьяновне... Вниманьем вашим к Ванечке она так довольна и предовольна... что молит Господа.

— Ах, прости, родная!.. Меня, дуру бессчётную...— спохватилась Ильинична, при упоминанье имени Ванечки припомнив снова цель своего посещения. — Я ведь послана к вам — ты то пойми — самой государыней... Да вы не бойтесь.-, ничего в сущности... Иван-от Алексеич у нас маленько прихворнул утром... Так все мы избегались... и государь

узнал... и лекаря тотчас... и лекарства... Велено молодому человеку после лекарства отдохнуть... и за бабушкой меня прислали... чтоб пожаловала, поберегла внука... у него бы побыла... Да вот её дома не улучила... Экой грех!.. Завтра попроси к нам всене непременно...

— Что ж, труден Ваня-то?.. Что ему попритчилось?.. Я, коли угодно, с тобою же...

— Не труден совсем... Так, прихворнул... Дофтур говорит — не то прилив крови, не то простудился. Трясовица маленько проняла, и ослаб... А как положили насильно — ведь сам ни за что не хотел — так отдохнул и ничего, как пошла я теперя...

Предложение попадьи пустить её к Ване в эту минуту особенно не по нутру пришлось Авдотье Ильиничне. Вот она и употребила все своё умение убеждать для разуверения, что Ваня вовсе не болен, а так... Мало ли что, пообнеможется человек на час на какой... а то и ничего.

— Да с чего милому случилось это самое? — спрашивала попадьа.

— Видишь... как утре увиделся с бабушкой у меня... К себе, ну то есть к нему, её свели мы... Он пришёл, и разговаривать они двое остались.

— Понимаю! — мгновенно представила себе попадьа, какое дурное настроение было у молодого человека после беседы с бабушкой, настроенной Ильиничной. Результат этого свидания попадьа знала уже со слов самой помещицы.

— И скоро он, голубчик, занемог-от? — задала она вопрос хитрой няне.

— Да как позвали его к государыне — бабушка домой к себе, а он — по делам. А, воротившись, ещё на дворе государь сам заприметил перемену. Воротился малый ровно не в себе. Тут лекаря... и в каморку свёл шут... у нас есть заморский один человек.

"Гм! Гм! — раздумывала попадьа про себя. — Причина болезни ясная, и бабушку вечером не след пускать к внуку. Первое — ему успокоиться дать; второе — приготовить его так, чтобы появление бабушки не устрашило парня, — он и выздоровеет".

— Матушка! — раздались за перегородкою слова хозяйки. — Мне нести аль сама выйдешь?

На Авдотью Ильиничну звуки ненавистного голоса кумы подействовали болезненно.

— Ничего не надо, родная! Я сама, веришь ли, со внезапного изнеможенья Ивана Алексеевича, так оно мне болезно... сама не своя. И теперь словно в голову ударило... Бежать мне домой скорееича... твоя наливочка, видно, очень крепка...

И гостя принялась торопливо одеваться. Умная попадья показала вид, что все принимает за чистую монету, без всякого подозрения.

— Хорошо же ты её отделала! Молодец баба...— молвила попадья хозяйке, только закрыв дверь за вышедшею няней.

— Давно я до неё добиралась... а тут случай вышел такой, какого сама собою ни за что не изобретёшь. Врать стала, голубушка моя, перед тобою так, словно и впрямь во дворянстве рождена, со знатью в куклы игрывала... А я знаю, мать моя, всю подноготную... и не то ещё выскажу... Только она заколупни меня... И теперешняя благодать колом поперёк горла встанет!..

И звонкий язвительный смех раздражённой кумы загрохотал перекатами. Ни она, ни попадья не воображали, что Ильинична, притаившись за дверью, слышала и эти слова.

Выслушав угрозы кумы, Ильинична погрузилась в глубокое раздумье. Первым побуждением её было: отомстить! Но страх, охвативший её, пересилил. Может быть, она и ещё что другое бы придумала, но шаги вблизи заставили её покинуть убежище и поспешить пробежать двором. Некогда она его проходила с иными чувствами. Питала другие чувства она и к тому, кто мимо прошёл, но не узнал её, закутанную в епанечку чуть не по уши. А прошедший — сам хозяин дома, — не узнав гостью, был не меньше озадачен встречей на дворе. Своим вопросом: "Кто вышел от вас?" — он озадачил теперь переглянувшихся попадью и хозяйку.

— Она, значит, все слышала — подслушивала! — вскричали они в один голос.

— Да кто такой?

— Да... кума, Авдотья Ильинична.

— Кума? Как же я не признал... В парче это блеснула... в серьгах дорогих.

— Она и есть... Ещё бы не быть серёг да парчи теперь-то... когда послала её царица... да решила она боярыню скорчить... подлинную!.. — ответила жена, стоя на том же месте, где остановилась, разговаривая с попадьёй.

Шорох руки, искавшей с надворья дверь, заставил хозяина распахнуть её.

В отворённой двери показалась Лукерья Демьяновна, сияющая от счастья.

— Отгадай, кто без тебя был? — задала ей вопрос попадьё Анфиса Герасимовна.

— А мне знать почём? Внук, что ль?

— Нет, моя кума, Авдотья Ильинична, — не без отважности и самодовольства ответила хозяйка.

— Эка пропасть!.. Я её, видно, столкнувшись на перекрёстке, не признала... Катит — гляжу — пава какая-то, в епанечке парчовой, как моя же... Думаю: "Дать дорогу? Да я-то чем хуже кого прочего!" И не уступила. Она меня — толк в бок, и я — её в ответ. И разошлись, не поглядевши одна на другую.

И начались объяснения двух приятельниц. Здесь на долю попадьи выпала самая блистательная речь при редком бурканье Лукерьи Демьяновны, очевидно неспроста заменившей сосредоточенностью обычную говорливость.

Она думала, серьёзно думала. Необходимость в этом была неотложная: надо было сообразить все шансы за и против, чтоб не было промашки, и решать в скорейший срок. Очертя голову по своей охоте она ни во что не ввязывалась. Но теперь любовь к внуку заговорила в ней всего сильнее, подстрекнутая известием о его болезни. Хотя Ильинична и говорила, что припадок Вани не столь сильный, но, однако, он привлёк к страждущему внимание самого попечительного государя. Бабушкина приятельница истолковала припадок как результат страха и горя: прогневить бабушку

неповиновением. Сердце настойчиво требовало свободы следовать сделанному выбору, а душа болела от невозможности помочь горю. В таком смысле и высказала матушка Анфиса Герасимовна свой взгляд на сердечные дела Вани. Для бабушки после приёма в поповской семье это было самое убедительное мнение, удовлетворившее вполне её самолюбие.

Лукерья Демьяновна — чего за нею никогда не замечалось — ходила с полчаса по горнице взад да вперёд молча, пока попадья распорядилась приготовлением и подачею ужина. Она заметила, что и за ужином помещица ела меньше, чем обыкновенно, и была рассеянна — ела без соли, хотя солонка стояла подле, и без хлеба. Ужин поэтому был молчаливою необычною трапезою, и, выйдя из-за стола, бабушка не вдруг отошла ко сну. Она долго ещё расхаживала и легла спать только тогда, когда попадья, ложась на боковую, громко сказала: "Спокойной ночи, Лукерья Демьяновна... всего не передумаешь — утро вечера мудрёнее". И помещица ответила, словно сама себе: "Ведь впрямь утро вечера мудрёнее!" И при этом невольно вздохнула.

Ясное утро, в ту пору года в Петербурге не редкое, застало Лукерью Демьяновну ещё сладко спящую, утомлённую думами. Но шум вставших уже домашних и попадья прервал чуткий сон её, однако он подкрепил силы помещицы, и она чувствовала себя хорошо.

Вскочив горошком, как говорят, она быстро оделась. Только её и видели. Ял перевёз помещицу с Городского острова от Троицкой пристани почти к самому дворцу. Перевозчик не спорил даже, когда сказала пассажирка, куда везти её. Впрочем, на перевозчика повлиял целый алтын, положенный помещицей молча на лавку.

Вот она и в воротах на дворцовый двор. Глянула невзначай, — у открытого окна сидит Ваня — ничего, кажется. Он увидел тоже гостью и вышел навстречу.

— Что с тобой было вчера?.. Присылали.

— Схворнулось маненько... трясовицахватила раз-другой... да прошло все. Ничего теперь.

— И слава Богу... А другое что у вас?.. Все добро?

— Добро... все.. Государыня наказала мне тебя, бабинька, привести... ей показать.

— Что ты? — и старушка начала охорашиваться да оглядываться вокруг себя. — Хорошо, что я, как будто знала, почище оделась!

Лукерья Демьяновна, войдя в переднюю, стала расправлять оборки шушуна да поддёргивать парчовую душегрейку

— Сядь, бабинька, я тотчас доложу... сам.

— Уж ты? Будто и сам?.. Такую силу уж взял?

Этих последних слов Ваня не слышал. Он уже скрылся поспешно в коридорчике.

В Петербурге рано вставали все, и при Петре I рано вставала государыня. Изволила она кофе распивать, когда Балакирев, войдя в единственную светлицу, где проводила её величество целые дни, доложил, что, согласно государыниной воле, бабушка его пришла...

— Сюда приведи... сам.

И внук полетел за бабушкой. Схватил её за руку и чуть не летом поставил у входа царицыной светлицы.

Лукерья Демьяновна опустилась машинально на колени и поклонилась в ноги государыне, которая сама, своими ручками и подняла старушку, и усадила подле себя, совсем не помня о расстоянии между супругою царя и подданною.

Слезы умиления потекли по щекам растроганной Балакирихи, и она, схватив руку царицы, целовала её, не в состоянии выговорить ни слова.

Екатерина Алексеевна, сама растроганная выражениями к себе искренней преданности, милостиво сказала старой помещице:

— Я узнала, что внук твой любит дочь священника... она составит его счастье. Со стороны родных было бы неуместно неволить чувство молодого человека... Государь никогда не одобрял браков, устроенных помимо воли тех, кому вместе жить должно... Поэтому, хотя Ильинична мне и доносила, что с вашей стороны есть намерение женить внука на её племяннице... этого не делайте... Пусть... сам он выбрал... Сам и...

— Я, государыня, внуку не только не помеха, но, смею донести величеству твоему... хотела сама просить, оказать над сиротою милость... соизволить Ване моему разрешение дать, на поповне поладить...

— Ну и хорошо! Лучше всего это... Я уже уверила Ильиничну, что, по милости своей, сыщу племяннице её другого жениха, кого сама знаю... А вы свадьбой внука не медлите... Я пойду благословлять... Сама... И наделю молодых...

Лукерья Демьяновна бухнула ещё раз в ноги и, схватив ручку государыни, целуя её, шептала:

— Ддо-вволь-ны мы великими... государскими милостями, а щедроты... кто укажет...

Дальше она не прибрала слов и только шевелила губами. Старушка была крайне растрогана и полна счастьем, равного которому она не помнила в свою жизнь.

— Иван! — крикнула государыня. И Балакирев, не без трепета ожидавший результата аудиенции бабушки, вышагивая по передней и слушая какие-то внушения Лакосты, в эту минуту совсем ему непонятные, робко вступил в государынину приёмную.

— Поблагодари бабушку за соизволение благословить тебя с кем ты желаешь! — громко сказала за государыню княжна Марья Федоровна Вяземская, которую Балакириха не усмотрела позади царицы.

Ваня опустился на колени рядом с бабушкой, поцеловал руку милостивой монархини. Балакириха встала и, кланяясь государыне, обратилась с речью к княжне:

— И твою честь благодарствую на милостивом слове... что внуку моему наказала мне, старухе, почёт воздать... Он бы, сердечный, может, и не вдруг спознал бы, что и как по чину исправить... как Бог велел, да отцы и деды с испокон века дельвали... Позволь, государыня, мне имечко твоё узнать, чтобы в молитвах вспомнать... святых?

— Княжна Марья я, по милости Божией... Во внуке твоём, голубушка, все мы участие принимаем... Хорошего человека ты вырастила... государю на службу, добрым людям на угождение и себе, и тебе на славу... Ко мне при

случае заверни... скажут, где... найдёшь меня... Рада у себя видеть такую почтённую старицу...

— Сиятельство твоё, княжна, да благословит Господь за милость, оказанную нам, грешным... Прими, государыня, в твою протекцию особенную внука-то моего... Ваню-то... Он истинно у нас безответным рос... а удал, нече молвить... и находчив... и стремой.

— Узнали мы на деле эти его качества, бабушка... за то и полюбили его все... И сам государь жалуется, — произнесла она вполголоса, увидев в тени коридора заглядывавшую издали Ильиничну.

И Балакириха, обратив глаза в ту же сторону, заприметила её и опустила глаза, ещё ниже отвесив поклон княжне за милостивое обнадежение.

— Когда, государыня, соизволишь рабе твоей к себе-то пожаловать наведаться? — спросила она, найдясь и при овладевшем немного смущении.

— Вечерком как-нибудь... мы ведь по соседству живём... В Посадской, недалеко от церкви, поповы семьяне, чай, укажут...

— Буду, государыня, всенепременно буду... Только не погневитесь за моё рабское челобитье... не можно ль будет Ване моему со мной на часок, на другой со двора сойти?.. Коли послать надоть, он аль по пути справит, аль я подожду.

— К чему же?.. Может он, государыня, и теперь с бабушкой на время отлучиться? — явилась адвокаткою княжна Марья Федоровна.

Милостивое мановение августейшей ручки было разрешением просьбы бабушки.

— Пораньше вечера только будь! — наказала княжна отпущенному Ване. Он и бабушка с поклонами удалились, не помня себя от милости государыни и её августейшего приветия.

Когда проходили бабушка с внуком после высочайшей аудиенции по тёмному коридорчику мимо дверей комнаты царевен, на пороге её стояла Авдотья Ильинична.

На молчаливый поклон Балакирихи Ильинична, не клоня головы, ехидно прошипела:

— К чему кланяться, коли с мостков толкать!.. Подымай выше теперь... в княжеские хоромы, не иначе!..

Лукерью Демьяновну это замечание взорвало окончательно, но она удержалась и только послала в ответ ярый взгляд, пронзивший сердце надменной няни.

— Возись знай с поповством, ан, посмотришь, и холопство сумеет дать себя знать! — ответила та, не любя оставаться в долгу.

Можно представить себе, как полно было счастье семьи нашего достойного служителя алтаря, отца Егора, когда прямо к ним пришли бабушка с внуком и она рассказала все, что с нею было во дворце.

— Мы бы у вас пообедали,-сказала, усевшись на почётное место и после первых приветствий расположившись совершенно по-родственному, Лукерья Демьяновна попадье Федоре.

— А ещё бы уважили, коли бы кого послали за моей спутницей, матушкой Анфисой Герасимовной! Она, родная, открыла мне глаза по-настоящему на паскудную Ильиничну эту самую, — отрекомендовала помещица будущей родне свою задушевную приятельницу.

— А вы где остановились? Говорите: за перекрёстком налево, третья изба, бабушка? — спросил вдруг сынок поповский Сеня. Мальчик этот и в первое посещение Лукерьи Демьяновны все смотрел на гостью, внимательно слушая её слова.

— В том самом, батюшка, истинно в том... а что тебе?

— Да я схожу и попрошу матушку к нам идти; скажу — бабушка зовёт.

— Экое золото!.. Не мальчик, а сокровище! — поцеловав его в голову, сказала Балакириха.

— Сходи, сходи, Сеня, — подтвердил сам батюшка. — Скажи, пусть пожалует, не поленится: Господу Богу вместе помолимся за успех и поспешество благого начинания.

Посланник выполнил взятое на себя поручение блистательным образом. Матушка Анфиса по самому приглашению поняла, что всё кончено так, как она предрешила. Она собралась немедля и, уже подходя к дому, услышала священные звуки церковной песни: "Молитву пролию ко

Господу!" Отворив дверь, попадья встала позади и во весь молебен глаз не спускала с невесты, молившейся усердно рядом с женихом.

Приятельнице Лукерьи Демьяновны Даша больше чем понравилась ещё при первом взгляде на это доброе, любящее существо. Ваню нашла матушка совсем молодцом, да таким, что ни в сказке сказать, ни пером написать... точного подобия не удастся. Поп Егор — уж нечего и говорить — духовный отец, душа. И попадья, подобострастно следившая за малейшим движением Балакирихи, понравилась, вызвав про себя замечание: "Баба умная!"

После молебна Анфиса Герасимовна была встречена ласковым поцелуем Балакирихи со словами: "Дождались мы с тобой, слава Создателю, милости Божией!"

Понятно, что после слов государыни свадьбой не медлили, и бракосочетание "юрка" почтил своим присутствием Сам державный, открывший прекрасные качества Ивана Балакирева, как мы знаем, раньше всех.

Целую неделю после свадьбы прихожане и прихожанки все ходили в дом к попу Егору с приношениями посильной благостыни, так любимой попадьею Федорой. Поп Егор не вмешивался ни во что и руками махал, когда приносили. Он сам только усаживал посетителей и пересказывал им в сотый раз на дню, как великий государь нашёл его своею царскою милостью.

— Не погнушался великий наш монарх под кров мой войти и с нами, рабами своими, хлеб-соль разделить... И изволил мне государь сам сказать: "Семья у тебя не мала, а много ль доходит... хватает ли на все?" Сыты мы все, государь... Вышний раздаватель талантов рабу твоему дал мзду не по слабым силам, а по своей неиссякаемой щедроте...

— Так и отвечал? Разумно, батюшка... разумно, да тебе ли, отче, не найтись?.. Царь ужо, узнавши тебя, паче превознесет за твоё смирение... а мы, отец, всей душою к тебе... к единому...

И попадья с улыбкой принимает отверженное супругом, который принимал только малую мзду за посильный труд.

Попадья Федора Сидоровна внутренне мирилась теперь со своею участью, но чаяла ещё высшего благополучия впредь при таком зяте.

Глава IV. НИЧТО НЕ ПРОЧНО ПОД ЛУНОЮ

Егорова семья пировала вместе с попадьёю Анфисою и Балакирихой. Был день рождения новобрачной внучки — Дарьи Егоровны.

Приятельницы, разрезывая кулебяку, пожелали Даше и Ване жить век голубками. Они закрепили своё пожелание прихлебываньем винца из братинки вместе с отцом Егором и матушкою Федорой.

Беседа после возлияний сделалась оживлённее.

— Чего я тебе пожелаю, милостивая наша родственница, Лукерья Демьяновна? — возвысил несколько голос, принимая братину, отец Егор. — Животов ли приращения? На твой и на детский век хватит, по милости Создателя... Чести ли и любви людской? Все уже имеешь и видела честь от супруги самодержца самой.

— Конечно, — согласилась помещица, — а все же, батюшка, и ты бы сам, коли бы милость государская какая ни на есть нашла Ванюшку, не сказал бы, что излишня она?

— Мы, грешные, не чуем: благодать нам ниспосылается аль искушение, — возразил отец Егор. — Ино и милостью кажется попервоначалу, а чем дальше всматриваешься, тем запримечаешь больше опасности... и для души, и для тела... Бог вещь, а человеку приходится мудрее змия быта при всяком новом положении, отличить старайся: отчего приходит?

— Все так, батька, да к примеру сказать... Бога благодарить, известно, следует, коли сам батюшка даёт довольное; а коли не хватает и сам промыслишь, да и просить будешь: подай! — вмешалась в речь попадья Федора.

Ей отец Егор ничего не ответил, а только взглянул искоса, как бы про себя решив, что сожительнице ничего не втолкуешь доброго. У неё все одна песня, и на неё всегда сумеет она свести всякое рассуждение.

Что касается Лукерьи Демьяновны, она придала словам отца Егора смысл подлинный: всегда надо соблюдать осторожность и следить за

собой. Такое расположение духа на эту пору несколько дней уже не оставляло помещицу. И утром ещё, собравшись провести день в семье батюшки, Лукерья Демьяновна многозначительно сказала своей советнице:

— Иду к отцу Егору с охотой. Он истинно Божий человек и врачество душе подаст... Верить ли, на сердце у меня, сама не знаю отчего, словно кошки скребут... А я сама здорова... Ваня и Даша тоже, да от матери давно писем не получали... С чего бы им так замешкать?.. И нечего писать, да черкнули бы хоша: все, слава Богу, здорово у нас! Долгое ожидание вести, само собою, могло привести в раздумье умную помещицу, а слова пожеланий отца Егора, как мы заметили уже, самому раздумью её о житейском заставили придать иной, более возвышенный смысл.

Под влиянием этого настроения Лукерья Демьяновна даже холодно как-то поздоровалась с подошедшим к обеду — хотя и поздно, но всё же заставшим за столом всех — Ванюшкой. И тот — как заметила и потом рассказывала Анфиса Герасимовна — был ровно не в себе: меньше разговорчив, чем обыкновенно. Это заметил даже и тесть.

Выйдя из-за стола с ним и взяв его под руку, отец Егор направился к дверям.

Был хотя и март месяц — пост Великий, — но погода стояла на ту пору очень тёплая. Солнце просто, что называется, пекло, и так отрадно веял весенний ветерок, неприметно сгоняющий снег.

Облокотясь на стенку в светлых сенях, доходившую взрослым только до пояса, отец Егор спросил у зятя:

— Ну, что слышно у вас хорошенького?

— Да хорошего мало... Сказали сегодня: готовиться в дорогу; чего доброго, ещё раньше праздника. Царица будет лето проводить в Ревеле... и в Ревель поедут не прямо отсюда, а попрежде ещё, с месяц али больше, проживут в Риге... В Ригу нам и собираться велено наспех...

— Значит, думаешь про долгую разлуку с Дашей? Оттого-то и приуныл?

— Д-да, невесело... праздник в одиночестве... между немцами. А главное,

батюшка... непривычен я к этим разъездам... Как там и что?.. Думаю: нельзя ли выпроситься здесь остаться?

— Ни-ни! Не просись... Ты человек молодой... заслуживать должен милости державных, а не отлынивать от службы... И Бог не велит, и люди не одобряют...

— А Даша-то как? Она ведь, сердечная, со скуки пропадёт?.. Ей и свет Божий невзмилится...

— Даша — моя дочь... Она выросла в страхе Божьем и все привыкла отдавать на Божью волю... Потерпит, поскучает, а отговаривать тебя от поездки и она не станет... Я её хорошо знаю.

Дверь скрипнула, и зять с тестем перервали разговор. Вышла Даша, немного побледневшая, но твёрдо сказала мужу, взяв его за руку и крепко сжав её:

— Дурно ты меня знаешь... на все воля Божья.

Ваня оправился. Поцеловал жену как-то торжественно Он в словах её как бы нашёл неожиданную опору и, войдя в светлицу, громко сказал, сясь придать голосу твёрдость:

— Скоро прощаться придётся нам, велено мне собраться — в Ригу ехать, при государыне!

У Лукерьи Демьяновны прошибли слезы. И двум попадьям почувствовалось — словно что оторвалось при словах Вани.

Беседа затем во весь вечер все вертелась на одном — на грядущей разлуке с Ванею.

В 1721 году Пётр I и Екатерина Алексеевна проводили Пасху в Риге, взяв с собой прислуги в самом необходимом количестве.

Государыня взяла с собою Дуню, племянницу Ильиничны, да Балакирева. Из окружающих её величество были только "Четверная Лапушка" — толстуха Анисья Кирилловна, да камер-юнкеры: Вилим Монс со своим племянником Петром Фёдоровичем Балком. Государь в разъездах с собою брал всегда по одному денщику, и денщик его величества помещался в передней.

О прислуге государыни в городе Риге позаботились: через улицу от

временной резиденции её величества в хорошем доме отвели вполне приличную комнату, но всего одну. Постоянная повинность не позволяла обременять рижского гражданина более чем одной комнатой в доме под свиту высоких персон.

Богослужение у русских совершается, как известно, в день Пасхи ночью, на рассвете разговляются. У Петра I русские люди собрались разговляться вместе с государем. С кухни кулич с пасхой да все, что изготовлено было для разговенья вверху, отпущено было и прислуге царицы — в их помещение. Дуня накрыла скатертью стол и пригласила сестр грустного, молчаливого Балакирева, с нею до сегодня не заговаривавшего.

Они только раскланивались вежливо, молча.

— Благодарствую, Авдотья Мироновна, на доброте да на ласке... С праздником!.. Желая всяких благ.

— Да вместо пожеланья благ, Иван Алексеич, ты лучше поцелуйся: "Христос воскрес!"

— Воистину...— не найдя что возразить, откликнулся Ваня и чмокнул в горячие губы Дуню.

Похристосовавшиеся принялись дружно за пасху и за кулич сперва... потом за съестное, что принесено было к ним.

Раз начатый разговор не прекращался. Ваня, находясь среди немцев и слыша вокруг говор их, был даже рад отвести душу разговором по-русски. Да к тому же Дуня оказалась такою сочувственною собеседницею, что и говорить было легко. Выспросила она обстоятельно о всём семейном положении. Не только без жёлчи, но даже чисто с родственною предупредительностью осведомилась: "Как здорова Даша?" — и имя её знает, и всех домашних, и про попадью батькину... и про бабушку... ровно сестра родная или кума любезная.

Ваня не успевал отвечать на вопросы, так быстро закидывала его ими приветливая Дуня. Неприметно прошли три часа, в которые Ваня собирался соснуть, не ожидая веселья в праздник.

Балакирев даже как-то неохотно поднялся с места, когда сам Балк

пришёл и велел ему идти к государыне. Услышав, что её величество встала, и Дуня поспешила, встревоженная, что отсутствовала при вставанье.

Все, однако, для обоих заговорившихся сошло прелюбополучно.

Государыня подарила червончик Дуне и золотой перстенёк Ване. Его послала передать записочку на почту — для отсылки детям, в Петербург. А затем милостиво дозволила государыня лакею своему употребить время как он захочет, потому что его услуга не потребуется. Её величество и его величество, пользуясь хорошею погодою, решили целый день гулять по улицам, чтобы народ мог насмотреться вдоволь на их величества.

Одев государыню, Дуня осталась прибрать гардероб её величества, уже довольно богатый, и вдруг неожиданно озадачена была сделанною ей честью. Цех шляпных мастеров решил выказать свою преданность русской царице поднесением прислужнице её сластей и двух бутылок сладкого вина.

Как ни отнекивалась Дуня от чести, её принудили взять подарок депутаты от цеха и с торжеством внесли в комнату Дуни и Вани поднос да бутылки.

Балакирев, идя с почты, должен был сделать маленький обход, потому что около жилища царя и царицы толпа, собираясь с раннего утра, не давала прохода в тесных улицах. Толпа двинулась за их величествами и, не давая им двигаться иначе как шагом, пересекла путь Балакиреву почти у самого порога отведённого жилища. Ему пришлось простоять на месте, по крайней мере, с полчаса. Идти за толпою он не хотел и завернул домой.

Он нашёл Дуню одну перед подносом с вином и фруктами, а в доме хозяев — ни души. Все убежали смотреть на царя с царицею.

Выслушав рассказ о поднесении, Балакирев дал совет: попробовать и вино, и фрукты.

— Не бросать же!

— Хорошо! Я готова и пить... и есть, но... с тобой вместе! — поставила непременно условием Дуня.

— Почему не выпить, буде не хмельно гораздо, — решил Ваня.

Небольшие серебряные, вызолоченные стаканчики нашлись у Дуни. Налила она в них вино, и оно заиграло на позолоте так нарядно, что Балакирев, немного помедлив, выпил. Говорится и в Писании: "Вино веселит сердце человека!" С возлияниями сладкой влаги из позолоченного стаканчика Ваня совсем повеселел. Он подставил стаканчик даже снова, взяв с подноса два бергамота.

— Что же мы пьём, а не чокаемся? — налив стаканчик Балакиреву и наполняя свой, весело вскрикнула ещё более весёлая Дуня.

— Почему не чокнуться — наливай себе!

Чокнулись.

— Да ты не так, Иван Алексеич, — не выпив, но держа в руке стаканчик свой, ещё веселее выговорила Дуня, — у нас чокаются, разумеется, искренние друзья?

— Разумеется! — совсем дружески подтвердил Балакирев.

— А друзья, чокнувшись, целуются!

— Как так? — в раздумье проговорил Ваня.

— А вот так! — ответила Дуня и впилась своими губками в его уста.

Ваня сделал невольное движение, но не сильное, а рука Дуни, как бы ожидавшая этого, ещё крепче обвилась вокруг шеи Балакирева.

Поцелуй этот или, вернее, не один десяток поцелуев, пока рука Дуни оставалась на шее у Вани, тянулся несколько минут.

И страшно было мужу Даши, и — видно, тут не без колдовства — так приятно, что он не считал времени, в полном забвении, где и что вокруг делается.

Уста Даши и Вани невольно разомкнулись при оклике за дверью: "Иван Алексеич! А Иван Алексеич!" Балакирев вышел за дверь и увидел гарнизонного солдата, прикомандированного для охраны царского жилища.

— Что тебе, Андрюша?

— Да губернатор приказал на сегодня — пока народ на улицах гуляет — держать двери на запоре... чтобы грех не вышел от воров!.. У кого не

заперто найдёт патруль — штраф наложит... Остерегите хозяев... Приприте надёжней!

— И только за этим ты?.. Прокураты же у вас, у губернатора...

— Нельзя... Строго заказано, Иван Алексеич... Нетрудно притворить, а незаперто найдут... хуже будет.

— Ну, спасибо... за береженье.

И Балакирев вслед за солдатом пошёл выполнить приказание начальства.

Балакирев и его соночлежница, таким образом, были обережены от всех треволнений и толкотни праздничной. Они настолько были увлечены взаимным угощением и беседой, что времени совсем не замечали.

Им оказалось вдвоём так хорошо, что они забыли всех и вся.

Вино и фрукты чередовались, питьё неизменно сопровождалось чоканьем, а чоканье — как установлено было раз — поцелуями.

Между ними Дуня томно спрашивала Ваню:

— За что ты меня возненавидел, Иван Алексеич?

— Я... возненавидел... тебя? Разуверься, Дуня... Я... я никогда...

— Не думай, что твоя Даша больше любит тебя, чем я... Дуня твоя.

— Даша добрая душа, не кори её.

— Я не к укору говорю, а к примеру... Она тебе ничем не пожертвовала... Я всем... С собой.

И Дуня плакала.

А Ваня целовал её, упрашивая не плакать.

После слез ещё раз прошли стаканчики, и не один раз, может быть, пока не опорожнились бутылки; и неведомо как подружившихся молодых людей сморил сон.

Сон был у них так крепок и продолжителен, что хозяева, придя с гулянья, не могли достучаться и попали домой к себе, отворив с надворья раму в нижней галерее да войдя через неё на крыльцо.

Наутро и Дуня, и Иван Балакирев чувствовали себя как-то неловко словно они были друг другом недовольны, и как-то пугливо озирались на других.

Царь задумал в губернаторском доме задать обед — не одним чинам военным и приказным, но и городским представителям — на третий день праздника. Ивану Балакиреву с денщиком царским, Орловым, пришлось поэтому целый день разъезжать с оповещениями и приглашениями.

В каждом немецком доме предлагали угощение. Сперва, очевидно, недовольный собою и, можно сказать, нравственно убитый, Ваня отказывался; пил один Орлов и к обеду доведён был до такого состояния, что не мог уже продолжать разъезды. Пришлось большую половину приглашённых ещё оповестить одному Балакиреву.

Весенний день велик; но уже были сумерки, когда, сойдя со взмыленной лошади, Ваня поднялся по лестнице в жилище третьего ратмана — кума того гражданина, у которого в доме отведена была комната царицыной прислуге.

Ратман этот был разбитной малый и нравственную воздержанность считал глупою робостью.

Услышав отказ бравого лакея царицы от предложения осушить ремер рейнвейна за здоровье их величеств, ратман привскочил даже от удивления. А когда на вопрос, почему не пьёт, Ваня отговорился тем, что дал зарок не пить, — угощатель преобидно для Балакирева захохотал. Наклонясь к его уху, он довольно хорошо сказал ему по-русски, скороговоркою:

— После вчера... вы угостили со своею дамою друг друга так, что дом мог сгореть, а вы вместе спали?!

Ваню передёрнуло от этих слов, и он, не говоря ни слова, осушил ремер залпом.

Как ни крепок был царский юрок, но его скоро разобрал хмель. Добравшись с трудом до отведённой квартиры, Балакирев грохнулся на постель и заснул как убитый. На утро праздника у их величеств хлопот много было не одним кухмейстерам и приспешникам, но и наличным служителям, разбиравшим посуду. Дуня посажена была к погребцу угощать всех желающих выпить: кто чего потребует.

К концу вечера и Балакирев оказался угощённым сладкими винами

довольно исправно. Дуня для нового друга приберегла самые лакомые заедки, так что, утоляя жажду сладкою влагою, и закусывал приятель сластями с полною приятностью.

Вино хорошее Ване понравилось, и он нашёл, что в минуту грусти вино — самое надёжное лекарство. Оно способно прогнать тоскливость и ещё более тяжёлые чувства, возникавшие у него в часы отрезвления. Открыв такое лекарство, он понял, как сократить периоды тяжёлого раздумья. Так что, в конце концов, пребывание в Риге при государыне кончилось для Балакирева тем, что он приобрёл неладную привычку — прибегать к вину, прежде его сильно пугавшему.

Дружба с Дуней превратилась в связь, которую вопреки рассудку и сознанию супружеского долга уже невозможно было разорвать. Образ Даши стал вызывать в Ване укоры совести, а потом уже ожидание свидания с женою в Петербурге с каждым днём пребывания в Риге и затем в Ревеле навевало не просто грусть, а даже страх. Он чувствовал свою круглую неправость: сам себя в душе обвинял и считал тяжким преступником. Да мало ли чего тайного и грозного пришлось ему вспоминать? Робкая совесть подсказывала пугливому воображению те кары, которые могут быть... при строгом выполнении приказаний красавца камер-юнкера Монса.

В Ревеле он даже поместил Ивана Балакирева у себя и попробовал воспользоваться его находчивостью в одном затруднительном деле: получении денег с одного ратсгера. В свой приезд в Петербург тот пообещал тридцать необрезных цесарских талеров за ходатайство для ускорения выдачи наследства без справки.

Когда приехали в Ревель, Монс узнал, что его ходатайство в пользу ратсгера в магистрате имело полную силу. Клиент не только получил сполна все движимое, но введён в законные права пользования и родовым недвижимым — якобы "по особому царскому указу". А о тридцати талерах слуха нет.

Однажды должник попался даже навстречу камер-юнкеру Монс узнал его и остановился перед своим должником, вопросительным взглядом да

кивком головы напоминая ещё об обещанном.

— Извините, почтённый господин, я вас не имею чести знать, вы изволили, вероятно, ошибиться! — вежливо раскланявшись, сказал по-немецки камер-юнкеру ратсгер и сделал ловкий манёвр в сторону. Эта дерзость окончательно взорвала Монса, не привыкшего к подобным ответам. Придя к себе в этот вечер, он дал приказ-поручение Ване, ласково взяв его за руку и усаживая подле себя:

— Ты... человек ловкий, умный даже, как доказали опыты, очень решительный и... находчивый. Сделай мне одолжение: так и так...

Ваня молча выслушал все обстоятельства дела, рассказанного Монсом пространно по-немецки. Он уже говорил с немцами недурно.

— Как же ты скажешь: можно будет справиться с негодяем? — спросил нетерпеливо Монс быстро соображавшего собеседника.

— Погрозить ему доносом на сочиненье им какого-то указа царского? Которого...

— Прекрасно... Сам Соломон не придумал бы так скоро такого веского решения... Таким ворам только и остаётся, что грозить доносом на плутню... Действуй смело и решительно, Монса именем...

— Перед кем? Перед ним одним или и — перед членами магистрата?

— А можно разве к ним привязаться?

— Можно, я полагаю; пригрозить и настрашать того, кто всех пугливее: что не одному получившему, а всем судьям — беда... Пусть разыщут, какой такой есть указ царский?

Монс пробежал по своей комнате и раз, и другой, и третий, потирая руки. Ему действительно представилось, что хитрая штука может удалась. Секретарь и протоколист — скажи только, хоть в виде шутки, царю, как угодлив ревельский магистр своим ратсгерам — первые попадут в допрос. А там и на наследство секвестр, до сбора справок... да штраф, да другие протори и убытки...

А плутоватый, но трусливый протоколист, прямо подручный того самого ратсгера, кстати, не раз заговаривал с Ваней и угощал его один раз. Есть, стало быть, и подход: по дружбе, мол, предупреждаю... чтобы вам в

ответ не попасть.

— Но прежде всего следует почву попытать в самом руднике, то есть подъехать к виноватому ратсгеру.

Под вечерок и отправился к нему слуга государыни. Узнал, что он, по скаредству, никого не держит из прислуги и сам дома сидит — выйдет отворить дверь неотменно.

Позвонил погромче — отворилась дверь.

— Я камер-лакей государыни. Прислан осведомиться: когда последовал царский его величества указ о решении дела в ревельском магистрате, помимо справок, по наследству Миллера-младшего?

— Зачем это?

— Да осведомила её величество, что много в городе говорят про такую милость государя к членам магистрата, и уж с просьбами обратились к её величеству: походатайствовать — по тому самому примеру — о вводе наследников во владенье без проволочки, то есть без дальних справок.

— Это нелегко найти, — с неудовольствием ответил ратсгер, в то же время соображая силу полученной пилюли.

Подумав и предположив, что имеет дело с русским, не знающим их порядков, он быстро нашёлся:

— Это справиться нужно по книгам...

— А! У протоколиста, значит?.. Ну, у него, должно быть, найдётся сейчас... Нечего и медлить, и вас беспокоить. Где протоколист-то живёт?

— Зачем вам знать протоколиста?

— Чтобы показал он, когда указ дан! Ведь не записать указа в книгу он не может? — а сам смотрит в лицо потерявшемуся ратсгеру.

— Да так нельзя, нужно подать в магистрат просьбу о справке.

— Это подают просители обыкновенные... Государыня, коли не дадут справки, прямо государю скажет: как здесь делают. Магистратские при себе держат указ его величества... а другие не смей и просить о милости?..

— Да не сама же государыня принимает просителей!.. Полноте! Где ей этим заниматься? — заговорил другим уже тоном ратсгер. — Скажите,

пожалуйста, кому нужно отослать справки? Мы отошлём. Да войдите, сделайте милость, ко мне. О делах на улице не говорят...

Вошёл Балакирев и сел по приглашению.

— Так кому... эти справки нужны? — вторично спросил самым нежным голосом ратсгер.

— Камер-юнкер Монс обыкновенно принимает у просителей челобитья... а здесь с государынею походная канцелярия есть... Я при ней состою... И...

— Камер-юнкер Монс!.. Камер-юнкер Монс!.. — с беспокойством повторил ратсгер, очевидно затронутый за живое, и с сердцем начал ворочать одну за другою бумага на столе.

— Видно, ищете счёт в тридцать талеров цесарских? — вполголоса, не глядя на хозяина, молвил Балакирев.

— А-а! Так вы знаете... Послушайте, тридцать много... и двадцать будет достаточно?.. Ну, что тут, много ли хлопот было?.. Дело, в сущности, чистое.

— Тридцать... и ни крейцера меньше... Так протоколист где живёт, говорите?

— Ну, двадцать пять? — попробовал предложить ратсгер.

— Я могу получить или тридцать, или...

— Ничего, вы хотели сказать? За упорство и так бывает...

— Так о чём же разговаривать?.. Я прямо пристану к протоколисту, и он... найдёт указ...

— Ну, полноте! Ну к чему к такой штуке прибегать, можно было прямо идти без окольных дорог. Берете двадцать пять талеров?

— Нет!

— Может он и ничего не получить!

— Может, и потребуют указ.

— Мне до этого дела нет! — вскипел ратсгер, напуская на себя вид оскорблённого достоинства.

— Так прощайте. Я и без вашего указания найду протоколиста... Да приду к нему не один даже, а с референдарием от обер-бургомистра...

Велено отыскать указ — так отыщут, если есть...

— А если нет?

— Если нет — так с магистратом не станут чиниться: новоуказные статьи прямо говорят, как быть, коли члены магистрата, "забыв страх Божий"...

— У нас есть свои магистратские постановления...

— Которые, однако, по милости будто бы насланного указа не исполняются?

Как ни зол был ратсгер на приставшего, но и тот не мог не улыбнуться одобрительною улыбкою.

— Монс выбрал, однако, стойкого ходока... Получите!

И ратсгер, отомкнув маленьким ключиком стоявшую на столе шкатулку, открыл её и вынул вязаный шёлковый кошелёк, туго набитый серебряными деньгами.

— Получите, взяты сполна, — донёс в этот же вечер Монсу передавая деньги, ловкий Ваня.

— Расскажи, пожалуйста, каким чародейством ты вымогнул у скряги мои талеры? Это походило бы на сказку, если бы не было правдой. Ты, друг мой, — похлопывая дружески по плечу кончившего рассказ свой Балакирева, решил Монс, — и ловчее, и находчивее не в пример Егора... Стало быть, можно будет скоро спровадить этого вредного человека... С тобой мы не расстанемся... Я от тебя ни в чём не таюсь и не намерен таиться... В помощи моей можешь быть уверен... Смотри, если что окажется, придётся, для приличия племянницу Ильиничны замуж отдать... Ваня опустил неволью голову.

— Я не с тем напоминаю, чтобы ставить тебе в вину.. Молодость твоя, и она... крепко к тебе привязалась... Все это хорошо мы видим и знаем... Да ты ничего не бойся... Всё будет шито и крыто... Мы своих не выдаём... Хорошо бы было с нашей стороны своего оставить! Одного только требую: не пей так много, чтобы себя не помнить... И то можешь высказать, не помня, что и себя погубишь и других поставить можешь в затруднительное положение...

— Я ни в жизнь, Вилим Иванович, не забуду... что я есть... я насчёт питья

не властен... верьте Богу, — не властен и хожу как ошалелый... Трезвому в голову лезет моё беззаконие... с самого того дня... как Бог попутал... связался... Быть же такому искушению?! Будет мне вечно памятен Христов день в Риге,.. — он тяжело вздохнул, и на глазах навернулись слезы. — Помутилось моё все житьё... моему счастью конец!

И лицо Ивана Балакирева было мрачно.

Приехала государыня Екатерина Алексеевна в государев рай, на невское своё пепелище, из продолжительного странствия уже с лишком через неделю после дорогого для супруга её дня — полтавской годовщины.

Ваня удосужился домой только на минутку и был на себя не похож. И похудел он, и почернел словно.

Даша обрадовалась как ангелу Божию своему ненаглядному мужу, а он поздоровался с нею как-то холодно.

— Что с тобой?

— Устал я... с дороги... разбило всего... измучился насмерть...

— Это и видно... лица на тебе нет...

— Засни, голубчик! — предложил тесть. — Утро вечера мудрёнее... И с силами сберешься, да и отдохнёшь по-христиански... Матка, накрывай скорее. Отужинаем и пораньше... Пусть Ваня не морится, а заснёт.

— Да мне нельзя ночевать дома сегодня... не сказался... Я ведь у Монса должен быть в дому...

Всех словно передёрнуло при этих словах.

— Разве не у государыни уже?

— При государыне... как же!.. Да велено покамест с камер-юнкером находиться... Дело своё справлю и — к нему.

— Экая, прости Господи, напасть! — вступилась попадья Федора. — Малому и дохнуть не дадут у себя в семье... Да есть ли хоть, к примеру сказать, корысть-то какая?.. Уж знал бы, за что маяться! — dokonчила она, ни к кому обращаясь, а высказывая свои задушевные влечения.

— Есть-то есть, и больше чем есть... Только бери, а давать — дают охотно, да я придерживаюсь.

— К чему так, мой родной? Всяко даяние благо ведь?

— Не совсем, матушка; может выйти и не благо... неровен час.

— Ты, Ваня, для Бога, не бери ничего, береги свою душу и совесть! — с жаром заговорила Даша и прильнула к щеке мужа своею горячею щекою.

— Ты, Иванушко, правду Даша говорит, — подтвердил отец Егор, — не мзды ради твори вся поведённая, а — Господа ради, как учит апостол... Будет душа чиста, и мир Божий в душе твоей всегда будет; и помысл чист, и воля не склонна на злое, а паче склонная на благое...

Ваня поник головой, и ещё тяжелее стало у него на душе.

— Что бабушка?.. Где теперь жительство имеет?

— Уехала, голубчик, домой, — сказал тесть. — Письмо не совсем ладное получила... Сгорело у вас сколько-то. — И сам тяжело вздохнул.

В письме, полученном накануне, Лукерья Демьяновна уведомляла батюшку, что сгорела у неё усадьба и осталась едва ли десятая часть имущества. Подняться нелегко... Не один год и не два придётся ей пробыть в деревне, чтобы поправить как-нибудь ущерб. Словом, из людей достаточных теперь они стали чуть не нищие.

Высказать горькую действительность отец Егор постерегся: и без того малый расстроен.

Накрыли на стол и сели все вокруг. Отец Егор благословил яствие и питье, прочитав молитву. Ваня поел с аппетитом, но молча.

Тесть и тёща отнесли это ко множеству ответственности, лежавшей на Ване; в путешествии, как видно, ещё более ему прибавилось забот.

У Даши грусть об отсутствовавшем, рассеиваемая немного его нечастыми письмами, заменилась новым болезненным чувством. Бедняжке сдавалось теперь, что Ваня воротился из немецких сторон совсем другим человеком. И не хочет он на неё взглянуть по-дружески, а словно избегает её добрых взглядов, стремящихся заглянуть в его душу и прочитывать в ней горе друга. Что он страдает, хотя и не говорит ничего, Даша сразу была уверена. И чем больше боязливо заглядывала она в опущенные низко глаза Вани да запримечала их блуждающий взор, тем сильнее билось и сжималось у неё сердце. Она готова была заплакать, и верно, при всех расплакалась бы, если бы после ужина тотчас не ушёл

Ваня из дома, ссылаясь на невозможность дольше медлить. Проводив мужа, Даша легла на одинокую кровать и долго тихо плакала. Слезы облегчили бедняжке муку нового для неё ощущения — ещё не определившейся ревности.

Слезы облегчают, несомненно, душевную скорбь, притупляя остроту её. Так было и с Дашей. Охлаждение в муже представлялось ей не призрачным, а подлинной причины остуды она вообразить не могла. Порою Иван был к тому же особенно нежен, проявляя и пыл привязанности, и чувство, разливавшееся потоком слез, но это были часы, когда он был далеко не трезв. В таком положении Даше нестерпимы были его ласки, и он сам возбуждал в ней чувство, которое можно было бы назвать даже враждебным, если бы не проявлялась и в нём женина сердечная преданность да заботливость о добром имени мужа. И она, и домашние — особенно всегда трезвый тесть — на излишества, допускаемые Ванею, смотрели, положим, с разными чувствами, но приходили к одному неременному заключению — что пьянство может погубить молодого человека.

От молчаливых вскипаний неудовольствия дошло до осторожного, но прямого осуждения питья, с упоминанием страхов, волновавших родных, членов семьи священника.

— Ваня, что ты приходишь домой, и редко теперь и не в себе? — осмелилась дружески сказать ему жена.

— Я-то... не в себе?.. Кажись, все как следует, дело справил... С чего мне не в себе быть?

— И я тоже думаю, с чего тебе... пришла теперь — прежде не замечала, до немецкой стороны — охота пить-то? — задала Даша прямой вопрос, от которого Ивану уклониться было нельзя уже, ничего не отвечая в ответ.

— Не пить, Даша, коли знать хочешь, не даёт мне дело моё, — мрачно ответил Ваня, глядя в пол.

— Отчего дело? При деле, если его много, нужно быть тем более трезвым... чтобы помнить все твёрдо... не перепутать чего; чтоб не досталось.

— Ты думаешь так, а я не так! — возразил он медленно, очевидно придумывая отговорки. — Я, коли подкреплюсь, все помню явственно, хоть сто дел разных вели исполнить... Куражит меня, значит... А не выпью — хожу как шальной, рохля рохлей... раздумаюсь... Тоска нападёт как бы ты знала какая! Что я? — думается до чего дойду?

И у Балакирева выступили искренние слезы.

Прямой причины такого состояния мужа добрая Даша, разумеется, понять не могла и только вздохнула. Вздох этот был выражением сочувствия к любимому страдальцу. К трудностям беспокойной службы стала относить теперь Даша необходимость для мужа пить, может быть, только он перепускал неосторожно лишнее. Да и как тут остановиться, когда одно горячее питьё только в состоянии подкрепить истощённые силы?

Пересказала Даша свои мнения, расспросы мужа и ответы его матери и отцу... Погоревали втроём. Покачали головами, но со вздохом помирились с настоящим порядком вещей, если нельзя изменить его.

Сентября 3-го 1721 года, около вечерен, услышали жители Петербурга необычную пальбу из пушек на Неве; да часто таково: паф да паф!

В четверть часа сбежались на берег толпы народа... Смотрят — палят с бригантины, медленно идущей с моря к крепости. Паруса убраны, и один кайзер-флаг, развёрнутый ветерком, величаво колышется на мачте. У неё стоит сам государь в походной епанче. Подошла бригантина к Троицкой пристани к самой, сошёл государь и как вступил на берег, так громко сказал народу: "Поздравляю вас всех с таким миром, какого и ожидать мы не смели! Слава Господу Богу, устроившему о нас дивные величия свои! Пойдём молиться, все, теперь же!.. За мной!" И народ повалил за ним.

По площади шёл с требы поп Егор. Махнул ему государь.

Подошёл он; преподал благословение царскому величеству:

— Чего изволите?

— С тобой, я вижу, риза — отпой благодарственный молебен — мира ради! — и поворотил на Троицкую паперть.

— А отцы здешние как же?.. — идя за государем, осмелился заметить смиренно Егор.

— Твоё счастье, что ты первый попался. Ты служи.

Отпел отец Егор наизусть молебен — молитву благодарственную — на коленях догадался проговорить. И многолетие сказал великому государю.

С крестом подошёл — государь червонец ему в руку и спасибо сказал. Дьячку в шапку народ рубля с два, почитай, набросал. Вслед за государем клали кто сколько мог.

— Велика милость Господня! — восхвалила в первый раз за всё время житья своего с отцом Егором попадья Федора Сидоровна, смотря на делёж батьки с дьячком у них в избе после молебна. — Вот истинно, за Богом молитва не пропадает! — порешила она, считая переданное в её распоряжение.

Она была общим казначеем-хранителем и подарков, приносимых зятем теперь, очень часто. С учащением приношений мать стала чаще журить дочь, что она скучает или, как выражалась матушка, "кривую рожу показывает мужу".

— Он того стоит! — наконец высказалась выведенная из терпения добрая Даша.

— За что так? За то рази, что из сил выбивается да всем угождает?.. За то голубчика все и благодарить стали изряднехонько... Эвона сколько теперь натаскано... Бесчувствительная ты какая, Дашка... посмотрю я на тебя! Этакова ли мужа не предпочесть?

— А что ты, матушка, сама по весне в тот год говаривала про Ваню, покуда ладила меня за Фомку! — уколола интересантку-мать оскорблённая жена. — Не ваше, кажется, дело судить мужа с женой?

— Я не сужу... а вижу раденье Ванино да общий почёт к нему...

— По количеству приносов... А по мне, ничего не надо, да не пей он только... Будь в своём виде, как Бог велел.

— Мало ли чего нет!.. По-твоему: и не пей, и не ешь муж, да все на тебя гляди... Экая хорошая, подумаешь... Найдутся и окроме тебя... коли взыскивать станешь мужу... что пьёт...

Даша залилась слезами. Подобного упрёка она не ожидала от матери.

— Рады ли гостям? — крикнул, входя неожиданно, Ваня, как водится под хмельком, хотя и небольшим. Крикнул и осёкся, увидя плачущую горько жену.

Совість проснулась в нём. Он бросился целовать Дашу и, всхлипывая сам, стал уверять её, что больше пить не станет:

— Не плачь только, не терзай моего сердца!

Мгновенно осушились слезы на лице Даши, и она сама повеселела... как давно не была, забыв уж, казалось, как выражаются радость и удовольствие.

— Слыхали новости наши? У нас праздники готовятся... Затей-затей и невесть сколько... государь хочет — у нас говорили — машкарату большую сочинить... И её величество машкару взденет, и домину... и нашего брата, говорят, оденут какими-то людьми иностранными. Меня выбрали в ряд с денщиком царским, с Алексеем Татищевым... Призывал Пётр Иваныч к себе... Примерять велел кафтан чёрный бархатный, да зелёные исподни короткие, да такого же цвета чулки. Башмаки с большим, брусничного цвета бантом; да банты такие же на шляпу навяжут... А шляпа гречневиком, коли не поострей ещё верхушка... поярок не поярок, а шерсть, кажется... на шляпе... Говорят, будто солома заморская, такая плотная и сплетена хитро в узор... Только не валяная... И дадут мне да Алексею в руки резные из дерева тросточки с вырезанными же деревянными позолоченными листьями виноградными, якобы листовое виноградно обвилось вокруг трости... А на шляпу советовал Пётр Иваныч Дмитрию Андреичу Шепелеву, что гофмейстером прозывается, бляшки оловянные хоша поставить и выбить слова: "Добрый виноградарь" — литерами... Да не знаю... ему не показалось это... Что государь скажет?

— Чего же для оденут-то вас так? Я не вслушалась, — спросила Федора Сидоровна зятя, очень довольная, что поверстали Ваню с денщиком государевым.

О большом в то время значении денщиков государевых попадья уже

много слышала и составила о них высокое мнение. Возвышение Ягужинского, Лихарева, Дивьера у всех было на памяти, а недавно был брак Александра Румянцева с графиней Матвеевой.

— Для машкарату, говорю я вам, меня в пару, в первую, ставят с Алексеем Татищевым; во вторую по росту ищут дружку Ивану Орлову; а в третьей паре будет наш опять, государынин паж, Древник. Он тоже рослый молодец и статен из себя; кто другой к нему приберётся — ещё неизвестно... Говорят, секретарь князя светлейшего, Шульц прозывается... Они, почитай, одного росту... Шесть кафтанов и прочего в готовности на виноградарей... Потому три пары и подбирают... Виноградари пойдут зараз за барабанщиками, а барабанить-то будут всего двое... барабаны пребольшущие... только им и носить... В барабан бить будут царь сам да светлейший князь... Мы, значит, пойдём как раз за ними... Татищев с правой руки придётся за князем, а я с левой — за самим. В наряде и пробу будут делать, как кому и где идти... на этих днях. В воскресенье в это первая машкарата будет. Мы уже расхаживать будем с площади по всему Городскому острову, каждый со своим чином... Одна пара за другой, гусем... А как уставится ход — знак двинуться даст сам государь, ударив в барабан свой... Вы выходите-ка посмотреть, как мы будем отличаться...

— Выйдем, как же не выйти... сколько, чай, народу будет... занятно ведь.

— И ты, Даша, выходи...

— Чего я там не видала?.. Тебя мне приятно видеть в своём настоящем виде, а не в личине... Может, я тебя и не отличу...

— Да ты смотри, где царь с барабаном... рядом и я за ним... Сбиться трудно.

— Нече, батюшка, Дашухе и зубы чесать... Врёт, чтобы нейти... Как нейти? — окрысилась на дочку попадья Федора. — Свово-то мужа... да ещё где — подле государя — не посмотреть?.. Это уж будет и курам на смех!..

Наступило воскресенье, 10 сентября, — день открытия такого блистательного маскарада, который, по расчёту великого миротворца

Севера, должен был оставить в умах современников впечатление неизгладимое. Чтобы видевшие диковинки торжеств по ним во всю жизнь не забыли "великой милости Божией, которую преславым миром Он яве показал над Отечеством"... Целая флотилия судов вытянулась перед крепостью, на которой с рассветом, как и на судах по Неве, пестрели флаги самых ярких цветов. В большой колокол, как в великий праздник, зазвонили в Троицкой церкви, к обедне. Обедня кончилась; собором отслужило духовенство молебен, и после него прочитано протодьяконом привезённое от шведского правительства мирное постановление. При многолетии всех кропили святою водою, и после молебна целый час звонили колокола по церквам. Народ собирался на улицах и занимал места по краям Троицкой площади, посредине которой после обедни стали собираться, по номерам, участники маскарада. В исходе первого на сенатском крыльце показался сам государь, одетый старинным барабанщиком: в полосатой красной с позументами куртке, или бостроге, и в лосинных рейтузах. Чёрные кудри царственного кораблестроителя покрывала распущенная шляпа с плюмажем, пришпиленным пряжкой с целою дюжиною алмазов. Вид государя был сияющий, вполне праздничный, соответствовавший в этот день и яркому солнцу, и безоблачному небу. На золотой перевязи через правое плечо повешен был громадных размеров турецкий барабан, который, из-за высокого роста полтавского победителя, особенно большим не казался.

Тончавый герцог Ижорский, одетый совершенно так, как государь, стоя в паре подле него, наоборот, казался и как бы меньше ростом, и имел барабан словно огромное. За этими двумя передовыми, чуть не великанами, стояли виноградари. Чёрный бархат и зелёный шёлк их одинаковых костюмов составляли приятный контраст с первою парюю и заднею кучкою, где пять облачённых в яркие цвета кардиналов предшествовали князю-папе. Тот, толстяк, хотя и был порядочного роста, но от ширины плеч, и брюха, и мантии казался карапузиком. Больше всего он был похож на двигавшуюся позолоченную бочку: так он был румян или, лучше сказать, багрян. Таковы же были почти все и

кардиналы, с тою разве разницею, что одето на них было меньше, и казались они в своих епанечках и в красных с громадными полями и низкою тульёю шляпах похожими на мухоморов. Такое сходство найдено было зрителями.

Номинальная жена князя-папы и её причт в старинных русских царских нарядах выступали, переливаясь всеми цветами радуги. Шествие походило на чинно и плавно двигающуюся гирлянду цветов, только почти без листьев, так как зелёного цвета почти не было заметно в золоте головных уборов да сарафанов и душегреек.

Немецкие люди разных статей с хозяйками своими и художествами занимали, впрочем, больше места в машкарате, чем русские — свиты князя-папы и его сожительницы. Разумеется, немецкие люди по костюму были в большинстве православные, только надели кафтаны заморские, а не то чтобы заправские немцы. Вереница выстроенных пар, представлявших разные народы, нынешние и бывшие, далеко растянулась за Сенатом. Шествие началось от моста, у которого стояли царь и Меншиков, в крепость. По звуку барабана "Питера баса" слетели плащи с ряженных и двинулась вереница вперёд. Барабанщики взяли по триумфальному пути вправо, мимо дома типографии к Иностранной коллегии, а оттуда, поворотив налево, вступил диковинный ход в Большую Посадскую и, растянувшись по ней во всю длину, прошёл на Невку.

Даша и мать стояли у ворот своего дома за калиткой, а батюшка выглядывал только из-за калитки, соблазна ради не показываясь народу; а все же утерпеть не мог, чтоб не взглянуть хоть глазком на боговенчанного в костюме барабанщика. Калитки в петровское время по случаю частых наводнений строились по крайней мере на пол-аршина выше полотна улицы. От неё, почти везде, клали приступок до калитки.

Стоя на приступке, Даша с матерью на целую голову были выше толпы, стоявшей на земле. Так что вся процессия видна им была не хуже, чем в наши дни видят церемонии сидящие на возвышении за шпалерою войска.

Ниже хозяек священнического дома приютились три каких-то молодых

женщины, из себя красивых и одетых больше чем пышно. Одна из них, по немецкому обычаю, даже вздела на голову высокий шлычек надо лбом из крепко накрахмаленных, сплоенных трубочками кружев в виде раскрытого китайского веера. Убор этот, изобретённый французскою щеголихой девицею Фонтанж, и назывался её именем.

Под фонтанжем на плечи и шею падала прозрачная фата, по-французски — вуаль; а ниже фаты видно было штофное сбористое, круглое платье с разрезанными наперед юбкою, а у локтя — рукавами, пропускавшими в эти раструбы широкие оборки кружевных, накладных ещё рукавов (пристёгиваемых на крючках под обшлагом и по краям разреза). Яркое лиловое штофное платье шло очень хорошо к белым кружевам и прекрасно выделяло несколько смуглое лицо с густым румянцем. Горохового цвета фижмы сквозь разрез платья рассмотрела зоркая Федора Сидоровна и шепнула дочери:

— У этой в червчатом штофе, глянь-ка, пузо ещё гороховое... прах её знает, как-то пристёгнуто, што ль, да стоит ещё, бесстыжая, выпятила его... брюхата, видно!...

Даша сдавила матери руку, чтоб перестала.

Стоявшая подле щеголиха в красном вся и тоже с шлыком заморским оглянулась на попадью и смерила её довольно высокомерным взглядом, от которого у стыдливой Даши выступил румянец неудовольствия на неловкость матери.

Третья, маленькая и толстая, одета была не по-русски, не по-немецки. Казачий зипунчик какой-то с дутыми запонками натянут был на ней сверху сарафанчика, должно быть. Узкие рукава при кистях, однако же, были с разрезами, края которых убраны были тройными, фигурно-высеченными в узор оборками, вышитыми гладью. А на голове было надето что-то похожее на шлычек товарок; только вместо фаты он завернут был, как у казанских татарок, в шёлковый платок жаркого цвета.

Приходясь товаркам-молодицам только по плечо, эта недоростка все топорила, поднимаясь на каблучки. Все ей хотелось прежде других

увидеть приближавшийся маскарад, но этого никак не удавалось, несмотря на все усилия.

— Что ты, Матрёна, толкаешься так? Мне совсем правую ногу отдала!
— с болью в голосе, громко вскрикнула зрительница в красном.

— Прости, девушка, я ненароком! Смерть хочется Дунькиного сокола рассмотреть... какой такой он виноградарь? — и сама залилась звонким ехидным смехом.

— Куда тебе, карапузику... Вишь, что выдумала... усмотреть ли ей моего сокола из-за государя!.. Ведь какая мелюзга ещё затейная!

— А рассмотрю же, рассмотрю всенепременно... коли уж на то пошло! — забормотала обиженная насмешкою подруг над недостаточным её ростом та, в жарком платке.

— Посмотрим, — со смехом возразила вся в красном. И все трое смолкли, потому что услышали близко барабан.

Государь, пройдя мимо Гостиного двора, вдруг ударил в свой барабан. Вторя Петру, грянул и Меншиков. Толпа заколебалась, и крики "ур-ра!" огласили воздух. Крикуны широкою и дружною волною прорвались с обеих сторон и, так сказать, отделили маскарадное шествие от зрителей, оттеснённых к самым домам. Три подруги очутились придавленными к дьяконскому забору. Они вздохнули и стали поправлять сильно потерпевшие свои платья, особенно фаты, от напора толпы, когда она уже отхлынула вслед за государем. Жаркой платок карапузика был прорван, и девка чуть не заплакала, когда, сняв с головы, начала его рассматривать. Делать, однако, было нечего.

— А все отчего? Оттого, что топорщилась да на пальцы становилась, высматривая чужих соколов, — внушала одетая в красное.

— А все же видела Дунькиного сокола, — сквозь слёзы со злостью подтвердила приземистая Матрёна.

— Не врешь, так правда! — дразня её, возразила та, что в красном.

— Видела... видела... Ещё за государем шёл и поклонился таково ласково на нашу сторону.

Дуня — это она была в сиреновом платье — вся вспыхнула и затем

побледнела как смерть.

Ваня действительно, проходя, взглянул ласково на жену и кивнул головой ей и теще, а взгляд и кивок его приняла на свой счёт Дуня. Перемену в её лице при словах Матрёны и весь разговор подруг Даша уже подметила, и для неё он был открытием. Оно поразило её так, что в глазах потемнело, и она без сил скатилась на руки отца и матери, поддерживавших бесчувственную. Обморок был довольно продолжительный.

Очнулась Даша у себя на постели. Ваня в маскарадном уборе своём тёр виски бедняжке уксусом.

Очнувшись, Даша не вдруг пришла в себя. Однако, когда на память ей пришли слова покрытой жарким платком, Даша привлекла к себе голову мужа и шепнула ему на ухо:

— Кто эта смуглая, что называет тебя своим соколом?

Ваня переменялся в лице и не нашёлся что ответить.

— Чего бледнеть?.. Ты скажи мне прямо.

— Я не знаю, о чём ты говоришь, — поправился Ваня.

У Даши было замерло дыхание, но при ответе мужа у неё отлегло от сердца... Надолго ли?

Глава V. ОБОЙНЫЙ УЧЕНИК

Ассамблеи и пиры по случаю Ништадтского мира не кончились в Петербурге, — Пётр I со всею своею семьёю и двором уехал допраздновать этот славный мир в Москву. Вместе с ним уехал и Балакирев, оставив на два года с лишком семью свою.

Даша при прощанье дала руку мужу молча и холодно простилась с ним.

Мать и отец только покачали головой.

— Что-то будет далее? — прошептала попадья.

— А ничего, — вздохнув, ответил отец Егор, полагавший, что размолвку между супругами, даже и более крупную, уничтожают бесследно время и отдаление.

Помолчав, отец Егор молвил, махнув рукой в ту сторону, куда пошёл

зять:

— Воротится — ласковой встретится. Да и раньше возвращения соскучится.

Он был прав только на ту половину, которая относилась к чувствам дочери. Зять в Москве ещё больше закружился. Да и как не закружиться, коли хмелем уж зашибается?!

Приехали в Москву их царские величества, чтобы русскому народу показать невиданные людьми того века старинные диковинки: хождение на кораблях посуху.

Ладить эти потехи возложено было на добряка генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина. Царь-государь уже давно забыл свою остуду к нему за дело царевича и подзадорил старого друга напоминаньем про архангельские караваны. У Федора Матвеевича слезы прошибли от напоминанья поры, когда он да царь Пётр Алексеич не расставались, вместе собираясь к плаванию по Белому бурливому морю. Память о тех днях расшевелила в старике-адмирале чуть не юношескую пылкость. Он разом отдал морякам в руки их прямое дело — ставить на полозья заправские корабли да учить команду управляться, чтобы на матросов походили, а сам с князем-кесарем торопливо принялся устраивать маскарадную процессию. Разделение труда и здесь ускорило дело.

— Ты, Андрюша, возьми ужо устрой свою часть — Бахусову! — шутливо предложил генерал-адмирал брату Андрею Матвеевичу, едва ли не первому из кардиналов по усердию к службе.

— Да что, к примеру сказать, относишь ты на Бахусову, нашу, говоришь, часть?! — спросил, не уклоняясь на этот раз от поручения, знаменитый питух.

— Весь причет Бахусов со приспешники — виноградари... а там папа с вами, кардиналами, да сожительница его, именованная ...

— Ну, а дальше?

— Дальше уж мы хорошо приберём сами... то не по вашей части. А ты начни с виноградарей. Им впереди... Барабанщик — знаешь кто? А за

барабанами — виноградари.

— И сколько их?

— Три пары, кажись, должны "со лозами идти со виноградными с листвием и гроздием позлащённым, деревянным"; так, кажется, значитса?

— Ну... ин ладно... Три пары так три пары!

— Собрать все нумера машкаратные к Арсеналу, в Кремль, налицо, утре... неотменно! — отдали приказ генерал-адмирал и князь-кесарь.

Чуть свет нагнали всех представителей и членов процессии, находящихся в Москве. Велено всем, помня свой порядок, стать как ходили: кто за кем, по петербургским улицам.

Набралось довольно много, а стоят где один, где два. Видно, пар далеко не хватает до полного числа по списку.

Со списком в руке, глядя в перечень, стал проверять Андрей Матвеевич Апраксин.

— Первое: барабанщики — двое... Знаем: виноградарей три пары... раз, а не пара; два — пара; три — опять один; двоих нужно прибрать... не хватает... Разве подойдут ещё?

— С кем ты был в паре? — спрашивает Андрей Матвеевич Апраксин одинокого, стоящего первым, знакоца нашего Ваню Балакирева.

— Моя пара в Петербурге, кажись, осталась: секретарь светлейшего князя Шульц был.

— Подыскать, .значит, нужно такого же рослого, как ты? Нелёгкое дело! И задумался, припоминая что-то.

— Впрямь, может быть, придётся мой Алёша? — пришло ему на ум. — Ростом он высок и не горбится ещё от лихой болести, как я! — пошутил Апраксин над собой, засмеявшись. — Ладно, после обеда приди, приведу я тебе пару! — сказал он Ване и записал следующих, за ним уже стоящих, другого роста. Алексей Данилыч Татищев в третьей паре был ещё ниже и тоже одиноко стоял.

— Ну, к тебе любого поставь — подойдёт... Забота мне только подобрать в первую пару.

В установлении пар да в записыванье прошло целое утро. Явился

отпущенный Ваня к себе. Сказал, велено быть опять после обеда.

— Поезжай в Покровское... близко вас обойщиков поставили... пришли пару обойщиков — полавочники прибить на подоконки; дует сильно у государыни в светлице, — наказала Дуня. — Смотри, вечером приходи... мне досужно, — заключила она наказ Ване.

— Не знаю, рано ли отпустят из Кремля?

— Не ночь же целую вас держать будут... Ты прямо можешь сказать, что ждать недосужно; при государыне ты состоишь.

— Ладно!

Отыскать обойщиков было нетрудно ездовому слуге государыни. Указали, где стоят.

— Двое, братцы, придите к нам не медля в Преображенское, во дворец... У государыни в опочивальне полавочники на подоконки прибить... И полавочников шесть захватите... средственных.

— Да кто нам их даст без приказа? Письменной приказ нужен.

— Ладно... напишем и приказ... Давай бумаги!

Дали бумагу и чернила. Ваня присел и накатал тут же приказ-требование в три строки.

— Да и подпиши, сударик, имя своё... чтобы знать, через кого требуется, — принимая требование, высказал обойщик.

Не споря, Ваня и имя своё подмахнул.

— Так будьте же, братцы! Сегодня же, смотрите, нужно...

— Сейчас пойдём; почему нейти?.. Мы вслед за твоею ж милостью... Не обессудь, государь, выкушай с нами, приязни ради да знаемости впредь... А мы с нашим душевным удовольствием готовы служить.

— Почему не выпить?.. Извольте, братцы... как величать?

— Меня, — сказал угощатель, — Иваном зовут; Иваном по отце. Товарища нашего Семёном Прокофьевым величают, а вот наш гость — его милость сержант, Алексей Гаврилыч.

— И меня покоров прошу посетить в Покровском, у камер-юнкера в доме, у Монса... у Вилима Иваныча... Состою я при комнате государыни императрицы; солдатом попрежь служил, а теперь лакей ездовой, Иван

Алексеев, коли желаете знать... Желая всяких благ честной компании, а меня прошу извинить... Недосужно. Князь-кесарь да генерал-адмирал в Кремле у арсенала нашу машкарату в ряды ставят... а мне место в первой паре... виноградаря должен изображать. Спешить туда нужно... К вам навязали ехать насильно, потому что послать некого, а истинно медлить не могу... Сами посудите — сборы машкаратные наспех.

Поклонился и вышел.

— Красивый из себя молодец и приветливый какой! — молвил хозяин. — Как такую картину в пару первую не поставить!

— Красив-то, нече сказать, красив, да коли у Монса на вестях — черт ли в ем! — высказался злорадно мрачный гость обойного подмастерья.

— Не у Монса на вестях, кажется, говорил он, а при государыне...— возразил Семён Прокофьев.

— У Монса. Я ведь сам слышал...— настаивал, как видно не выносивший самой фамилии камер-юнкера — не кто иной, как сержант Алексей Гаврилович Балакирев.

— Да ведь можно легко и впрямь дознаться по прозванью... подписал он чётко, кажись: Иван Бал-лакирев! Ещё твоё и прозвание, Алексей Гаврилыч; не родня ли? — обратился он к сердитому сержанту со смехом.

— Какая там, черт, родня у меня, у Монса проклятого? Чтобы ему ни дна ни покрывки! — заругался Алексей Балакирев.

— Сынок твой, голубчик! — успокаивая раздражённого, говорил ласково недогадливый Иван Иванович Суворов, прочитавший в. подписи Ивана отчество "Алексеев сын".

Алексей Балакирев, уже вышедший из себя, принял его выходку за намерение ещё больше кольнуть его и, схватив шапку, бросился к двери, не прощаясь.

— Прощай, сердитка! — не понимая ещё вполне значения Алексеева ухода, закричал вслед ему Суворов; но сержант уже не слышал этих его слов.

В трех шагах от дома повстречался с ним слуга Андрея Апраксина.

— Не к нам ли?

— А я к вашей милости послан: Андрей Матвеич ждёт и велел искать скорейча... Толкнулся к тебе я, Алексей Гаврилыч, сказали — не знаем, куда пошёл... Да вот, на счастье... попался...

И, не принимая никаких отговорок, потащил к ожидавшему своему боярину.

— Пообедай скорей, Алёша, да и в поход со мной... Ну... живой рукой. — И сам приказал подавать только отнесённые со стола блюда.

Насыщаясь, разгневанный Алексей Балакирев успокаивался.

— Ну... готов?! Едем же!

И, не говоря ничего, куда и для чего, Андрей Матвеич увлёк своего друга в сани, и тройка понесла их в Кремль.

У Троицких ворот Апраксин со своим спутником сошли, и Андрей так быстро засеменял своими кривыми ножками, что Алексей едва поспевал за ним, приближаясь к кучке начальства.

— Вот, на пополнение первой пары! — указывая на приведённого Алексея, молвил Апраксин брату и князю-кесарю.

— Поглядим!.. Виноградари — сюда! Первая пара!

Иван Балакирев подошёл, и в ряд с ним, схватив с силой за плечо, уставил князь-кесарь упировавшегося отца его.

— Под статью, конечно... — нашёл граф Федор Матвеич. — Прибрать будет только камзол пошире в плечах... Твой, Андрюша, виноградари попрземистее... на тебя смахивает; так, того... не придётся ли ещё распороть спинку али плечи у камзола?

Алексей теперь понял, что Андрей Апраксин всунул его в маскарадное шествие в паре с человеком, уже с первого знакомства ему ненавистным.

Началась переключка по именам, отчествам и прозваниям, с первого — Ивана Балакирева.

— Иван Алексеев сын Балакирев! — ответил Ваня громко.

— Ты как? — задал вопрос генерал-адмирал его товарищу по паре.

— Алексей Гаврилов сын Балакирев! — протяжно, нехотя высказал сержант.

Ваня взглянул на говорившего не просто с любопытством, а с каким-то

особенным чувством; но скорее враждебно, чем с расположением.

И сержант смерил Ивана взглядом, полным презрения и злости; в обоих закипело сердце чувством, похожим на гнев. Ивану пришло на мысль: "Никак, это отец пропадавший?" А у Алексея зашевелилась злость к матери, и припомнилось, что его обобрала она в пользу этого самого сына, который... сам сказал, что служит злейшему врагу его, Монсу!

Ни отец, ни сын, однако, не решались заговаривать друг с другом, стоя рядом больше полчаса.

Наконец распустились пары близко к сумеркам. Иван направился к Спасским воротам. В самых воротах чувствует он, что кто-то схватил его за епанчу. Оглядывается — это угрюмый его товарищ, о котором подозрение у него уже зародилось, что он отец его.

— Остановись-ка!.. Мне нужно перемолвить с тобою...

— Говори, что такое?

— Кто у тебя был отец?

— Сержант, говорила бабушка, теперь...

— Имя его?

— Алексей Гаврилов Балакирев.

— Я сам и есть сержант Алексей Гаврилов Балакирев, из Ковровской округи... Жене имя Анфиса...

—Ну?..

— Ну... ну! Так ты, щенок, — мой сын!

— Может быть, и так!.. Что же далее?

— Так ли отвечать ты должен отцу?

— Я отца своего не знал... Он бросил меня с матерью ещё до рожденья... Стало быть, почему мне знать, кто ты такой?

— Отец твой! Ты сам сказал, что отец у тебя сержант Алексей Гаврилов Балакирев... Как же ты меня не хочешь признать? Как же ты смеешь...

— Потихе, потихе... Всякого, кому угодно назваться мне в отцы, трудно признать, коли является он как с неба ровно... Сметь мне сомневаться... никто не закажет... А отказываться от отца, коли подлинно отец, я и не думал... И не намерен...

— То-то!.. Коли я тебя признаю сыном, ты должен почитать меня отцом... после всего.

— После чего это?

— После того, что мать моя обобрала меня в твою пользу... Я бы должен тебя ненавидеть, но... я не кладу на тебя гнева покуда... Скажи мне, где ты?

— У государыни при комнате служу... взял меня государь...

— А у обойщика, как я впервой тебя увидел, ты говорил, что живёшь у... Монса?

— Да... говорил и теперь скажу... тоже... Что же из этого самого?

— То... что коли ты мой сын... Монса ты брось... Он... мой первый враг... Слышишь!

— Бросить я не могу, потому... потому что...

— Ну... почему не можешь бросить? Говори скорей!... Почему?

— Потому что служба такова... велено быть... и должен я быть.

— А я не велю сыну своему быть у Монса... Рази вот что... коли ты... ему можешь пакость учинить... али вытянуть из него поганую его душонку... Тогда... делай!

— Ты, брат, видно... не в себе... Назвался отцом моим... и загородил такую нелепицу, что совестно слушать! — уклончиво ответил Иван и сделал движение вперёд.

Алексей обошёл его и заступил дорогу.

— Ты не уйдёшь, пока не дашь клятвы мне в том, что я, отец, тебе приказываю!

Иван рванулся, но не мог прорваться.

— Отстань от меня! — крикнул он, уже недовольный, испытывая тяжёлое чувство. Он пересилил бы себя, если бы оставили его в покое, но отец и не думал отстать, приходя в ярость, причина которой сыну, разумеется, была неизвестна. Ивану Балакиреву было совершенно невозможно отличить слова родительских приказаний от бреда горячечного. Самая эксцентричность объяснения и приёмы его говорили о грустном состоянии родительского мозга: уж не провёл ли он всю сцену в

припадке? В паре стоял он так необычно. За что враждебность показывал? Бог один знает! Самое лучшее — не перечить в таком случае. Иван скрепился и, не имея возможности уйти, предоставил названному родителю говорить что ему угодно. Но и тут новая беда. Кипевший гневом, Алексей угрозы свои пересыпал тёмными намёками, из которых мог одно разве понять умный Иван — гнев равный на его бабушку и на Монса. Затруднительному положению молодого Балакирева помог казённый обоз с прикрытием. В тесноте ворот телеги разлучили отца с сыном, ушедшим стремительно в сторону.

Свидание с отцом оставило, впрочем, в сыне очень невесёлые чувства. "Сегодня ушёл — завтра не уйдёшь! А на улице нельзя же допускать повторение такой встречи, как в воротах. Узнать, по крайней мере, обстоятельнее его положение. В первый раз намёл я его у обойщиков. Вероятно, он заходил туда, и они его знают. По пути же в Покровское... Дай зайду?"

Зашёл и нашёл собрание.

Семён и Иван встретили лакея государыни с уважением. О нём и речь даже ища, когда он неожиданно вошёл, будто осведомится: были ли и сделали ли дело?

Ответ дан положительный. С полавочником и завязался разговор. Слово за слово. Людей сошлось немало в мастерскую — все ещё работали, как и утрём, когда был Ваня в мастерской.

Мастеровые во дворцах многое знали, про многое желали осведомиться. Зашла речь о маскараде и участниках.

— Вот и Алексея Гаврилыча я видел, — заговорил незадолго перед тем вошедший товарищ Суворова и Прокофьева, — шёл таково скоро и, видно, не в себе... Ругался страх как!

— Что он такое, в самом деле? — спросил Иван будто с простым участием о виденном здесь человеке.

— Алёша-то? — ответил Суворов. — Он истинно порой бывает как бы не в себе. Да и то сказать: кому бы не довелось перетерпеть столько, как ему... может, ещё хуже бы был... Чем он только живёт?.. Коли бы не

Андрей Матвеевич призревал да снабжал всем, что требуется, — Алёше бы в мир пришлось... с рукой идти. Мать его всего обобрала: для сына, говорит, а может, и сыну не дала ещё... Такая карга крепкая... Вы-то, смею спросить, не сродни ли как? Тоже прозываетесь Балакиревым?

— Должно быть, мы родные! — ответил неохотно Ваня, не расположенный после высказанной оценки бабушки распространяться о семейных делах своих с людьми, уже предубеждёнными словами отца.

Ване только стало тяжелее. Простые слова Ивана Ивановича не в бровь, а в самый глаз попали... Он, Ваня, выходит, обиратель отца?.. По милости его, Ваниной, даже отец стареет без куска хлеба. Совесть не была у Вани испорчена настолько, чтобы холодно принимать несчастье и неблизкого по родству человека. Он готов был всем поделиться с отцом, но требования, им поставленные, были невыполнимы для Вани. Теперь уйти от Монса он уже не мог никак. А обратиться в злодея и предателя человека, к нему расположенного, Ваня также не мог. Такое предложение возмущало робкую совесть недовольного собою Ивана Балакирева. Ему и не настолько близкого человека предать, даже в малости, совесть бы не позволила.

Слова Суворова вызвали в Ване душевную бурю. Тем более что ему, с его нравственными убеждениями, была хорошо знакома борьба рассудка с совестью.

Со времени пребывания в Риге Иван Балакирев привык утешать скорбь душевную хмелем, и теперь он поспешил неприметно удалиться, молча распрощавшись кивком головы с присутствовавшими, чтобы выпить не откладывая.

— Ну... этот, видно, впрямь Алешкин сын... тоже походит на его, — заметил вслед исчезнувшему подмастерье Прокофьев, знавший Алексея Балакирева по давнему соседству с ним.

— Может, так, а может, и не так, — простодушно возразил Суворов. — Может, не показалась ему и наша кумпанья... в золоте ходит и беседы ищет не такой, как наша... Мы, к делу и не к делу, с Иваном Елкиным в дружбу норовим, а ему... выше подымай... виноградного надо.

— Не побрезговал, иначе, и хлебным.

— Зато и не показалось.

— Не показаться мог ему, понятно, и не совсем уместный — я тебе скажу — вопрос твой: сродни ли ему Алёша?.. Видишь, принялся ты описывать его не гораздо, да и брякнул ещё, никак, что краснокафтанник-от родня... А он, со своим Монсом, почитай, на всю Москву стал притчею...— вмешался до сих пор сидевший в тени молча гарнизонный солдатик. Приведён он был к Суворову товарищем, Михеем Ершовым, да и Михей сам мало его знал. А Иван Иванович видал его у Михея всего раз один. Так что вмешательство, да с таким замечанием, заставило и Ершова, и Суворова посмотреть на говорившего с разными чувствами, конечно, но с одною мгновенно возникшею идеею: вот ещё нового знахаря вмешали в наши рассказы непутные! Да кто он и как на его-то самого смотреть? Не с подвохом ли?

И Суворову, и Ершову сделалось на душе неладно.

— А вы знаете, что ль, этого самого? — будто спроста, а на самом деле пытая почву, осмелился спросить Иван Иванович.

— Теперя, увидевши у вас, впервой спознал, какой он такой. Кажись, на вид тот, что знавали мы попрежь... много наслушались и в Питере, и здесья везде тараторят, что через Монса сделать все что хошь легко... а у его первый ходок на все пакости Балакирев.

— Врёшь! Ни на каки пакости не ходок Балакирев! — растворяя дверь с силою и схватив на лету последние слова, крикнул с гневом Алексей Гаврилыч. Был он полупьяный, как обыкновенно, и в этом положении крайне придирчивый и заносчивый.

— Не про тебя, голубчик, речь шла, успокойся! — добродушно молвил ему приветливый хозяин.

— Как не про меня?

— Это, голубчик, про Монсова Балакирева, — оправдывался солдатик, — тот и в солдатстве, как знал его, был уж пакостник, к попу, слышь, подлез... Знамо, что мошенник мошенника видит. Так-то и Монсу он показался, грабителю...

— Подойди, душа, поцелуемся, вот правду-то сказал, Монс мошенник, грабитель мой! — не владея собою, крикнул Алексей Балакирев и заругался.

Солдатик на приглашение встал, облобызал по-братски постаревшего сержанта и сел подле него.

— Расскажи, друг милый, потешь, что ты про Ваньку-мерзеца знаешь, про Монсова подхалима... Я его уж проклял... Родительски увещевал: брось ты этого Монсишку... а не то... погуби ты мне его... Потешь... За все, что вытерпел по его милости... так... нет: упёрся быком... Молчит, мошенник, да вдруг и улизнул... Я — туда-сюда... нет нигде. Хватил с горя и к вам приплёлся.

— Он тоже здесь был и про тебя выпрашивать вздумал, — не без ехидства возвестил Алексею новый названный друг, начавший такие откровения, от которых товарищ Суворова поспешил убежать, да и Иван Иванович стал собираться уходить из мастерской.

Он надел армяк свой, взял с верстака шапочку и, дружески ударив по плечу Алексея Балакирева, сказал:

— До свиданья... пора домой. Каганцы велят тушить раньше четвёртого часа ночи, а теперя третий на исходе... Ступайте-ка... Запирать нужно.

— Ну... Ты, друг, ко мне... Истинно душу отводишь своею повестью про сына моего непутного! — с пьяными слезами заявил рассказчику Алексей Балакирев.

А рассказчик взял под руку Михея Ершова, и все трое вышли за Суворовым из двери.

Солдатик — клеветник отцу на Ивана Балакирева — был не кто иной, как оштрафованный Фомушка Микрюков, не по доброй воле высланный в Белокаменную, хотя и успел оправдаться.

Зная, кто он, понятны и причины его клеветы. Злость от сознания своего поражения и победы соперника колола и подстрекала Микрюкова к клевете самой ядовитой и чудовищной. Он видел в Иване Балакиреве врага, против которого все средства, в том числе и донос, позволительны.

Ощущение, что жёлчный рассказ Микрюкова об Иване Балакиреве клевета, было даже у Михея Ершова.

Что касается Алексея Балакирева, то он меньше придавал значения выдуманной сказке о сыне, а желал больше слышать о скверных делах врага своего Монса, но про эти-то дела и не сумел на первый раз придумать клеветник. Он, очевидно, прихвастнул, что знает Монсовы художества и слышал говор по целой Москве о его всемогуществе. Но по вопросам нового друга Фомушка, впрочем, понял, куда надо направлять речь, и пускал в дело своё богатое воображение. Он решил давать только уклончивые ответы на вопросы о делах Монса, обещая все рассказать в другой раз. Ему нужно было время на сочинение и обработку правдоподобных повестей. Случай, как увидим мы, помог на этот раз лжецу, не заставив его и долго ждать.

У Алексея Балакирева, за выставленным угощением, Фома Исаич ловко и умело закидывал тенёта, метко попадая на пункт, способные выдержать зацепку и дать ей поддержку. Оба гостя, в первый раз заведённые к Алексею, у него и заночевали. Солдата пьяного, тем паче ночью, задержал бы патруль на первой же площади; а Михей просто обессилел и не мог подняться с места.

Не в лучшем положении оказался и выведенный из кружала Иван Балакирев. Его посадили на пенёк у соседнего забора, и он дремал без шляпы на холоду. Суворов с товарищем, проходя мимо, узнали, кто это, отыскивали лежавшую в стороне шляпу хмельного, и Суворов привёл его к себе — укрыть от тёмной ночи и мороза.

Проснувшись до света, Ваня мало-помалу припомнил все и прослезился от доброты Ивана Ивановича. Он умел ценить чужую доброту и привязался к своему укрывателю, смотревшему на него с соболезнованием. Стыд Вани и искренняя благодарность расположили и Суворова к нему. Честный Иван Иванович признал, что сказанное солдатом или заведомо клевета, или относится не к этому добряку. После ночлега у Суворова поспешил к себе не без трепета Ваня. Он ожидал хотя и не сильного, но всё же выговора от Монса; а главное, вспомнил он приглашение Дуни.

Она напрасно прождала и будет пенять. Дела оказались, однако, лучше. Монс рано увезён Павловым в подмосковную и едва ли воротится к вечеру, а Дуню взяла государыня с собой, отъезжая в Измайлово. Затем предстояло свидание с отцом на пробе; но, явившись к арсеналу, Иван получил в пару себе Пospelова, прибывшего накануне. Во вторую пару прибрали рослых: Алексея Татищева да Орлова, и Алексей Балакирев, очутясь в третьей паре, не мог, разумеется, говорить с сыном. Да к тому же его раньше роспуска потребовали для пригонки камзола к портным, тут же в Кремле под Потешным дворцом. Гарнизонных солдат расписали по дистанциям по всему маскарадному пути. Фомушка попал на первый притин — к арсеналу в Кремле. Там, под его присмотром, назначено было с верхнею одеждою стоять слугам господ, участвовавших в процессии. Становясь в ряд, снимали верхнее платье, в котором приехали, и оставляли у слуги.

Ловкий Фомушка тут же смекнул, как извлечь возможную пользу из своего назначения. Он сам предложил барским слугам: за алтын оставлять платье у него и уходить куда угодно. Денежные холопы обрадовались и тридцать алтын в шапку набросали Фомушке сразу. Другие, не имевшие при себе наличных, только вздохнули, что не смогут уйти. Фомушка обратился к ним, предлагая на первый раз поверить в долг, зато завтра принести взнос вдвойне. Нашлось восьмеро этим воспользовавшихся. В числе их был Мишка, слуга Василья Петровича Пospelова: малый ленивый, соня и рохля, весь в своего барина. Деньги у него водились, хотя и не всегда. Не желая обмануть служивого завтра, он прямо сказал:

— Коли хошь до воскресенья потерпеть, разом пять алтынов дам. Сам и приходи к нам во двор .. Стоим на Пречистенке... а теперя нету и до воскресенья... не будет... У нас Афонасей, дворецкий, по воскресеньям водочные отдаёт...

— Ладно, почему не поверить?.. Тем паче в воскресенье роздых... Может, милость будет, и угостите... во дворе?..

— У нас, братец, просто... народ добрый, спознаешь... мы рады доброму

человеку...

И дружба завелась у Фомушки с Мишкой, а через Мишку — с дворецким и со всею дворнею... настоящий клад.

Маскарад давно кончился. Царь уехал, и государыня с ним. а с нею Монс и Балакирев. Пospelов тоже был в походе в отъезде, а люди его оставались в Москве. А у них первый советник и лучший друг оказался Фома Исаич Микрюков.

Вот приехал гневный государь судить распри светлейшего князя с вице-канцлером, и жутко стало многим господам, сторонникам того и другого. В людских, со слов господ, пересуды пошли, что и как.

Микрюков, составивший знакомство уже обширное, был первый оракул в подобных рассуждениях.

— Говорят, Шафирову плохо, — молвил он с уверенностью, сидя за столом с братиною хмельного медку у ключника князя Михаила Михайловича Голицына. В московском доме своём князь держал по старинке громадную дворню, жадную к новостям и теперь разинувшую рот в ожидании услышать важную новость.

— А что, вы слыхали, что ль? — с глубоким уважением к говорившему спросил ключник, не жалевавший для Фомушки господских медов и пив.

— Слыхали кое-что... Да сам виноват... вовремя бы Монсу челом ударил... Помирился бы нехотя светлевший, и суда бы не было... Ведь все Святки, кажись, ожидали, что виноватый покорится.

— Да светлейшему что такое Монс? — возразил ключник. — До Шафирова давно добирался князь... Скорняков только придиру ловкую изобрёл, а намечено было давно уж... для того и в обер-пронурары посажен был, чтоб словил... Стало, изловимши, отпускать врага не рука... И Монсу там, что ль, сунуться тут не довелось бы...

— Монсу-то!.. Плохо же вы знаете подлинно, дело... как делается... А мы знаем... и причину самую силы, значит, Монсовой.

— Какая же бы такая была эта самая причина? — с неудовольствием за поперечку допрашивал ключник.

— Не все, голубчик, что знаешь, выговаривать велят... Могут и тебя, и

меня, и слышавших... схватить, да...

И он не досказал, сделав рукою движение, как бы колыханье на воздухе.

Это хорошо поняли любопытные и отхлынули.

У всех ещё были свежи в памяти тасканья да сеченья болтунов и болтуньев по делу царевича. Ключник вздохнул тяжело... У него в старину крестил Федор Абрамыч Эверклаков. Вздох вызвал даже мгновенную бледность, но, ловкий не меньше Микрюкова, ключник мгновенно нашёлся, победив неприятное ощущение и не давая ему развиться в трусость, он выговорил с одушевлением:

— Причину силы Монсовой кумпании мы знаем... не Бог знает что... приказные, да сенатские, да секретарь Макаров сообща плутуют... А коли откроются глаза великому государю... всем ворам будет плохо.

— Нет... не Макаровым тут пахнет... выше подымай!

— Уж и выше, говоришь... Что ж, по-твоему, светлейший, что ль, с ними в союзе?

— М-может быть, и повыше есть... ино титуловать бы не пришлось кой-кого благоверным.

— Заврался, друг-служба... Эк куда те дёрнуло... Уж и благоверный-то государь... ворам покровитель и помощник!.. Ты, любезный, коли ум за разум заходит, ино и помолчи... жалеючи, просто сказать, спины своей, — с мнимым сожалением вполголоса увещевал ключник Фомушку.

— Не один государь благоверным величается, — настаивал, расхрабрясь, Микрюков.

— Кто же? — оглядевшись вокруг и увидев, что они с солдатом только вдвоём в застойной, спросил уже настойчиво ключник.

— Благоверная, может... коли пристал, словно с ножом к горлу! — отрезал Фома. — Я знаю то, чего не приходится разбалтывать, от верного человека... от Мишки Пospelовского... А ему, слышь, говорил Егорка Столетов; разбранились со своим из-за поганца, из-за подхалима нового-то, Ванькой Балакиревым что прозывается... Ванька-то этот на Егорку нашёптывает, и у Монса живмя живёт и спит у его... И носит, понимаешь,

из рук в руки... Да и Егорка штука, я те скажу подтибрил одно письмецо сильненькое, говорит Мишка... Монс и чухает... да открыто потребовать не смеет... Только держать стал не так... Грызёт за всяку провинность. Да Егорка в дело-то влез, где есть что — получит прежде Монса... Тот станет требовать на свой пай, а этот — грубит...

— Да он бы его куда ни на есть усудобил, — высказал ключник, — стоит барину захотеть... так...

— Да говорю — не слышишь, что ль?.. Усудобить-то нельзя... Подтибрил уж и не держит при себе, а распорядился через третьи руки доставить кому повыше... "Только он тронь меня!" — говорит.

Ключник замолчал было, да тут же и нашёлся:

— Ты, Фома, много лишнего врёшь... Ужо коли мне подсунешься под сердитый час, я те, голубчик, спроважу за болтовню такую... в Преображенское.

— Видно, захотел, друг любезный, чтоб покроили спинку?.. Сколько аршин на стан требуется... Ведь меня схватят, я отпираться стану — тогда за тебя: докажи извет... И встанут самого!..

Ключник вскочил проворно со скамьи и оставил болтуна одного.

Фома струсил.

Думая, не пошёл ли ключник выполнять свою угрозу. Фома — тихонько в сени... Нет никого. На двор, на задний — и там ни души. Мимо конюшен в переулочек, на заднюю улицу — да и был таков. Прибежал к себе и заперся.

Вот сумерки наступили. Вот и ночь.

"Чего доброго, — думает Фома, — ведь ночью втихомолку забирают... Донос коли — ночью и придут да и схватят. Дай-ка я ухоронюсь у приятеля... К кому бы надёжней? Дай Бог память... У Мишки Поспеловского? — там нельзя... многолюдство. К Прокофьичу? — семьяща... бабы проговорятся, да и неловко остаться... совсем неловко... К Суворову?..-Один живёт он... всего лучше... Только бы дома застать... не заперто бы было".

Дошёл по задворку: темно. С крылечка дверь в сени не заперта. Вошёл и

ощупал дверь в избу. Потянул за кольцо — отворилась. Вошёл — в избе темно. У самых дверей в избу был у Суворова тёмный чулан, а рядом дверь в каютку тёплую, за печкою, где спал Иван Иванович. Впотьмах Фома ощупал дверь чуланную и, отворив её, напрасно искал кровати. Шаря по стенам, он все попадал то на армяк, то на кафтан и догадался, что он в чулане... Да новая беда — дверь заперлась, и её никак не мог он найти, сколько ни ошаривал.

Вдруг слышит тяжёлые шаги, по крайней мере, двоих, если не троих. Фома и примолк; благо надёжно ухоронен; опустился — мягко; попробовал — пара новых полавочников стёганных. Ладно, думает, можно и завалиться. Так и удобнее, чем сгибаться в чулане. Сзади была лестница наверх, и под нею чем дальше, тем меньше высоты от пола.

Однако хозяин вернулся домой — вот блеснул огонёк на стенке против самого носа Фомы. Видит он: оконце в избу прорублено. Вошедший, высекши огонь на трут, свечку нашёл и зажёг, да и потащил кого-то, словно пьяного, волоком.

— Ишь ты, какой грузный... провал те возьми! — вполголоса, про себя молвил тащивший.

По голосу узнал Фома Михея Ершова.

"Кого же это он волочит? Выйти бы, — подумал, — да посмотреть". Да и раздумал опять. "Коли спрятан надёжно я, к чему выходить?.. Ну их; как ключник вздурил в самом деле: подал извет?" И прежний страх взял Фому.

Остался и прилёг. Попробовал — что-то лежит в кармане. Запустил легонько руку и ощупал штофчик анисовой, что подарил ключник спервоначалу, когда вёл к себе ещё да завернули в кладовую.

Вот, ворочая грузного пьяного, Михей, как можно было заключить из его убежища Фоме, справился-таки — уложил. По шелесту одеяла можно было догадаться, что покрывал он спящего. Покрыл и зашагал к дверям, оставив Фому в совершенных потёмках. Шаги Михея за дверь смолкли, и Долго ничего было не слышать. Фоме припала жажда. Он зубами вытянул пробку из штофчика и глотнул: раз, да порядочно. Вкусно показалось. Не

утерпел и ещё наставил ко рту штофчик. Во второй раз вылилось в горло: и много, должно быть, да и водка крепкая; сморило вдруг Фому! Совсем обессилел и задремал.

Долго ли пробыл он в этом состоянии — почём знать? Очнулся — почти темно; а все что-то брезжит через оконце из избы, и там здорово храпят; двое уж. Так и задувают. Жажда морит Фому. Вспомнил о штофчике. Ощупал. Приставил ко рту — капли три нашлось. Остальное, должно быть, пролилось, как от второго глотка обеспамятел.

Выйти поискать разве воды у хозяина? Да выйти-то трудно: ведь напрасно уже искал двери. Эта мысль и удержала его от попытки. Впрочем, внимание Фомы привлёк в это время сперва несильный и неразборчивый лепет пьяного, потом его всхлипыванье и даже вопли.

— О, горе мне! Горе!.. Проклят я отцом... безвинно... Против его я не виноват, не я отнимал... не я жаловался — бабушка!.. Винит меня, что я Монсу служу?.. Служ-жу... Грех меня попутал... Связался... Терпи теперь за своё беззаконие... Прибегнул к покровительству... в крайности... Не знал, что делать. Дашу любил больше жизни...

— Ишь ты, мерзец какой! —прошептал, не владея собою, Фома, по голосу узнав Ивана Балакирева.

А тот, вне себя, завопил таким голосом, что и Михей пробудился в ужасе.

— О, горе мне, горе! Бог накажет меня за моё беззаконие: погубил я с телом и душу... Господи... Отпусти мне беззакония мои!

И, грохнувшись, должно быть, на колена, Балакирев заскрипел зубами и, вскрикнув не своим голосом: "Пощади!" — зарыдал и стал колотить себя в грудь. Глухие удары в ночной тиши отдавались очень явственно, производя дрожь в пробудившемся Михее и в Фоме, у которого невольно поднялись волосы.

— Не предавай меня демонам! — завопил ещё страшнее страдалец, сжав обе руки как в судорогах.

Михей попробовал окликнуть вопившего, видя, что он не в себе.

— Иван Алексеич... а Иван Алексеич!.. Что с тобою?.. Очнися, голубчик...

Но Иван Алексеич, очевидно, был в нервном припадке и бредил, не просыпаясь, хотя глаза его были и открыты.

Голова его в бессилии опустилась на руки, из открытых уст била ключом пена, а из очей лились потоками слезы, и от рыданий высоко поднималась грудь.

Заглянув в неподвижные, вытаращенные глаза Ивана Балакирева, Михей убедился, что он спит, несмотря на непрерывный говор в бреду.

— Оставьте меня, мучители лютые!.. Я переносу не по своей воле... Я демону этому, Монсу, отдан на истязание за моё преступление... Оттого и осуждён чинить мерзкие дела: переносить его цидулы проклятые... Не хочу оправдывать себя неведением... Спервоначально не знал я, что ношу... а теперя знаю... вижу гибель под ногами... скольжу в бездну... Не смею, как прежде, взглянуть в глаза государю, моему благодетелю... "Что ты мне чинишь, угодное, что ль?" — спросил бы меня он... Что скажу я? Бедный, горький мой жребий... "Ты знал ведь, кто она мне? Как же ты смел?.." И что сказать на это?.. Прости?.. Не смею... сам чувствую, что не прощения, а казни достоин я... Казни, казни... Поскорей бы только!.. Душа не может выносить больше мучений совести... Не буду отпираться... И в мысли нет, чтобы вину свою прикрывать... Те, другие, корыстью влекутся... я... гублю душу и тело, потому что осетило меня зло... а выйти из сетей нет силы... Горе мне! К чему родился я на свет— к чему?!

И он сильнее зарыдал и стал метаться. Затем, помолчав несколько — от бессилия, очевидно, он заговорил вновь и рассказал в бреду встречу свою с Петром, когда относил первую записку Монса.

— Отец Егор! — завопил он вдруг. — Не смею тебе, отчаянный, признаться в своём смертном грехе... Не смею... Вот Бог и принялся сам уже карать меня... Усадьба горит... бабушка — нищая... Отец проклял... О, горе мне... беззаконнику!.. — И тяжкие рыдания перервали слова — но это был последний пароксизм припадка. Балакирев мало-помалу успокаивался и наконец погрузился в глубокий сон.

У Михея пропал сон, и голова начала кружиться от страха. Вдруг чья-то рука, опустясь на спину, заставила затрепетать Михея.

— Это я, Фома, чего тебе трепетать? Тогда заставят трепетать перед пыткой, когда скроешь ты, что сейчас выбрехал этот пьяница.

— Я и сам думаю, что скрывать не приходится, — ответил испуганный Михей.

— Я ведь все слышал... У меня ничего не утаишь, смотри, — ехидно прошептал Микрюков для пущей острастки Михея.

Но Ершова без того уже была лихорадка.

— Мотри же, не упускай этого самого случая... Утром же, как рассветет, и ступай... доноси.

Михей показал рукою на спящего.

— Он ничего не слышит... хоть самого неси... Скажи, пожалуй, где ты обрёл красного зверя?

— Иван Иваныч где-то нашёл... Опять, говорит, заснул на улице... Тащи, говорит, ко мне; нас гонят на всю ночь работать у светлейшего князя... Положи на моей постеле, пусть вытрезвится; и сам ночуй... У меня две кровати. Вот я... и приволок. Да на силу на великую впятил; тяжёл, собака... А ты-то как очутился?

— Я-то, правду сказать, за полночь проходил мимо да толкнулся в дверку — не заперта! из сеней — тоже. Вошёл и слышу его разглагольствования. Верить ли, словно прирос я к полу; ужас такой взял... Едва очухался теперь и к тебе подошёл, чтобы предупредить о зле... Смолчать нельзя — обоим гибель... А его что жалеть!.. За чем пойдёшь, то и найдёшь.

И у Фомы уже сложился план не только самозащиты на случай обвиненья ключника, а прямой похвальбы и заявления усердия, ради которого и он высказывал будто ключнику лишнее, чтобы быть призванному для сделанья правого доноса.

Глава VI. УДАРЫ ИЗ-ЗА УГЛА

Зло имеет своё обаяние, от влияния которого не могут иногда освободиться люди, сами по себе и не способные сделать умышленно вред ближнему. Михей Ершов был из числа таких людей. Он теперь

находился в полном подчинении Фомы Микрюкова. Злые инстинкты у Фомки проявились мгновенно и в ужасающей форме, едва он понял, что может жестоко отомстить, робкого же Михея он решил сделать орудием мести. Балакирев был Микрюкову ненавистен за давнее соперничество и теперешнее повышение по службе. Лучшего орудия для своих целей не нашёл бы Микрюков, если бы и стал долго разыскивать, чем подсунутый случаем Ершов. Это Фомушка отлично понял с первого же приступа к своему плану, для выполнения которого требовались и осторожность, и умение верно бить по слабым струнам человеческого сердца. Свой страх, как известно, сообщить другим всего легче.

Ещё только забрезжил свет, как Фома уже с шапкою руке потянул с постели Михея.

— Нельзя скрывать, коли выболтал мерзавец эку вяху, — приказывающим тоном сказал ему Фома. — Делать неча. Надо объявить, что такие речи баил.

— Да, таки речи, что у меня последние волосишки поднялися дыбом. — поддакнул Михей, вставая и берясь за сапоги.

— Не то ещё будет, как утаишь... на дыбу встанут, да знай пляши себе под кнутом.

У робкого Михея поджилки затряслись от подобной картины, и он, впадая в отчаяние, спросил с дрожью в голосе:

— Что же теперь поделатъ?

— Как что? Идти! Известно всему миру крещёному — на то заведён приказ Преображенский и при нём канцелярия тайных дел... Идти и объявить... Так, мол, и так... Слышал я... и боюсь скрыть, чтоб в ответе не быть за чужое дело.

— Известно, дело мне чужое... совсем чужое. И почём знать мне, провал его возьми, Монса какого-то, да шашни там, что ль... А тут отвечай?! А за что про что — не спрашивают... А я почём знаю...

— Не говори, что теперь не знаешь... не знал попрежь, а услышал — значит, знаешь, и про то, что услышал, потаить не смей! Я послух... на меня шлися... во всём. Я те и до Преображенского доведу, и канцелярию

разыщем. Медлить нельзя. — И говоря это, он повёл из избы за двери одетого Ершова.

Михей одними тяжкими вздохами выражал неохоту впутываться в дело, но настойчивость Микрюкова не давала ему возможности даже сообразить и одуматься. Он, попросту сказать, тащил робкого Ершова насильно, хотя Михей и упирался от страха, усиливавшегося по мере приближения к Преображенскому.

Вот издали показался из-за длинного забора двухэтажный кирпичный дом, перед которым стояло у ворот четверо часовых с тесаками наголо.

У Михея испарился и последний остаток бодрости при виде ворот, сквозь которые редко пропускали назад раз вошедших в них. Бедняк остановился и, прислонясь к забору, стал припоминать и раздумывать: что будет говорить и с чего начать. С выражением ужаса он посмотрел вокруг себя и на Микрюкова, отодвинувшегося подальше. Минута была критическая.

Фома понял значение вскользь брошенного Михеем взгляда и поспешил на помощь к товарищу, терявшемуся от робости.

— Что ж стал? Вот ворота... на двор да на крылечко... во втором жильё, с повети прямо дверь...

— Да в ворота-то пропустят ли? Чай, спросят: зачем и куда?.. А что я скажу?

— Ах ты, висельник проклятый! Вишь как прикинулся: не знает, как ответить в воротах? Заявить пришёл, прямо скажи... про слышанное... Так, мол, и так...

— Да что: так и так... хорошо тебе ругаться... а у меня память отшибло совсем... Хоть убей, ничего не помню.

— Значит, кнута захотел отведать, чтоб на память пришло... За этим дело не станет: сколько угодно в подспорье всыпят в спину.

— Д-да т-ты ппой-мми, лле-шший, шш-то ччиллаек нни ммо-жжёт ссло-ва ввы-ммол-в-вить, — с трудом выговорил Михей, озадачив свою трусостью и самого подстрекателя к доносу.

— Просто с этим товарищем сам погибнешь! — произнёс он вполне

искренне, соображая, что с первых же слов он способен выдать его, Фому. А хитрец, пихая Ершова, сам не хотел показываться. Такое положение во всех случаях было выгодно: ответственность нёс доноситель — если бы и потребовалось отвечать за сообщение, а послух мог сослаться на доносчика, от него слышал, а сам не знаю. В случае же награды послух тоже получал магарыч, хотя в меньшей степени.

— Вот что, слушай! — мгновенно сообразил Фома, что делать в настоящем, не предвиденном прежде затруднении. — Пойдй-ка сюда... мы порассудим вместе...

У Михея, совсем упавшего духом, отлегло от сердца, и он с радостью повернул в обратную сторону от ворот, где часовые держали штыки наголо. За обширным забором Преображенского двора был пустырь, с которого виден был домик с ельником над дверями и оконницами — царское кружало. В ту сторону для обдумывания и соображений потащил Фома Михея. Недогадливый Ершов смекнул, впрочем, это не вдруг, а тогда уже, когда они поравнялись почти с храмом Бахуса и Микрюков скомандовал: "Зайдём".

— Дай-кось нам крючок полынной! — попросил Фома у целовальника, указав глазами Михею, где сесть. Копейка с денежкой спрошены и выложены на стойку, да заказаны ещё два крючка — на целый алтын.

Пара крючков подбодрила Михея. Теперь он был в состоянии всё пересказать со слов угощателя, удовлетворившегося одним крючком, чтобы прогнать невольную робость. Микрюков уже видел, что могут и его потребовать к допросу для подтвержденья извета, и не пренебрёг подспорьем на всякий случай. Он твёрдо положил одно: не отступить ни перед чем, только бы втянуть ненавистного ему Ваньку в допросы и прочее, неразлучное с тогдашним отправлением следствий. Все распорядив и расположив в кружале под наитием винного вдохновения, Микрюков повёл с торжеством Михея к воротам. Их теперь не испугался уже Ершов, ответив на спрос часовых довольно бойко:

— В канцелярию тайных дел.

— А ты куда, служба? — спросил старший на карауле у Микрюкова.

— Я послух!

— Идите.

Вот и поднялась пара героев по отлогой, хотя некрасивой лесенке на второе жильё. Запахом сырости, угара и гнили обдало доносчиков при входе в тёмный коридор. Из него был проход в раскрытые настежь двери мрачной палаты, где заседал страшный приказ, хотя и сократившийся до канцелярии с одним повытьем, но не утративший силы. Вступая в открытые двери и подбодрённые Ивашкою Хмельницким, доносчики утратили значительную долю первоначального мужества, а спрос — кто и зачем? — окончательно отнял отвагу, поселив в Михее одно желание: как бы отделаться счастливо.

Фома чувствовал почти то же, но его упорство поддерживало злобное намерение сделать вред Ваньке.

— С доносом, что ль? — подсказал протоколист замедливших ответом.

— Д-да! — ответил чуть слышно Михей.

— Я, государь, привёл этого самого человека, прослышав от него о зело вредном деле, — поспешил заявить Микрюков.

Он и здесь постарался выгородить себя от тяжести ответа, выставляя свою заслугу не просто послуха, но и побудителя донести. Но эта роль для него ограничивалась подтверждением слов, слышанных от доносчика; за справедливость же их отвечал не послух, а доноситель.

— Какое там вредное дело прослышал? — громко крикнул недовольный, что его обеспокоили, секретарь и дал знак подойти к его столу.

Фома толкнул вперёд Михея, а сам стал сзади его.

— Кто ты такой, сколько лет и когда на духу был? — задан обычный вопрос доносителю.

— Михей Ершов, обойный подмастерье, пятидесяти семи лет, от службы отставлен с плакатом; а по делам требуюсь, внаём, во дворцы... коли дело бывает. Живу в Покровском, у Осипа Князева, из найма. Говел дважды: в Великом посту и в Госпожинки.

— Что знаешь? Кое вредное дело?

— Да ночевал я сей ночи у товарища с слугою государыни царицы

Екатерины Алексеевны, что Балакиревым прозывается, и оный Балакирев, проснувшись аль и так, что ль... спросонья... говорил многие речи... зело... показались мне... вредительные чести государской... персоны такой великой... якобы Монц имеет... близкое обращение и... силу великую ради того... самого... у её величества... и будто бы оный Монц все берётся делать... и до его не принадлежащее, и посылает того Балакирева во все... и забирает поминки большие... и явное неправосудие оказывается и... и...

— И мошенник оный, Иван Балакирев, все берётся сам сделать силою своею у Монца, — не утерпел ввернуть Фома.

Секретарь посмотрел на говорившего молча и только сердито крикнул на Михея:

— Дальше что?.. Городишь ты непутное... Дело говори, да толком...

— А Столетов Егор, что прозывается Монцовым секретарём, утащил одно письмо к Монцову тому самому... от высокие парсуны... сильненькое письмо.

— Вредительное зело чести великого государя, — вставил опять, глядя злобно, Фома.

— Ты молчи... Сказался послухом, а говоришь иное, чем доносчик. Мы тебя особо спросим... А теперя отвести его в передний номер, покуда этого я спрашиваю, — отдал приказ секретарь.

Вошли двое сторожей и вывели Фому, не ожидавшего такого сюрприза. Сторожа взяли в коридоре Микрюкова за руки и проводили в угол, а там втолкнули в каютку с узким оконцем и заперли дверь.

Оставшись один наедине с Михеем, секретарь спросил его:

— Отчего же разногласие у тебя с послухом?

— Не знаю...— ответил простодушный Михей, — я говорю, что слышал, а что он такое тут молвил, я того не знаю...

— Да ведь с твоего же сказа ему взбрело на ум, что тут вредительные... злые дела?

— Н-нет.

— Да как же он говорит, что слышал от тебя? Как ты рассказывал...

— Чево мне, государь милостивый, ему рассказывать. Он тут же был, как Балакирев во сне, что ль, плакал, и кричал, и жалился... а как я привёл и положил хмельного этого самого Балакирева... с вечера, его, Фомы, не было... А тут он явился... и угрожать мне стал: чего смотришь?.. Вишь, мне, говорит... нельзя не донести... А я, что слышал, в памяти у меня... то и говорю твоей чести... Истинно... не ведаю... есть ли тут вредное что... аль нет... а настрашал, что достанется, коли умолчу... и привёл сюда... он же, Фома.

— Какой же это, выходит, послух? Да кто он?

— Кто?

— Да тот, который тебе говорил: донести?

— Да Фома Исаев Микрюков, солдат гарнизонный, что здесь со мною был... и вы его велели увести...

— Он это и есть?.. Так как же он сказал, что от тебя только слышал, а не сам...

— Опять же я не знаю... ваше степенство... Как Богу, так и тебе говорю истинно, только что слышал... А Балакирева этого я взял — Иван Иванович Суворов, товарищ, велел... Нашли ночью хмельного на улице... И говорит мне Иван, сведи да уложи... чтобы не случилось никакого худа слуге государыни... А я его знаю по словам же Фоминым... что описывал нам его дурно, а по мне, человек спяна может болтать и незнамо что, — заключил мнимый доносчик, разведя руками в знак полной своей несостоятельности судить в важности доноса или вреде от слов Балакирева.

— Ты, любезный, совсем сбиваешься в речах... Пришёл донос учинить, а пересказываешь слова подлинно пьяного, где связи нет; а есть и правда, что господин камер-юнкер в силе большой. Да нам до его и досягнуть не приходится. Кому и что вредительного — ты не сказал. В чём же донос?

— Я что слышал, то и говорю... Балакирев плакал и вопил, что связался с Монсом и чаёт себе беды впредь, что ль... не переспрашивал ведь я его и не говорил ничего ему. Фома не велел ему ничего говорить... а донести, что слышали... Здесь уже спросят.

— Да кого и о чём спрашивать, скажи ты мне? Пьян, говоришь, был этот, как его там?

— Балакирев.

— Ну, Балакирев — пьян был и вам шептал, что ль, жалуясь на безвременье своё?

— Не жаловался он на безвременье, а прямо вопил и каялся: "Черт, — говорит, — связал меня с Монсом с этим, мой грех, — говорит, — погубил я себя... отец проклял..."

— Ну и загородил опять чушь... Я спрашиваю, толком говори: о чём доносишь?

— Да что слышал... коли это самое не велено скрывать... Я не знаю, что тут...

— Кто ж тебя научил, что здесь таится что-нибудь вредательное для чести государственной?.. Ведь ты это говорил. Ведь записано в протоколе так? — спросил секретарь у молчаливого протоколиста.

— Так... да про письмо к высокой парсуне... сильненькое — что другой сказал — записано.

— Что записано — ладно... Для улики... дураку, вралю непутному: не знает, что брешет и кого задевает.

— Да я, ваше степенство, — умоляющим голосом начал Михей, — докладую твоей пречестности, что моё дело донести, что слышал, а говорил, чтобы всенепременно не утаити, затем что вредительно высокой парсуне — Фома этот... Я поверил ему со страху — службу он должен знать, коли в солдатстве. А есть ли тут что, я, по простоте по своей, не смекаю и, бояся ответа за утайку, пришёл.

— Ну, значит, ты как есть простяк, а тот, что я смекнул сразу, плут, и вор, и заводчик злу сущий и первый... Следовало бы тебя уму-разуму поучить — десятка два палок влепить, чтобы дурости с чужих слов не забирал... Да вижу твою простоту...

— Помилуй, государь, не погуби! — завопил Михей, бросаясь в ноги секретарю, очень довольному результатом своей остратки. Он и не думал вдруг прибегать к наказанию, а только пощупал, так сказать,

почву, на которой создан донос. Из смысла слов пьяного получались одни намёки, до того тёмные и неопределённые, что благоразумная осторожность прежде всего требовала от следователя изловчиться — добыть более существенное. А от кого добыть это существенное? — возникал вопрос самый щекотливый.

Главный доносчик оказался несостоятельным орудием другого ловкача. Да и правда ли, что тот солдат что-нибудь знает и значит? Речь шла по намёкам о такой высоте, где без особого полномочия тайной розыскных дел канцелярии не след было и носа совать.

Умный секретарь крепко задумался, соображая, с чего начать.

— Сядь туда за печку, да чтоб не видно тебя было отсюда, где стоял! — отдал он наконец приказ пришедшему несколько в себя Михею. — Сиди там и слушай, что будет говорить этот солдат, который напугал тебя. Слушай твёрдо и ничего не пропусти из его слов... Да при каждом слове его, с которым ты не согласен, подними руку, чтобы я видел... А я со своего места буду смотреть. Стань и подними... увижу ли я?.. Ладно... вижу! Сиди же смирно. И секретарь приказал привести запертого солдата. Фома Исаич в своём заключении уже крепко досадовал на себя, что с языка сорвались у него не вовремя слова о письме. Но делать нечего; не воротишь сказанного; нужно остеречься впредь от выбалтыванья лишнего. Услышав звуки от поворачиванья ключа в замочной скважине, Фома приготовился. Его молча повёл один сторож, держа за руку впотьмах.

— Кто ты таков, где служил и служишь? Давно ли на службе? Когда на духу был и сколько от роду? — прочёл протоколист вслух, как только поставили Фому перед секретарём.

— Фома Исаев Микрюков, в солдаты взят в семьсот четырнадцатом году, из дворян; в Невском полку служил спервоначалу, а с восемнадцатого году в здешний гарнизон прислан в третью роту. А в наряде по Кремлю-городу состою, у Троицких ворот, у машкаратных пар, у прислуги. Тридцати трех лет; на духу в Москве, за недугами, не бывал, кажись...

— Какие недуги помешали... и где записан в неговевших?

— Разные недуги... ноги болели по весне, а допрежь того и первый год трясовицею болел; а в приходе не знаю в каком значуся... Живу из найму... не в одном месте.

Секретарь молча, пристально глядел ему в глаза и, бросив случайно взгляд за печку, увидел поднятую руку Михея.

— Ты все врёшь и путаешь... Говори дело. Враньё тебе будет стоить палок... Как попал в Москву, ты не сказал?

Фоме этот вопрос попал, что называется, в жилку. Он никак не хотел открывать, что за штраф переведён, и соображал, что ответить.

— Как же попал? — повторил более настойчиво секретарь и уже стал внимательно смотреть за печку.

— Я попросился к родне своей ближе, в Москву.

Рука Михея поднялась.

— Ты врёшь!.. Перевели, верно, за провинность? — заметил секретарь.

— Моей провинности не было... оболгали, будто бы я стянул скляницу в саду у святейшего...

— По протокольной записке сделать запрос в гарнизон: есть ли солдат Фома Микрюков, почему он сюда переведён и как себя ведёт — коли нанимает жильё сам, а не при роте состоит! — отдал приказ секретарь, и протоколист быстро записал.

У Фомы помутилось в глазах.

— Ты все путаешь, — продолжал секретарь, обращаясь уже к нему. — Говорил, что со слов товарища слышал, а не сказал, где и когда?

— Сегодня утром пришёл ко мне Михей, доносчик, значит, и спрашивает совета: как тут поступить?

Рука Михея не только поднялась, но даже задвигалась в воздухе. Секретарь понял в этом движении полное отрицание возводимой на него напраслины.

— Да как же, если он тебе пересказывал, спрашивая совета, здесь-то другое заговорил, с твоими словами несогласное?

— Должно быть, со страха перепутывать он стал. И, сюда идя, заводил он меня выпить... может, и меня разобрал хмель, не то сказывал, что

хотел, в беспамятстве...

Рука Михея опять замотала отрицательно.

— А-а, вот ты какой гусь... Совсем плут... и все воровские уловки знаешь... Вишь ты, запомятовал и в хмелю перепутал? Изрядно!.. Отрезвить память нужно... Эй, двое, сюда!

Пришли те же два сторожа.

— Стяните с него мундир, и пустим палки в дело... Без них с этим вралём правды не добратся!

Растянули и приготовились.

— Говори же истинную правду... не думай меня провести; я тебя насквозь вижу. Заруби себе на носу, что при каждой твоей попытке солгать я буду знак давать, чтобы палки работали... С тобой я не намерен шутки шутить... Говори же сподряд все, ничего не утаивая; что с тобою было со вчерашнего дня?

— Я... на службе был... Освободился — к приятелю зашёл... от него домой... ночевать... утром к Суворову завернул и увидел Михея Ершова, и он мне сказал...

Рука Михея сильно задвигалась.

— Бей! — крикнул секретарь...— Я из тебя выколочу ложь и извороты...

— Ой-ой! Батюшки, помилуй... перед утром, говорю, к Суворову зашёл и услышал от Михея...

— Бей!..

Удары посыпались скорейшим манером, и от боли Фома, прося помилованья, обещал все рассказать сподряд — правду. Палочники остановились, а Микрюков поспешил подняться и заговорить скороговоркою:

— Виноват, государь. Был я вчера у ключника в доме князя Михаила Михайловича Голицына, и слышал я там речи неладные про Монса... заспорил и перечить стал... плуты, челядинцы, ключник главный, стали меня бить. И они, сокрывая своё воровство, грозили, коли я перескажу их речи аль до начальства доведу, на меня показать, будто мои слова эти самые про то причинное вредное дело до чести великого государя... и,

убоявшись их угроз, я пошёл к Суворову и у него ухоронился... И все слышал, как пьяный Балакирев воем выл и причитал таково жалобно про свою погибель у Монса... и про письмецо "сильненькое"...

— Вали его и катай... покуда не признается... что ложь дерзкую изобрёл... Видно мошенника, как есть... Нагородил теперь новое совсем, а правды и тут не сказал.

А сам глядит, не покажется ли рука Михеева. Она не поднимается, однако, а пока валили Фому палочники, он взмолился, что все ответит вправду, только бы не били.

— Хорошо, подождём... Оставьте его... не уходите только! — крикнул секретарь. — Отвечай на мои вопросы...

— Изволь, государь, спрашивать,-ответил Фома.

— Для чего же тебе в чужой дом уходить, коли ты не виноват?

— Боялся я... ушёл от побоев холопских, да, думаю... со злости донесут... схватят меня ночью, дома... дай ухоронюся инде...

— Совсем мошенник!.. Вот что я тебе скажу: не на того ты напал, чтобы не понял я: что ты такое есть... Признавайся прямо, стало быть... Со слов пьяного чтобы донести, нужно иметь к тому особые побуждения... Эти побуждения твои выказываются в плутне подвести другого и стать в послухах, когда зачинщик доноса ты самый и, видно, подстерегал того пьянчужку... если сам ещё не наводил раньше на похвальбу своею силою у камер-юнкера.

— Я от него не слышал этой похвальбы... другие говорили... Все говорили.

— Кто другие? Кто все?

— Я слышал от голицынского ключника... от Мишки Поспеловского, от Ан...дрюшки...

— Про письмо-то кто говорил тебе, или сам изобрёл?

— Я только...

— Ну, что только? Приврал к словам пьяного?! Да?!

— Может, и так... запамятовал я... все смешалось от страху... как пьяный вопил: "Погибель мне от Монса"... Я столько же, как и Михей, в страх пришёл... И так мне ужасно стало... что нам будет, как промолчим; а

дознаются потом? И спросил я: "Что думаешь, Михей, плохо нам?.." Взяли да и пошли... и донесли вам.

— А зачем учил ты Михея, да подносил ему... да нащёптывал, что говорить... да зачем спервоначалу послухом сказался, а не доносчиком... и подстрекателем?

— С простоты своей... струсил очень.

— А домой не заходил зачем? Очутился там, где пьяного спать уложили?

— И про то про все докладывал: ключника с челядинцами голицынскими я побоялся...

— Г-м! Изрядную сказку ты нам рассказал... А коли на очной ставке извет на голицынских людей не подтвердится, тогда — что?

— Известно, они, коли спрашивать станут, злость свою на мне выместят — свалят свою вину.

— И Михей, твой товарищ, тоже, знать, злость на тебе, что ль, вымещал?

— Нет... Ему за что на меня клепать...

— Так как же его показание с твоим рознить?..

— Уж я не знаю, как... Теперя правду сказал я... слышали мы оба... пьяный бормотал исперва... потом выл да причитал... Монса винил и каялся.

— А кому пришло в ум доношение сделать?

— М-мне, ммо-жет... пришлось высказаться, и Михей хотел... знает, умолчишь — достаться может.

— Чтобы закрыть себя от других плутней... Гм! у Голицына с дворовыми про что ты врал? Про Монса тоже?

— Они это самое говорили... я слушал, д-да... невмоготу стало... перечить зачал и — все на меня...

— Да ты прямо на мой вопрос отвечай: про Монса речь тобою велась?

— Д-да... кажись, с того самого начали, что дела он делает большие.

— Гм! Тебе, вишь, дело до всего есть... Совок ты во всякие художества... И письма ты припутал... Мишка какой-то тебе рассказывал.

— Поспеловский слуга... того самого господина, что денщиком бывал али теперь, что ли.

— Гм! А ты его-то слова да на бред пьяного своротил, и вышла околесица.

— Может, я ненароком... с языка сорвалось...

— А на очной ставке с доносчиком, товарищем своим, и ещё что-нибудь другое выскажешь? Припомни-ка.

— Все как есть припомнил... Иного сказать не приходится.

— И стоишь ты на том, что доносить вздумал со страха, а не ради скверного прибытка... за обещанную награду за правый донос?

— Н-нет... простотою своею про награду и не слыхивал я; а, избываячи лиха, чтоб в ответе не быть, пришёл с товарищем доношенье подать.

— Чтобы лисьим хвостом след заметать того, что дворню голицынскую всполошило против тебя... Чего же иного ради ты домой не вернулся?

— Д-да... только меня там оболгать хотят, не я говорил... Они тамо непутнее загибали... не я...

— Гм! И клевета тебя в Москву привела. И все на тебя... на бедного Макара, так и валится... Дивное дело!.. Спросим гарнизонную канцелярию, а до тех мест посиди... покопи ещё, что солгать...

— Да за что страдать я буду?.. За чужую вину... великий государь велел доносить про всякое воровство и бездельство...

— Доносить верное, прямое зло... а не клепать, закрываючи свои плутни.

— Да какие же мои плутни, государь милостивый... разве что припамятовал?

— А путал-то сколько?.. Себя за послуха выдавал, коли ты зачинщик злобы и есть... Ведите его в седьмую казенку... Порожня она?

— Порожня! — ответил один сторож, тот, что замыкал и отмыкал дверь при первом заключении Фомы.

Когда вывели его, секретарь подозвал из запечки Михея и спросил его тихо:

— Никому ты в кабаке не говорил про то, про что сюда пришли вы доносить?

— Нет, государь милостивый!.. Я молчал, и, правду тебе сказать, страх меня взял спервоначалу, как потащил меня Фома. А как поднёс он

крючок и другой... я словно ободрился и опять же ничего не памятовал; переговорил он мне на пустыре, сзади двора вашего, что говорить, а потом пошли... и пришли сюда; а здесь я выбрехал тебе всю подноготную... ничего больше не знаю я.

— А про пьяного про того много слышал раньше его бреда в беспамятстве... аль спросонья, что ль?

— Говорил про него у Суворова, и потом у Алексея Балакирева все Фома же Микрюков... Что он и такой, и сякой, и мошенник, и вор... а мы с Иваном Суворовым не нашли молодца таким... показался добрый человек... и коли бы не страх... что молчать будешь — беда... не донёс бы... Может, во сне бедняга видел...

— Гм! Во сне, должно быть, и есть... Ты не моги никому не пискнуть, о чём тут говорилось... Голову можешь потерять за бредни, что твой подстрекатель изbleвал дерзостно... И подумать страшно... не токмо вымолвить, да ещё похвалялся как добрым делом?! Смекни, что своим дьявольским подстреканьем вёл он тебя на плаху аль на виселицу....

Михея забила дрожь.

— Смотри же... молчать, а то — запорю... А теперь, по дурости твоей, вlepить велю десять палок, чтобы умнее был и понял!

— Ваше степенство, помилуй меня ради неразумия! Со страху я... напугал, изверг, что смерти повинен буду, коли промолчу. Сам я не знал после того, что творил!

Секретарь молчал и думал...

А Михей, обливаясь слезами, просил о пощаде.

— Ну, пошёл вон, да не пискни... а коли попадётся вдругорядь... безо всякой пощады!

Михей уже бежал со всех ног, боясь, чтобы не отменил разрешенья секретарь, ломавший теперь голову: как поступить? Слова изветчиков записаны. Лгун-измышлятель прибран, а страх, что дальше последует, охватывает ум дельца: как и что делать по такому доносу?

Долго ходил секретарь по каморе и вдруг собрался и вышел, приказав протоколисту не выходить и составить экстракт из протокола.

Прежде всего приехал секретарь к начальнику своему генералу Ушакову и рассказал ему все, что было.

Ушаков молчал; слушал, потом долго ходил взад и вперёд и, ничего не сказав, как поступить, велел ему посоветоваться с кабинет-секретарём Макаровым.

Макарова найти было не так легко дома; однако же секретарь застал его уже на пороге.

— Я к вашей милости... по очень важному делу.

— Все важные дела до вечера... Спешу!

— Нельзя до вечера, сам увидишь, Алексей Васильич... Выслушать теперь изволь... недолго ведь — в двух-трех словах всего. Пойдём к тебе, и я разом объясню...

— А здесь, коли недолго, для чего бы?

— Нельзя... Могу с глазу на глаз только. Так и Андрей Иваныч велел.

При упоминании имени Андрея Ивановича Ушакова Алексей Васильевич Макаров взял за руку секретаря. Они вошли в кабинет к нему, в задний самый, и двери заперли. Конференция продолжалась недолго. Вышли оба советника озабоченные больше, чем вошли, и Макаров проворно стал надевать свой щегольской охабень на соболях, крытый чёрным бархатом.

— Так я от вас отписки буду ждать, — сказал секретарь, — и как получу, тогда пришлю извет.

Макаров молчал.

— Так, что ли? — повторил, добиваясь прямого ответа, секретарь. — Ждать будет мне или, не дожидаясь, вам прислать?

Они вышли за двери.

— Как знаешь... так и учини... А я переговорю, и что скажет... лучше, сам скажу... приеду нарочно.

— Да напиши; чего ездить попусту — от дела отрываться.

— Нельзя писать... Есть у меня помощничек... Замечать я стал за ним... Надвояко бьёт. Ему может попасть в руки, так... неладно выйдет... Почём знать, что у него в голове?

Секретарь тайной канцелярии посмотрел в глаза кабинет-секретарю

государеву, и оба промолчали; взгляды их были вполне вразумительны для обоих.

Каждый поехал к себе довольный. Недовольным остался только делец, который во время разговора Макарова с секретарём тайной канцелярии напрасно подслушивал у замочной скважины дальнего кабинета. До чуткого слуха привычного к этой операции дельца из фраз разговора долетали только отрывочные звуки. Он уловил ясно одно слово: извет. Когда же прислушивался затем с утроенным вниманием, казалось ему — поминались Монс и Балакирев. Впрочем, последние две фамилии он скорее, как сам думал, отгадал, чем выслушал.

Как ни скуден был сбор новостей, извлечённых из подслушанной утренней беседы секретаря тайной канцелярии с кабинет-секретарём, вечером в этот день делец входил с самодовольной улыбкою на крылечко каменного дома ревизора Московской губернии генерал-майора Чернышёва.

— У себя Григорий Петрович? — спросил он у кого-то, проходившего впотьмах.

— У себя, кажется, — ответил женский голос.

— Да вы это, Авдотья Ивановна?

— А небось это ты, Ваня?

— Я самый...

— Поджидал тебя ещё вчера старик мой... Да подумал: видно, нет ещё ничего...

— И есть, и нет! Как сказать?.. Куда войти-то?

— Да всё равно... коли ненадолго... Я вызову Григорья... у меня посиди... Впрочем, у него нашинский же, Павел Иваныч... и при нём можно все говорить. Пойдём... Дай руку, тёмненько у нас здесь... Того и гляди, стукнешься об матицу... Ты же высоконек-таки!

Впотьмах поймал гость руку хозяйки и при её помощи выбрался счастливо из коридорного мрака на свет, в хозяйскую каморку.

— А! добро пожаловать! Поджидал я тебя, Иван Антоныч, завчера ещё... говорю Авдотье: видно, ничего нет... что не едет.

— Да видите... Алёшка теперь подозрение возымел и мне ничего не даёт, кроме перечня указов... Одначе смекаю я... один доносик, должно быть, прилетел к розыскным делам. Сегодня рано прискакал секретарь из Тайной и Алёшку прямо увёл в заднюю — шушукаться. Говорили недолго, а вышли не в себе... Сдавалось мне, словно помянул секретарь Монсово имя и Балакирева... Значит, откуда ни на есть, а с нашего берега удочка запущена... Не смею прямо уверять, подождём; секретарь, кажись, сказал, что пришлёт извет, когда получит приказ от Алёшки. Приказа этого писать не даст он мне, понятно... а я буду караулить, как бы в лапы извет залучить... Коли Алёшки не будет в конторке, и ко мне попасть может.

— Давай-то Бог! — с нескрываемым интересом отозвалась Авдотья Ивановна, не могшая хладнокровно переносить остуды к себе того, кто недавно ещё верил ей безусловно и шутя называл неспроста "Авдотья бой-баба!". Бой-баба была на все руки и валяла вовсю, что называется... Черноокою Екатерину Алексеевну она считала все же своею соперницею, хотя была счастливой и изворотливой, но по части амурных дел ничем не выше себя... За Монсом и его возвышением в придворных сферах и Авдотья Ивановна, и все терпевший из-за честолюбия, если не выгоды, достойный супруг её следили с особенным интересом.

Афронт у державного, конечно временный, потерпела "бой-баба" опять едва ли не по милости Монсовой старшей сестрицы Балкши. Она развезла всюду по знакомым домам басню о том, что Авдотья Ивановна выпустила молодца одного с заднего крыльца, когда с парадного входа стучался высокий покровитель. Понятно, что Авдотья Ивановна обрадовалась случаю отомстить врагу. Она рассчитывала в этом случае на непременною помощь Павла Ивановича Ягужинского, который был на ту пору больше чем друг дома у Чернышёвых.

К сближенью его с ними было много очень уважительных поводов. Меншиков шатался, втянутый в процессы, и Павел Иванович, хотя-нехотя, должен был искать поддержки в другом лагере, а там член военной коллегии Чернышёв был влиятельный туз из умеренных. Его к

тому же считали в некотором роде потерпевшим от женских интриг. А ни чему иному, как их же влиянию, приписывали даже и самые процессы 1718 года, когда в своём роде оппозицию выказали все столбовые тузы, начиная с Долгоруковых и оканчивая благодушным рыцарем правды — Голицыным. Тогда и Апраксины уплелись не без потери значения. Даже первый из иерархов был заподозрен, и все русаки, кроме выскочек, остались в тени. Тем не менее они успели выдвинуть во время празднеств по случаю Ништадтского мира князя Кантемира. Вот монарх, жаждавший новизны, стал часто посещать семейство его, обнаруживая скуку и неудовольствие, дома, холодность к Меншикову. Этим умели воспользоваться как нельзя лучше Монс с сестрицею.

Алексей Макаров, вологодский посадский, всем обязан был Меншикову и Екатерине Алексеевне и, конечно, стоял на их стороне. Противники же Монса прибрали к рукам помощника Макарова. Это, впрочем, не утаилось от ловкого Алёшки, и стал он ухо держать востро: неприязни врагу не показывал, а только, соболезнуя его немощи, начал давать ему поручения. Бывали из них и доходные подчас, отвлекая корыстью из конторы, чтобы меньше торчал там да меньше запримечал. Но Черкасов был тоже не промах. Он стал подсматривать и подслушивать через других, сам являясь изредка. Ничтожность добытых результатов не лишала терпенья наблюдателя, а скорее подстрекала его, щекотая нервы приманкою далёкого успеха.

Когда Иван Антонович передал все им слышанное и свои догадки, Чернышёв усомнился.

— Я это все хорошо и близко могу разузнать от человека, мне преданного, — сказала Авдотья Ивановна, — это не иной кто, как Лакоста, сам имевший виды на Ивана Балакирева. Он успел было его совсем отвлечь от мерзавки Ильиничны; да устроила она при поездке в Ригу так, чтобы Иван взят был с одной её племянницею... Ну и...: понятно...

Чернышёв барабанил молча по столу, ничего не говоря, но исподлобья глядя на Черкасова, — что он скажет.

— Моё мнение: действительно, — начал говорить, подумавши, Иван Антоныч, — коли Лакоста наш — через него за двоими разом наблюдать, за Ильиничною и за Монсом... Что же касается слуги Балакирева, знать нам всю подноготную о нём — ни алтына не прибавить к сути нашего дела.

Ягужинский, посмотрев на хозяина и на Черкасова, сказал ему:

— Ты, Иван Антоныч, недогадлив страх как, а ещё стараешься объехать плута своего Алёшку... Куда тебе... коли не видишь, что в этом-то проныре и главная пружина... С его изворотливостью все шашни будут шиты да крыты, и сам вывернется, и других научит. Твой хвалёный Егорка в подмётки не годится ловкачу Ивану; затем он и оттерт остаётся... Ты, голубчик, не сердись, а старайся от Столетова больше узнавать да учи его во что бы ни стало хапнуть такую вещицу, чтобы в улику годилась... Можешь за услугу эту прямо обещать: в кабинет взять!..

— Конечно... стараться буду... почему не стараться?.. Да вы, Павел Иваныч, плохо знаете этого бездельника Столетова: он ведь болтун и хвастун больше, чем дельный парень. Посули ему только к нам взять, он напьётся с радости пьян да все и выболтает... Да взять его, даже я вам скажу, не выгодно будет нашему делу, — раздумав и ожидая в Столетове найти соперника, начал уже отговаривать подозрительный Черкасов.

— Его как раз приберёт к рукам Макаров на нашу же голову. Ведь и теперь он к Алексею Васильичу больше льнёт, чем ко мне; все магарычи вместе делят.

С последним положением все согласились, и Черкасов, успокоившись, замолк. Тут Чернышёв вдруг привскочил с места от дельной мысли, редко приходившей ему в голову.

— Вот что я надумал: в гарнизоне здесь считается по спискам какой-то Балакирев? Узнать бы, не роденька ли он монсовскому... Его бы приставить, по родству якобы, к детским хоша комнатам... Он бы и наблюдал... и доносил нам, что усмотрит.

— Из этого ничего не выйдет... Знаю я, о ком вы говорите... Сержант Балакирев даже не только родня царицыну юрку, но отец, да проку ни на

грош в нём и со всею его ненавистью к Монсу. Он человек безалаберный, пьющий, завсегда у Андрея Апраксина... Будет ругаться, пожалуй, а запримечать не сумеет... Да и не дадут его вам ни за что пристроить к детской, прямо потому, что он не способен чинно вести себя.

— А я всё-таки его вызову и посмотрю сам...— заключил упорный в своих решениях Чернышёв.

Военный ревизор, как известно, всякого военного чина может к себе потребовать на смотр — так и в старину было.

Вызванный Алексей Балакирев явился, теряясь в догадках, зачем его требуют.

Вот доложил вестовой, и генерал потребовал его к себе.

Вытянувшись в струнку, отдал честь Алёша наш угрюмому служаке, принявшемуся долго в него всматриваться. Политик Чернышёв подбирал в это время слова для начала своих спросов. Думал-думал и вдруг спросил:

— Есть сын у тебя?

— Есть... да лучше бы и не было.

— Что так?

— Да не сущее ли наказание иметь сына — слугу самого злейшего моего врага?

— Как так?

— Да сын мой у государыни служит, а живёт и плутню творит заодно с Монсом... а тот...

— Не люб, должно полагать, тебе?..

— Что не люб... ничего бы ещё... Что я значу, чтобы замечать мою любовь или нелюбовь... Он, Монс, вечно был злодеем моим... из-за его злобного наговора великий государь в Азове держал меня чуть не пятнадцать лет; в ссылке — не в ссылке, а на то похоже. Воротился я... государь помиловал, обласкал; а этот мерзавец, Вилька, опять подвернулся — хотел сызнава пакость учинить... Слава Богу, покойник Александр Васильич Кикин не выдал... Дай ему Бог царство небесное!

— Да, брат, — вздохнув сочувственно, отозвался Чернышёв, — и я

Кикину царствие небесное должен пожелать. И для меня он был хорошим человеком... Погорячился великий государь, крутенько свернул этого человека... а уж что за голова была!.. да авось Бог зачтёт за страданье царевича, за иные грехи и помилует раба своего Александра... Так мы, братец, — как имя и отчество? — совсем наших стариковских правил... Добро помним! И ладно, что спознал я тебя... захаживай почаще к нам... мы хоша и в енаральстве теперь, а русаков и нижних чинов не обегаем... Призвал я тебя на очи — не вижу, где ты пристроен... и хотел спросить не через посредство чьё, а прямо — я, видишь, простой человек, а ты не перестарок ещё — не хочешь ли должность какую взять?.. Жалованье положим и поведём как-нибудь подальше, может.

— Да я доложу твоему благородию, великий благодетель, что эта самая азовская служба отбила у меня охоту в чины добиваться... за пустяк могут человека в бараний рог согнуть, да ещё упрячут невесть куда.

— Ну... как тебе сказать; конечно, бывает вгорячах, да ведь дознаются и вознаградят за безвинное страданье... Государь правосуден и милостив.

— Да мы-то неразумны... вот, к примеру сказать, и я служил... как воротили меня, государь и спрашивает: "О чём хочешь проси — сделаю!.." А я думал по-старому: попросил правосудья у князя-кесаря. А у его те же подьячие плуты всем ворочают. Моё дело повернули так, что из правого стал виноват, да и то обобрали бесповоротно, чем владел до суда бесспорно...

— Ну, о кесаре и говорить, братец, не велят; и сам я знаю, что этот кесарь дурачливее глупца батюшки, хоша и не Бог весть как давно, словно слон на воеводстве, засел... Так ты, сердечный... коли отсудил у тебя все кесарь, этак... может, нужду имеешь?.. Я истинно хорошему человеку рад сделать добро... коли хоть, ответственности у тебя не будет никакой и при военной коллегии числиться можешь, а в разъездах состоять при мне будешь... по поверке военных дел Московской губернии...

— Премного благодарствую, отец милостивый, на приятном обещанье... Коли Бог те на душу положит нашему брату вспомочь так, как изволил

высказать, записать меня, — вечно Богу молить буду за тебя.

— Так прихаживай ко мне прямо... на очи пустят; я велел уж. А насчёт определенья — сегодня же сделаю... А ты, голубчик, разузнавай, коли что услышишь про своего недруга.

— Про Монсишку изволите, что ль, говорить или нет?

— Про его самого... какие его художества?

— Да много обещал про его художества солдатик один гарнизонный мне ономнясь порассказать, да что-то запропал... Как найду... выпрошу и все доложу, буде слушать изволит твоя милость...

— Разыщи, братец, разыщи... Ведай, я сам не меньше его ненавижу, как и ты...

Алексею Балакиреву последние слова хитрого Чернышёва показались слаще манны небесной. И пустился он по всей Москве разыскивать Фому Микрюкова.

Забежал к Суворову, по виду его несколько всполошённого чем-то.

— Что ты, Иван Иванович, здоров ли?

— Слава Создателю, здоров... а что?

— Да пахмур мне показался... несурражен...

— Да с чего радоваться-то... Того и гляди, под видом знакомца подъедет какая стерва вроде солдата, к примеру сказать; помнишь, что родственника-то твоего честил так, что я ушёл поскорее...

— Как не помнить?.. Его-то я и ищу... обещал мне про Монсовы плутни рассказать впредь, а все отделявал моего сына непутного... Ты знаешь, где найти-то его?

— Голубчик мой, лучше и не спрашивай... Он ведь злодей и предатель... Михея Ершова приволок в розыскную канцелярию донос делать на твоего сына, да сам, кажись, и попался... Михей и говорить боится, где они были... Рад день и ночь Богу молиться за то, что удалось шкуру унести, не полосованную кнутом... Для Бога, ты об этом проходимце не выпрашивай... Подумают, что ты из конфидентов его — и тебя засадят...

— Спасибо, что сказал... Иван Иванович... Так его засадили, говоришь. Да правда ли это?.. За что тут садить? Сын мой непутный... не велика хря...

Не сегодня-завтра повесят... с Монсом на одну их верёвку... Экой бедный!.. За что могут посадить! Скажи на милость?

Суворов поспешил уйти от начатых сержантом разглагольствий, досадуя на себя, что сказал ему и про солдата, не зная, как примет он это. Ведь его же от доброго сердца хотел отвести от беды — и вот он какой. То-то так скоро и подружились!..

Сержант, оставленный Суворовым, пошёл искать Михея Ершова, соседа своего; но и он, — должно быть, уже предупреждённый Суворовым, — поспешил скрыться. Так что нигде не мог его найти Алексей: ни в кружале, ни у сытника, куда заходили нередко медку испить, ни в обжорном ряду, где обедали не раз. Обегал все места усердный Алексей, а где ни спрашивал про Михея, слышал одно: "Нет; не бывал; не знаем".

А тут и вечер наступил. Зашёл к Апраксину; накормили и спать уложили. Наутро приехал такой радостный Андрей Матвеевич: вишь, от императора поместья получил: часть сестриных, да за службу по пьянственному собору ранг при дворе обещан.

Вспрыски пошли; сегодня — пир; завтра — похмелье, и... неделя вся.

Отрезвился наконец Алёша. Амуницию отчистил и — к Чернышёву.

Доложил. Подождать велел. Царь тут — нельзя. На родинах был государь и в кумовья сам назвался. Велел крестить в Петербурге, и дела здесь сдать, а в коллегии военной до времени не быть — в Адмиралтействе должность занять.

Приёмы высокого гостя протянулись до вечера. Освободившись, генерал позвал к себе Алексея.

— Здравствуй! Я зачислил тебя в коллегию и беру с собой в Питер. Готовься. Послезавтра едем.

— Не могу я так скоро, милостивец. Позволь мне после прибыть, и чтобы в абсиде прописано было, куда явиться должен. Да времени, примерно, недели две на сборы.

— Хорошо.

— А может, найду солдата того... что докладывал Монсовы дела...

Верного ничего не говорят, а слышно, никак, в розыскной у тайных дел посажен. Вам, коли пожелается доподлинно узнать, запросить бы из коллегии эту самую розыскную канцелярию...

— Подумаем, как это сделать, в Питере. Не досужно теперь... там увидимся, как приедешь... Должны мы поспешать, чтобы выехать раньше их величеств... Иначе лошадей будет не достать.

Парадиз петровский снова увидел царственных хозяев после долгого, двухлетнего почти, отсутствия. Новый император задумал возложить корону на свою спутницу в походах и разъездах по чужим землям и по своей, не отлагая в долгий ящик. Заказы посланы: делать наряды для государыни к коронаванию её не позднее вскрытия вод. Лето же, осень и зима в Петербурге, среди празднеств, дали немного дней Ване Балакиреву провести в семье. Он к жене был больше чем ласков и предупредителен; она тоже была послушна и тиха, но редкий день проходил у Даши без слез. Ею никто не занимался; отец, мать и муж были заняты своими хлопотами. Даже хорошо понимавшая её добрая дьяконица отъехала далеко. Алексей Балакирев прибыл к Чернышёву и жил у него, не встречая никогда сына, так как от царицы посылок к Чернышёву не бывало. Авдотья же Ивановна стала чаще ездить к Марье Кантемировой; за то и в кумовья государь изволил пожаловать пойти. Смерть царицы Прасковьи Федоровны лишила государыню ещё одной благоприятельницы. Стали возвращаться уж из ссылки бывшие слуги царевича, а дело свадебное царевны старшей затянулось. Вдруг объявление — ускорить коронацию — взбудоражило окружающих её величество. Святки прошли; маскарад на Масленице, да и отъезд в Олонец. А оттуда — прямо в Москву: короновать царицу-императрицу решил державный супруг.

Враги и друзья съехались вновь в Белокаменную к Святой неделе в 1724 году. Ягужинский с Толстым вместе заправляли приготовлениями. Дела было по горло. А удосужился-таки Павел Иванович к Авдотье Ивановне на вечерок завернуть одиночкой.

— Вот теперь твой Григорий опять в руки взял ревизию московскую —

что ж он не потребует из розыскной солдата?

— Хорошо, что напомнил... Антоныч вчера был и говорит, что секретарь снова приезжал: шушукаться с Макаровым... Смекают вороги, что Григорий Петрович против них. Алексашка Меншиков ему вздумал говорить: "Все ль у тебя чисто по интендантству флотскому... Жалуются-ста, что не отпускают сполна, что положено, на корабельную стройку..." "У меня ведомости поданы в Сенат, — ответил Григорий, — что недослано с губерний... а иного, кроме донесенья, делать мне нечего." — "То-то, смотри, — говорит. — Чисто ли?" — "У кого другого, может, где ни на есть нечисто", — выговорил мой. Князь и губу закусил.

— Ещё не так закусит... как солдата вытребуем да донесём: пусть разыщут, за что про что держали... Ты, Дуня, не запомнят: теперь самое время, покуда не спохватились да ревизии не отняли.

— А они с этой стороны не чуют западни?..

— Где им чуют!.. Чуть не на голове ходят, что удалось наладить золотую шапку напялить... отдыху не дают: скорей да скорей... Алёшка мелким бесом изгибается.

— Ещё бы!.. Антоныч говорит — состряпал и себе указ в кабинете секретаря бригадирского ранга... А знаешь новость: племянницы царские в церемонии не будут?.. Она, вишь, мысль подала, что им будет тяжело веселиться: по матери год не прошёл. А уж как хохотунье вашей Катерине Ивановне хотелось... Позволено одеться в чём хотят и на местах только сидеть... не близко... Боятся, что княжну Марью Дмитриевну тогда нужно пустить в церемонию... ведь государь покойный — тот же принц крови?

— Приехала к вашей чести, Авдотья Ивановна, Блеклая полковница, — доложила, войдя, горничная.

— Чтобы она меня не видела у тебя... Есть задний выход?..

— Есть... сюда поди...

И конференция прервалась на интересном месте.

Чернышёв запросил о солдате. Ответ получен короткий: есть в приёме, а когда нужды в нём по секретному делу не будет, придется немедленно.

— Умны бездельники!.. Прицепиться не дают, — передавая увёртку секретаря тайной розыскных дел канцелярии, молвил при новом посещении Павла Ивановича Чернышёв, разводя руками, — что дальше делать?!

— Нечего ещё разводить... не все потеряно, — отвечая на последние слова хозяина, весело вскрикнул, почти вбежав к собеседникам, Черкасов. — Вот смотрите... извет и цидула Алёшки с препровождением. Алёшки не оказалось, а Ванька принял и к вам принёс.

Все вскочили с мест и бросились к столу, на который положил Черкасов бумагу, сложенную вдвое, в конверте розыскной канцелярии. Принесённый Черкасовым документ заключал, очевидно, переписанный экстракт из допроса Ершова и Микрюкова с исключением имени Балакирева, заменённого Суворовым. Извет подан будто бы от первого лица. Смысл его значительно рознился от сказанного за год назад и, строго разбирая, не заключал в сущности ничего важного. Но для людей, способных делать комментарии, он всё же имел значение какой-то тёмной улики.

"Я, Михей Ершов — писано от лица изветчика — объявляю: сего 1724 года апреля 26-го числа ночевал я у Ивана Иванова сына Суворова, и Иван между разговорами говорил мне, что когда сушили письма Видима Монса, тогда-де унёс Егор Михайлович из тех писем одно сильненькое, что и рта разинуть боятся. А товарищ Смирнов сказал на это — Егорка-де подцепил Монса на аркан".

— Только и всего? — пробежав очищенный извет, спросил Павел Иванович Черкасова.

— А что же вам ещё?

— Да то, что здесь и прицепки нет!.. Кому есть дело, что Столетов подцепил Монса?..

— Да сильненькое-то письмо что значит?.. Монса и других спросить могут имеющие власть...

Ягужинский задумался. Как ни перебирал он, как ни переворачивал смысла приостановленного извета, ничего серьёзного, по его мнению,

выжать прямо из этих слов нельзя было.

— Спросить, однако, поименованных троих можно же? — заметил Чернышёв.

— Я вам не помешаю... спрашивайте, коли можете... Я со своей стороны только не представляю ничего путного...

— Ты спросить и должен бы их, Павел Иванович, как генерал-прокурор: только бы это не были работные люди при коронации.

— Они работные люди и есть... и теперь заняты... но никуда не отправятся...— ответил на слова Чернышёва Черкасов. — Я уже разведаль... И работою заняты были не для коронации, ведь оба дворцовые мастеровые — Ершов и Суворов, обойщики.

Ягужинский стал ходить по комнате и потом спросил Черкасова:

— А извета у вас не хватятся... Можно с собой его взять?..

— Можно, на день-другой, пожалуй... только не больше... Алёшка хватиться может... Да на что вам подлинный?.. Ведь без подписи же он, все едино. А копия — вот... Я нарочно списал и в настольной прописал целиком; так что Алёшка хоша уничтожит... а примета останется... не бесследно пропадёт.

— Все равно; давай копию... Мне ведь для допроса только.

— Значит, решился испытать: что выйдет? — сказала Авдотья Ивановна.

Прошла неделя самых горячих приготовлений; наступил и четверг за неделю до Вознесенья — день торжества, ни виданного ещё в России, Император Пётр торжественно возложил корону на главу своей второй супруги.

Описывать для читателей здесь пышность этого единственного в своём роде торжества мы не имеем надобности, но укажем только пару участвовавших в церемонии из дружеского кружка.

Авдотья Ивановна попала в третью пару замужних дам. Ей пришлось стоять в соборе на ступеньке трона, почти рядом с генерал-прокурором Ягужинским. Он был включён в отряд 68 кавалергардов и стоял в качестве капитан-поручика их с карабином в руке как охранитель тронной эстрады. Когда миропомазанная государыня вошла в

Архангельский собор, из-за тесноты прохода кавалергарды и дамы должны были остановиться у дверей, снаружи. Увидя подле себя Ягужинского, Авдотья Ивановна уронила платок. Он и она вместе наклонились, поднимая его; и дама шёпотом спросила его:

— Ещё ничего?

— Нельзя раньше конца... Подождите немного.

Немногое это, однако, растянулось на две недели. В день царя Константина по повестке были вытребованы обойщики к генерал-прокурору.

— Ты подавал заявление о каких-то сомнительных для тебя словах своего товарища? — спросил Павел Иванович первого Ершова.

— Какого, батюшка, товарища?

— Что Суворовым прозывается?

— Суворов — я, государь милостивый... Сомнительных слов я никаких с Михеем не говаривал.

— Насчёт Столетова, секретаря Монса, что украл письмо у него?

— Это я слышал, государь милостивый, и Михей также вместе со мной, от одного знакомца солдата. А тот слышал от слуги Пospelовского, Мишки, а ему — хвалился сам будто Егор.

— Что ж это за письмо?

— Мы сами не знаем, а говорил тот солдат: "сильненькое" и вредное для барина того, что Монсом зовут.

— В чём же вред?

— Да боязно вымолвить, государь милостивый... Такая околесная говорена тут была, якобы от государыни переносит Монсовы письма неладные лакей — теперь камер-лакеем повышен при коронации — Балакирев Иван Алексеев... А Егора Столетова мы знаем тоже... Человек он вздорный и самохвал не последний... Как поразоврется, так то наврёт, что ему бы не у Монса служить, а в каторге места мало... Все его подкупают... всем он одолжает... дела большие делает и все может будто сделать, что захочет, через Монса... А тому государыня ни в чём отказать не может якобы... То, значит, врёт, что волос дыбом становится.

— А ты говорил, что Столетов всему запись ведёт, что творится у Монса преступного?..

— Преступного я не говаривал, а про запись говорил со слов того же солдата, что с прошлого года неведомо где... как подавал с Ершовым извет про слова пьяного Балакирева... во сне, может, булькал человек... что и Михей не упомнит... вот он сам вам сказать может...

— Ну, говори, не бойся... Мне должен все говорить. Я над судьями судьёй поставлен... Все, что знаешь про Монса!

— Я, государь, и от Егора Столетова слыхал... Как разоврется, баит много непутного... "Мне, — говорит, — Монцов сам теперь ничего не значит... Вся семья упрашивала, чтобы прогнал меня, да не смеет... Уж схватился письмеца и знает, что у меня оно..." Вот что... слыхал от его.

— Н-ну... Я вас теперь отпущу... Разведывайте дальше про Столетова, да про плутни Монсовы... да что узнаете про Ивана Балакирева, — мне скажите... Только, коли голова дорога и за спину боитесь за свою — не пикнуть никому, о чём и про что я вас спрашивал. Не думайте от меня скрыться и не старайтесь меня ни в чём обмануть или предать... Узнаю тотчас и — беда... Тогда не проси пощады... Знаешь запрет?.. Чтобы так все и умерло.

Вызван третий, отдельно.

— Тебя Смирновым зовут?

— Борис Смирнов.

— Ты говорил, что подцепил на аркане Монса Егорка Столетов?

— Повторял слышанное... государь милостивый, от Балакирева Ивана.

— Что ж он говорил ещё?..

— Да многое говорил... и про Столетова, и про Монса.

— Что ж про Монса?

— Да близок уж очень Балакирев к нему... потому-то...

— Почему же?

— Приятные письма носит от важной парсуны... Затем, говорит, и не женится, что нельзя... Я, признаться, после таких слов и случай нашёл про своё дельце попросить... Обещал сделать... все... потому, что может...

— Ну, а ещё что?..

— Да всего не упомнишь... Хаживал я не раз. О силе Монсовой завсегда говаривали, на свободе, во Монсовом доме... барина нет, а Балакирев всегда дома, коли не пьян.

— А когда пьян, тогда что?

— Тогда норовит куда ни есть скрыться... боится во хмелю разболтать лишнее... на три ключа запирается... и не найти его нигде, не достучаться... Может, греховным делом, коли бы пожар учинился, и сгореть...

Отпущен и этот — с тем же наказом.

Оставшись один, Павел Иванович принялся писать все им услышанное от обойщиков. Все припомнил и внёс в записку, с именами говоривших и точными словами их.

Вечером в тот же день явился Ягужинский к Авдотье Ивановне и прочёл ей написанное утром.

— Распрекрасно... Вот-таки доехали парочку, — сказала она, выслушав чтение Павла Ивановича. — Как ты думаешь, если Самому подсунуть?

— Теперь?! Ничего... будь покойна... он чуть не бредит своей Катеринушкой... Не поверит... И она отопрётся, и тому беда, кто вздумает подсунуть... Нужно выждать время, когда проснётся в нём недоверчивость... когда прихворнется как-нибудь... злость нападёт... Исподволь... Смелого шута подпустить с загадками... выбравши удобное время, когда злость станет разбирать и ревность пробудится от двусмысленных намёков или полуслов загадочного смысла.

— Это уж мне предоставь, взьерошу я его как угодно!.. На стену ползет...

— Тогда умненько и отправить: в собственные руки... Может, как разберёт, и... подействует.

— Так я до времени у себя это хранить буду...

— Изволь, душа моя... Сказала ты, чтоб был гостинец приготовлен... вот я и постарался... Держи только ты обещанье теперь... смотри.

— Я ни в чём поперечки не сделаю, мой ангел, Павлушенька... На!

Целуй!

И генеральша Чернышёва заплясала с бумагою в руке.

В Троицын день увидел Макаров, отправляясь в подмосковную обедать, секретаря розыскных дел канцелярии, отвесившего ему издали низжайший поклон.

Алексей Васильич приветливо поклонился да и вспомнил, что давно спросить хотел. Он и подозвал его, махнув рукою.

— Честь твоя, государь милостивый, все ли в добром здравии обретается?.. Давно не имел радости лицезрением насладиться. Заезжал эт-то, перед коронацией, как повеленье получил извет поглаже сготовить — не улучил тебя... в конторке... Потом уже письменное получил требование от вас — и послал, а ответом, сударик, только не почтены мы. А в этом деле ответец ваш куда как нужен, для очистки. Я уж извет перевёл на нонешний, на апрель, и задору особенного, впрямь сказать, нет; все гладко... а все же что ни на есть черкните для очистки.

— Экой, братец ты мой, случай какой!.. — начиная беспокоиться от слов секретаря, молвил Алексей Васильич. — Не шути так со мной... Как ответ?.. Я не получал от вас ещё... Хотел спросить, почему не шлёте... нужное... Ужли я, не читавши, бросил в ящик к себе?.. Быть не может! Ведь куверт бы бросился в глаза... Печать ваша приметная...

— Может, за недосугом, Алексей Васильич, запомнать изволили... Всяко бывает. Не замедлите же... — И секретарь удалился.

Макаров остался озадачен. Ему прямо пришёл на ум Черкасов и его капканцы. И вкусный обед — не в обед пошёл, и не усидел до вечера, как сперва думал. Ещё засветло прискакал к себе — и прямо в контору. Стучал-стучал, кругом обошёл — ни души. Праздник, известно, великий. Наутро Духов день — опять праздник. Заперто. Нашёл сторожа. От шкафов ключей нет. Думал за Черкасовым послать — ещё хуже, явный повод ворогу дать почувствовать, что есть промах... А он может и не заприметить. Сердце заныло у дельца, и тоска напала; но скрепился. Обождал, никого не трогая, и этот праздничный день. Ходил только что твоя тёмная ночь; а ночью сна не было. Переждал до утра. Прибежал

ранёхонько. Враг уж тут. Почтение отдал, самое умильное.

— Что случилось без меня? — спокойно спрашивает Макаров.

— Все, — говорит, — записано; извольте посмотреть — вот бумаги; вот протокольная записка.

Пробегаю её, натолкнулся как раз и на извет Алексей Васильич... видит — весь прописан, от слова до слова.

— Зачем же так... необычно... новые порядки заводись?

— Я, — говорит, — подумал: этак скорее найдётся... неравно куда завалится бумага, по протокольной найти...

— Совсем мы так не делаем... Кому черту у нас воровать?.. Нас двое только и есть.

— Можно переписать протокольную... коли не любо так...— да и хихикнул таково ехидно.

Тут и понял Алексей Васильич, что враг подцепил уже. Показал вид, что не замечает ничего. Кончил дело. Отобрал бумаги, что государю надо показать. Взял и извет туда вложил. Государя он не застал дома и отправился к Монсу.

— У меня домашний вор есть, — сказал он Вилиму Ивановичу после обычных приветствий, — и предателем, чего доброго, сделался. Все мне для улики ковыки подставляет. О вашем деле извет есть в розыскной. Сгладил секретарь вот как... но уж в руках у врага был... как знать, что выйдет?.. Прочтите... надумайте, что ответить, коли спрос будет... Я дам резолюцию, что не стоит бредням значение придавать, а на всякий случай будьте осторожны... Егорке Столетову я тысячу раз говорил, что язык его погубит!.. Неймётся шельмецу... Его-то чего жалеть... Другим бы не досталось... Обыщи письма свои, Вилим Иваныч... Коли чего нет, так приструню я его... Отдаст; главное, знать бы верно?..

Монс переменялся в лице. Просил не беспокоиться и, главное, не бояться так; куда — пустяки.

— Я у себя припрячу лишнее... Да здесь ничего нет... все в Петербурге... Не надо только шуму поднимать.

Макаров согласился, что выжиданье в настоящем положении — самое

лучшее. А Монс сам не утерпел, чтобы не сказать государыне.

Как выслушала она неожиданный доклад, так и грохнулась было, если бы не поддержал камергер да не подоспели прислужницы. К счастью, лекаря скоро нашли; кровь пустил он и в чувство привёл. Дали знать государю. Он не меньше, если не больше всех, поражён был внезапностью припадка и сильным потрясением организма только что коронованной подруги.

— Боже мой! Что-то будет с ней, бедной? — прослезясь, сказал государь, когда после нескольких слов с ним страдальца опять впала в слабость, похожую на дурноту.

Стоустая молва о болезни облетела в этот же день пировавшую ещё столицу. Авдотье Ивановне Чернышёвой в её убежище принёс весть о внезапном недуге государыни супруг.

— Пронюхали, значит, что шашни откроются! — не без злорадной улыбки заметила генеральша Чернышёва, выслушав от мужа поразившее всех известие.

Наступил октябрь месяц. Пётр I, недомогающая в августе, весь почти сентябрь редко показывался, и то только на Неве, разъезжая в шлюпках под парусами. Но после сиденья в комнатах в усиленном тепле — для успешного лечения — стал государь чувствителен к холоду. Лихорадочное состояние почти не оставляло выздоравливавшего медленно государя; он сделался ещё более раздражительным и подозрительным. Окружавшие монарха поняли скоро, что остроты фигляров и шутников могут быть теперь особенно уместны для развлечения его величества. Вот и постарались на ассамблеях устраивать шутовские дивертисменты, вроде разговора пары шутов, перекидывавшихся друг с другом остротами. На грубую соль этих острот обижаться не смел никто, и привыкли принимать их прогулки на свой счёт со смехом.

На другой день Скорбязей назначил государь крестины у Ягужинского и был сам восприемником. На такой радости много пили. Так показалось даже голштинским придворным, привыкшим к тост-коллегиям своего

герцога. Государыня, побыв после обеда у родильницы, скоро уехала; немногие дамы тоже за её величеством удалились, кроме кумы "бой-бабы Авдотьи", сделавшейся душою мужского пира. Она развернулась, что называется, ухарски; шутя, смешивая всех и задирая своего царственного кума замысловатыми шутками. Среди них внезапно вошли в залу два матроса и попросили позволения повеселить гостей пляской "с разговорами".

Царственный кум милостивым манием руки разрешил весельчакам показывать свою умелость. Сперва принялись они плясать вприсядку с необыкновенною ловкостью.

— Молодцы! — крикнул развеселившийся государь. — Жаль, что одну эту пляшете...

— Мы и не это ещё спляшем, только бы приказали...

— А что же умеешь ещё? Пляши!.. Я приказываю... валяй, что знаешь!

Молодцы протанцевали менуэт парюю. Тот матрос, что поприместее, выделявал прекуръезные маханья, изображая даму. А другой, что повыше, разыграл в полном смысле драму любовных объяснений: вымаливание свиданья и за ним сближение двух любящих — ведя прямо *aux derniers bonheurs*.

— Что такое ты там затеял? — спросил мимика царственный кум.

— Камергерску повадку — силой заручаться...

— Я те заручусь... смотри у меня! — вполголоса произнёс сердито хозяин.

Мнимый матрос, наряжённый лицедей, подхватил свою даму в пляс и, вертясь в ускоренном темпе, будто не нарочно вылетел за дверь, треснувшись о притолоку, и, смешно кривляясь как бы от боли, ещё отпустил остроту, всех заставившую схватиться за бока. Он выговорил скороговоркою:

— Этак, пожалуй, не угощают и за услуги чужим жёнам...

Пока смеялись все этой выходке, плясуны ушли в переднюю и... совсем, за двери.

На тему шутовских острот плясунов принялась рассказывать смешные

прибаутки разбитная кума. Она чуть не после каждой своей забористой штучки обращалась к начинавшему скучать царственному куму с вызовом:

— Да ты слушай, куманёк!

Наконец ему надоело, и государь с неудовольствием встал.

— Посиди ещё с нами... Чего спешишь?.. Али сам в мужья попал, так про бабьи увёртки не охоч слушать?

Пётр улыбнулся принуждённо, сделавшись ещё мрачнее.

Думали, что разгневала она государя; но он как ни в чём не бывало явился и в Прасковьин день к Ягужинскому на вечеринку. Даже очень приветливо ударил по плечу подскочившую куму-тараторку. Ей это показалось вызовом на новые выходки в том же роде, и опять гости принялись покатываться со смеху от прибауток бойкой Авдотьи Ивановны. К ней в этот раз пристала и матушка разбитная, "князь-игуменья петербургская", насосавшись "от гроздьа" довольно изрядно.

Вдруг прибывшие новые гости сказали, что близко начинается пожар. Царь встал, взял с собою Ягужинского и не велел расходиться, обещая зайти поужинать вместе.

Авдотья Ивановна несколько было смутилась, но потом, уйдя на короткое время к хозяйке и выведя от неё Андрея Ивановича Ушакова, стала над ним потешаться. И он ей — чего не ожидали выдавшие его обыкновенно угрюмым — наговорил много сальных прибауток. Пара эта даже не заметила прихода хозяина с державным кумом.

Вместе почти с ними вступил в комнату и рослый плотный молодец в высоком парике, одетый в камергерский кафтан только с тою разницею, что у него правая половина была надлежащего красного цвета с золотыми галунами, а левая — жёлтая с серебряными. Став посредине, он, умышленно коверкая произношение, заявил, что он иностранец, служит разом двум господам и приехал сюда научить русских людей глаза отводить.

— Таких, брат, проходимцев я не терплю! — ответил государь ему, при общем молчании. В это время вошёл камергер Монс.

Вот прямо к нему и подлетел ряженный, начав длинную рацею. В ней он себя рекомендовал в высокую протекцию великому господину "бригадирского чина" — заученными фразами из прикладов. Фразы только были подобраны так, что оканчивались созвучиями и пересыпаны были сальными остротами.

Во твою, господине, протекцию себя повергаю
И такие же мощи, как ваша, желаю,
Аз европейские штаты не без пользы проходил
И плутовства всяческого штуки заучил:
Спознал како высшие благостыни доступати,
И за свой кредит магарыч великий имати,
Кому её требует что, добыть ухитримся,
Лишь достатками со просителем поделимся.
Ему, Бог с им, половина да довлеет
Зане силы и мощи наша не имеет.
Аз же еже день, в том и обращаюся,
Кого бы исправный облупит хитря стараюся.
Ранги высшие доступити, коли хочеши, не постоим,
Ради сим делом порадеши, якобы своим,
Только заплати убо нам, что пристойно;
Да вознаградится труд наш предостойно.
А мы имеем все ключи ото всяких дверей:
В клетки запертые входим, не трогавши верей;
Случится валяться и на хозяйской постели,
Когда хозяин бывает далече, на деле...

— Мне-то что за дело до тебя!.. Отстань! Что ко мне пристал!.. Как будто я знаю твои мошенничества? — не без смятения вспылал Монс на дерзкого шарлатана.

— Ты-то?! — крикнул он ему вдруг каким-то особенным голосом и, захохотав ехидно, бросился бежать, будто за ним гнались.

Ловить его никто и не думал теперь, хотя всех поразила дерзкая выходка.

Пётр сидел, подперши руками голову, и о чём-то глубоко задумался.

Водворилось молчание. Уже при общем затишье монарх поднял глаза, осмотрелся вокруг и, видя, как садится на пустой стул Монс, ни к кому не обращаясь, проговорил:

— А!

Неприятное впечатление поспешила разогнать опять находчивая Авдотья Ивановна, громко спросив Андрея Ивановича Ушакова:

— А у вас таких штукарей не попадалось?

— Нет ещё, — ответил он будто спроста и продолжал рассказывать про старую свою службу: "как Митру брали".

Слово за слово, и опять под конец вечера забылось все, и один из немцев голштинских, прощаясь с знакомыми, сказал:

— Не правда ли, было очень весело?

— На последках, перед заговеньем, всегда больше веселятся, — ответил Ушаков за того, к кому обращена была речь.

Наутро государь уехал в Дубки, а по возвращении 2 ноября спасал матросов с разбитого бота и больше часа стоял в воде по пояс. Мокрый воротился монарх в оставленные Дубки, и всю ночь его била дрожь. К утру только согрелся он и заснул и, уже разнемогаясь, приехал в повозке в город. Отдохнув день, Пётр почувствовал себя лучше и вечером 5 ноября был в нескольких домах, но не подолгу. Въехав в Большую улицу, встретил государь всешутейшего с причтом, приумноженным новыми питухами.

— Куда плетётесь, отцы?

— На свадьбу хотим... к хлебнику... по соседству.

— И я бы с вами... только без канальских шуток!.. Прискучили разные пройдохи... Пить — так пейте, а языку воли не давать...

Вошли и сели за три стола.

Компанию угощать стали. Сам отвёл в сторону поднесённую ему водку и просидел так, да и не особенно долго.

В конторке у государя, теперь не так часто посещаемой, уже не дежурили денщики бесменно, а оставался на ночь один сторож, простоватый солдат Ширяев.

Старый, честный служака все ожидал себе письма с родины, сам не позаботившись написать своим: где он теперь. Да писал ли он со сдачи в рекруты — это тоже вопрос. Между тем частенько говаривал он то тому, то другому: "Вот авось, даст Бог, напишут мне мои-то. Не совсем же, прости Господи, меня оставили?"

5 ноября 1724 года, в четверг, в сумерки — только государь вышел со своего крылечка, а Ширяев запер за ним дверь — послышался несильный стук в эту дверь. Не торопясь Ширяев спустился и отворил.

— Вот тебе письмо от твоих! — скороговоркою сказал ему, подавая запечатанное письмо, новый какой-то рассыльный высокого роста. В епанчу от вьюги он так укрылся, что не только впотьмах подслеповатому Ширяеву, а и зрячему не рассмотреть бы днём подателя письма.

— Войди, голубчик, потолкуем... как там наши?.. Что они?

— Я не знаю... С почты я...

И сам зашагал прочь.

Обрадованный сторож поспешил разрезать бумажную обёртку с его именем. Разрезал, глядит, а там ещё куверт с надписью: "В собственные руки его императорского величества — нужное".

Обманутый в своих ожиданиях, старик только вздохнул да выговорил:

— Эх их угораздило!.. к царю донесенье, а надписывали на моё рабское имя.

Взял и бережно положил на стол к государю. Вечером, со свадьбы хлебника идя спать, завернул государь в конторку свою и, увидев на столе пакет с надписью "нужное", спросил:

— Откуда?

— С почты, — сказал рассыльный, — новые там все... на моё имя написали, шутники... А я было обрадовался, разрезал обёртку да там вижу — вашему величеству!

Пётр разорвал обёртку и стал читать с очевидною поспешностью и

недоверчивостью. Пробежал, крикнул сторожу:

— Зачем берёшь?.. Это письмо подмётное, которых я не велел принимать... Да, ладно... нужно вывести эти плутни... наговоры, будто бы шутками?.. Я отучу от таких шуток!..

И, положив письмо в ящик стола, ушёл спать. Утром работая в конторке, государь совсем забыл про вчерашнее, да пришёл Ушаков и, сделав свой доклад, повернулся, чтобы уйти.

— Ба! Вспомнил... Возьми и это с собой... Призови названных и допроси... Мне скажешь потом... В воскресенье, что ль?

И, отпустив его, сам пошёл в Адмиралтейство. Прямо от государя с полученным подмётным письмом поехал Ушаков к Ягужинскому.

Объяснив ему разговор свой с Петром, он заключил:

— Я уже разметил, о чём допрашивать и кого.

— Ладно... С маленьких начинай, да возьми в писцы Черкасова, Ивана; так все и найдёшь... Да засядь в кабинет... в дальнем.

— Не учи... Сами знаем: как прихватить и кого... Соседа твоего хочется зацепить как-нибудь!

— Нет... дальше куплементов у него с Монсом не доходило... Не трудись напрасно... Вместо него на главных напирай.

— Знаю, знаю... Не советов просить заехал... а по дружбе... рука руку моет.

— Да неужели я не умею ценить твоей дружбы, Андрей Иванович!.. Ты, как вижу, обижаешься с чего-то на меня?

— Я-то! Полно, Павел Иванович... доказательство представить могу несомненное, что дружбы твоей ни на что не меняю... Не буду и пускаться следов искать, откуда залетело.

— Да к чему же? Ведь ты уверен: кто подал, тот — скрылся.

— То-то! Знай, что Андрей — не собака...— ослабившись, ответил Ушаков.

Расцеловались, и гость уехал.

Его сменила Авдотья Ивановна.

— Знаешь, кто был? — спросил её Павел Иванович.

— Видела. Кажись, Андрей.

— А он тебя?

— Не видел, я думаю... Я по кучеру его признала, сзади.

— Намекнул, что не будет допытываться, кто подал.

— Да уж его нет... Алёха сослужил полную службу своему врагу.

— И... ты думаешь — не увернётся?..

— Тот-то?.. Как сказать?! Понял я — на Алексашку Меншикова намерен навесь подозрение... то есть упираться на одно хапанье общее... Поверь мне, её выгородить.

— Тогда всем скверно...

— Ни то, ни се, я тебе скажу.

— Что ж пользы, что красавец улетит соболей ловить?

— С ним коротка расплата, прямо по уложению и новоуказным статьям... а дальше чтобы пошло, сомневаюсь.

И он был прав.

Призвал Ушаков Суворова да Смирнова с Михеем. Переспросил. То самое показали. Он дальше и не допытывался. В субботу никуда ни ногой: сидел взаперти и Самому не попадался.

За обедней в Михайлов день подошёл к государю с насупленным лбом.

— Ну, что? Вздорные слова, не больше?

— Побольше, государь... Мошенничество явное, и приличился слуга государынин, показывают... юрок. Можете его сами спросить: я велел его привести.

— Хорошо... вечером... буду в застенке...

Андрей Иванович пошёл в крепость, посмотрел на ожидавших со страхом допроса с пристрастием и, взяв Балакирева одного, запер за собою дверь и сказал ему полугрозно, полусхотливо:

— Видишь... теперь не до шуток до твоих... Придётся шкурой отвечать: что за сильненькие письма перенашивал от Монса и к Монсу? Коли умён будешь... хочешь большего зла избыть... говори все, что знаешь про плутни Монсовы, и отпирайся насчёт сбреха дурацкого: зачем Монс не женится?.. А Сам коли сильно пристанет, скажи, что у него баб — хошь

пруд пруди... "К чему тогда жениться!" — говорил, скажи. И то не вдруг. Делать нечего, повисишь немного... велю не сильно вытягивать... А коли впрямь все выболтаешь, не дыбой придётся разделываться... так и знай, на себя тогда пеняй.

— Слушаю, — трепеща, выговорил Балакирев.

— Будь покоен; лишнего тебя терпеть не заставлю... а не вздёрнуть — нельзя... сам увидишь... его уж расшевелили добрые люди достаточно... Да не робей... не теряй головы... Все от тебя да от стойкости твоей будет зависеть... Для того я по душе и говорю теперь... не запугиваю; больше ты вычитывай приносителей; можешь и князя помянуть, островского... понимаешь — не будет худа тебе...

Дав ещё несколько советов в этом роде, Ушаков вывел его и взял с собою, наедине беседовать, Суворова...

Вышли они с ним уже при Черкасове, пришедшем, пообедавши, не торопясь записывать.

Черкасов был иначе, чем сам следователь, расположен к Балакиреву; он не любил его и раньше, а теперь злобно смотрел на него и ругался.

Смерклось. Зажгли огонь. Два заплечных мастера явились, и государь пришёл.

— Как ты сюда попал? — грозно государь спросил Ивана Балакирева.

— Грех меня попутал... приставлен к Монсу и сделался участником в его делах...

— А какие дела его, — ты скажешь?

— Такие, что и мне, как его стряпчему, знаю, беда должна быть... И не оправдываюсь я, великий государь... чувствую своё преступление перед тобою... помню милости все, и совесть давно уже мне не даёт покоя... Я заслужил казнь... и не стану оправдывать себя неведением... Раз принуждён; потом — сам делал... не отказываясь... Спервоначально просил сжалиться надо мною... взять к себе... освободить от тяжкой службы на женской половине... Такова, видно, моя доля горькая!..

— Не доля тут виновата, а ты сам... За сознание собственное убавлю наказание, а простить, коли сам ты знаешь, что виновен... правда

недозволяет. Запиши, Черкасов, его признание. В чём же ты больше всего предо мною проступился? Обманывал ты меня? — и сам устремил на виноватого тот самый в глубь души проникавший взгляд, от которого забила лихорадка Ивана от необходимости солгать.

С дрожаньем в голосе Балакирев теперь признался:

— Виноват!

Петру припомнился случай внезапной болезни слуги, и он, вперив в кающегося взор свой, сказал:

— Говори же искренно теперь: когда я, помнишь, тебя встретил у своих дверей и сказал ты, что к Монсу посылали, — ты нёс от него?

— Нёс.

Ушаков нажал незаметно ногою своею ногу бросившегося на колени перед государем Балакирева.

— Что? — задал вопрос Пётр и сам наклонился к готовому отвечать.

— Цидулу от Монса...

Ушаков ещё сильнее нажал ногу говорившего.

— Какую цидулу?.. к кому?

— Монсову цидулу к... Павлову, с требованьем денег.

— И не другую цидулу ты нёс? Не к тому, кто посылал тебя?-спросил государь.

Нога Ушакова опять нажала ногу Балакирева.

— Нет! — твёрдо ответил виноватый.

— Из-за чего же ты так перепугался?.. Ведь теперь я уверен, что дрожь с тобой была от испуга, не от болезни.

— От испуга, что отважился обмануть тебя, государь, памятуя твои милости... но я не смел послушаться и командира, когда велел он отдать Павлову...

— Какой это Павлов?

— Паж бывший.

— Ну... коли сам сознался, что обманул меня, и совесть мучила — получишь шестьдесят палок... на исправленье... Смягчится всё-таки наказание... А что же ты, смеясь, говорил — как показывают изветчики —

Монсу незачем жениться... у него есть... Кто есть? И в каком смысле это говорено?

— С дурости, государь... получал я для передачи Монсу от многих дамских персон цидулы надушенные и врал не знаемо что...

— Врёшь... Ты вовсе не дурак, чтобы сказал ни с того ни с сего...

— Истинно, государь... с дурости!

Ушаков взял за руку Балакирева и подвёл к дыбе, шепнув: "Не бойся — не очень больно будет!"

Балакирев сам разделся и протянул руки в ремни. Заплечные мастера ловко проделали в хомут обе кисти, но кожу так приладили, что нажима сильного не было. Блок завизжал и поднял беднягу на четверть аршина от полу.

— Не хотел сразу говорить... повисишь да скажешь правду!

— Государь! — со стоном при ударе крикнул допрашиваемый. — Я с дурости говорил, потому что красавицы сами приходили и звать засылали... к себе его!

Палач незаметно подставил под ноги висевшему полено для опоры, когда государь, поворотясь спиной, пошёл в заднюю комнату с Ушаковым.

Из задней крикнул Пётр:

— Говори же правду! Бей!

Удар палача дан был о перекладину, а Балакирев закричал, что другого не может припомнить. Таких ударов по перекладине дано ещё четыре, и висенье продолжалось минут с пять, пока последовал приказ Ушакова: "Спусти — оденьте его!"

Переспрос Суворова, Ершова, Смирнова и Столетова не прибавил новых фактов к следствию, кроме ссылки на Пospelова.

— Одного остаётся взять, — сказал Ушаков, когда государь уходил.

— Возьми... Только ночью... без огласки.

— Слушаю-с! — с поклоном ответил Ушаков. Пётр пошёл из крепости к Пospelову. Оттуда государь воротился только в девять часов вечера. У себя он нашёл в общей зале государыню с детьми; дамы сидели тут же и

слушали рассказы камергера Монса, в этот вечер особенно бывшего в ударе. Он не успевал договорить одного интересного анекдота, как, по просьбе продолжать, начинал новый, ещё занимательнее. С каждым новым анекдотом рассказчик выказывал больше остроумия и находчивости. Государь присел в сторонке, ответив милостиво на вежливый поклон рассказчика, и с улыбкою выслушал ещё три пикантных анекдота, возбудивших общий непринуждённый смех.

Услышав конец повествования, государь спросил:

— Который час?

— Десятый...

— Пусть дадут ужинать.

Подали ужин, и рассказчик разделил его с царскою семьёю, перебрасываясь шутивными словами с его величеством, не выходявшим из-за стола после кушанья несколько дольше обычного.

— Ну, теперь пора спать! — вставая, сказал Пётр и направился в свою конторку, как обыкновенно делал он перед сном.

Камергер, раскланявшись, отправился тоже к себе. Разделся. Набросил на плечи свою красную шубку, заменявшую халат, и закурил трубку.

Вдруг — стукнули в ворота. Кто-то вошёл на крыльцо, и шаги его раздались по жилищу камергера.

Вошёл в полной форме и с нарвским знаком, в шарфе генерал-майор Ушаков.

— Я за тобой, Вилим Иваныч... Вот приказ взять тебя...

Камергер побледнел, но, не возражая, поднялся с места и хотел одеваться.

— Ты в этом ночь можешь пробыть; завтра принесут, во что одеться...

— Да куда ты возьмёшь меня... чрез Неву?

— Нет ещё... у себя в доме посажу.

— А ответишь, если спрошу, за что?

— Почему не так... Донос подан на Балакирева, что переносит...

— Понимаю... что ж он: струсил и всех предал?..

— Никого... да о других не заботься... лучше тебя укроют... Прямо мне

только передай, что может после попасть и... не в мои руки...

Монс молча показал на стол. Из него Ушаков вынул пачку цидул: десятка полтора всего. Пересчитал вслух и положил в карман.

Монс оделся и, не сказав больше ни слова, молча подал Ушакову шпагу и пистолеты.

Набросив шубу на плечи, Монс остановился в светлице своей и дал ключ от двери спальни-кабинета.

Ключом этим Ушаков запер дверь и припечатал свою печатью.

Затем они вышли вместе с пленником. Его провёл к себе Ушаков, всего через три дома, по Большой улице. Ввёл в заднюю комнату; указал на диван... Велел подать на стол свечу, со съёмцами, отвесил поклон, вышел и запер за собою дверь на ключ.

Монс погрузился в мрачное раздумье, наклонив голову.

Долго ли сидел он так, не знал: ему было не до того, чтобы считать время. Вдруг голос: "И ты тут!" — заставил привскочить камергера. Он, вытянувшись, поднял голову.

Ему прямо в глаза смотрел гневный государь, и взгляд его был до того грозен, что Монс почувствовал словно дрожь в сердце. Он представил себе, что этот гнев возбуждён предательством. Ушакова, передавшего чужие цидулы из стола.

Пленник зашатался и без чувств упал на руки вошедшего с Петром Ушакова. Двухчасовой обморок едва перервали усердные усилия призванных врачей. Приведя Монса в чувство, они удалились на время, чтобы приготовить бинты и прочее к открытию крови, боясь нового сильного прилива к мозгу.

— Предатель! — прошептал слабым голосом Монс. — Я думал, что ты человек с совестью... Не меня погубил ты!.. Я о себе не забочусь и не прошу пощады...

— Вот твои письма, — отвечал Ушаков, оставшийся при Монсе после ухода Петра, — они все... считай сам. — Одушевлённый мгновенно вспыхнувшей жизнью, Монс схватил цидулы, пересчитал и хотел съесть.

— Легче и скорее можно уничтожить... Я нарочно велел печку затопить...

Бросай сам и будь покоен.

— Виноват... Умру теперь спокойно, — сказал Монс и бросил в яркий огонь цидулы, мгновенно вспыхнувшие.

— То-то и есть: молодо ещё — зелено! Мы, старики, так скоро головы не теряем. Тебя и сестру твою обделаю на илучшим образом... до последней взяточки покажем. А о том... нишкни... все гладко и чисто... Не тот, говорю, предатель будет у меня, кого вздёргивали, а тот, что турысы на колёсах подпускал!.. Пророков да лицедеев подсылывал...

Вошли подлекаря и стали обнажать руку Монса. Он не противился. Крови пустили фунта два и тогда уже завязали руку.

Переговорив затем с пленником своим один на один, Андрей Иванович Ушаков оставил его, велел приготовиться ехать в кабинет, где государь уже принялся перебирать бумаги.

Разбор продолжался во весь день. Целые ворохи памяток лежали уже перед Петром, перечитанные и помеченные им. Вот и истощился запас. Перед великим Петром развернулась целая сеть утончённых плутней, подкупов, взяток, хапанья и требований в счёт будущих благ, чтобы замолвить слово или направить к успеху проигрываемое дело.

Стало смеркаться, когда отправился обедать царь-работник, проникший в тайник более всего ненавистного ему взяточничества. Преступления несомненные и Монса, и сестры его старшей были ясны как день.

Уходя, царь велел привести в кабинет виноватого камергера, одного, для личного допроса.

Утомлённый испытанными треволнениями и ослабленный потерю крови, Монс в ожидании прихода государя заснул. Пётр, войдя в кабинет и найдя виноватого спящим так спокойно, долго наблюдал выражение лица его. Оно было совершенно бесстрастно — сон крепкий и ровный.

— По сну судя, будто и правый, — наконец возвысив голос, сказал государь, и Монс, разбуженный громкими звуками, открыл глаза.

— Нет, государь, я оправдывать себя не хочу... Участь свою знаю и о смягчении кары законной не прошу...

— Да оно и не может быть к тебе применимо, — с горечью в голосе

сказал Пётр, ударив по вороху бумаг, — приготовься!.. Я и допрашивать сам не стану... Знай, что пощады не будет...

Встал и вышел.

Глава VII. ДЕЛО ПО ДЕЛУ — СУД ПО ФОРМЕ

Монс был арестован в воскресенье же вечером, а на половине государыни об аресте его узнали только в понедельник.

Хитрый Лакоста, сообщивший все сведения чернышевскому кружку, знал о допросе Балакирева и о скором аресте Монса ещё в воскресенье скорее всего от Ушакова, для которого тоже шпионил. В понедельник ходил он чуть не на цыпочках и, выждав, когда государыня выслала женщину свою посмотреть, пришёл ли камер-лакей, процедил сквозь зубы:

— Он ни пудит... зассатили...

— Кого засадили?

— Ив-ван-на...

— Кто смел?.. Ведь он государынин слуга.

— Кассутарь приххозсаль всячь.

— Что ты такое мелешь, дурак?! Как Ивана государь взять приказал... матушку не спросимшись...

— Мн-ни тде-ля нне-т... та ввас... Ни вверьти...— и он забарабанил по стёклам пальцами своей высохшей руки.

Женщина посмотрела с удивлением на шута и сказала Ильиничне, что Ивана нет, а шут что-то бормочет: куда-то взяли его.

— Вот ещё новости! Взяли... Коли знает шут, где человек государыни... пусть ходит за ним.

Женщина вышла и пересказала, прибавив:

— Ведь лошади скоро потребуются... Государыня почти одета.

— Я... схасшу на конушна... зам. Кароссу привидут...

И сам действительно ушёл, окончательно озадачив прислужницу. Она только руками развела.

В это время по двору на кабинетское крыльцо прибежал Макаров и через минуту вылетел оттуда словно обожжённый. Постоял он с минуту

на дворе и ловко проскользнул на государынино крылечко.

Появление его и в необычную пору ещё больше озадачило стоявшую на том же месте женщину.

— Здесь княжна Марья Федоровна?

— Кажись, ночевала у нас... здесь.

— Вызови её сюда на пару слов.

— Нельзя, может, родимый... с государыней она едет.

— Скажи, что зовёт её Макаров; и очень нужно, — прибавил он, налегая на последнее слово.

Посланная пошла к Ильиничне и сказала, кто пришёл и требует княжну Марью. Макарова женщина знала и назвала без ошибки.

Ильинична, несколько встревоженная словами шута, ей переданными, шепнула осторожно княжне, что Макаров её ждёт и ему нужно неотменно, говорит, сейчас её видеть.

— Государыня... Алексей Васильевич зачем-то пришёл и меня требует.

— Позовите его сюда... что такое там за нужда?

Позвали.

Он сильно встревожен и не знает, с чего начать.

— Что там у вас? — вполголоса спрашивает княжна.

— Не ладно!.. Государь в конторке запершись; и сторож говорит: принесли из дома камергера два мешка писем разных.

— От камергера? Да он-то где сам?

— Надо разузнать, княжна, осторожно... Ты бы, матушка, потрудились... к Ушаковым скатала... а я... к светлейшему поскачу.

— О чём вы там переговариваете? — спросила государыня, до слуха которой долетели слова "письма... государь... от камергера".

Марья Федоровна сказала на ухо государыне, и её величество ушла к себе... Только и видел её Макаров.

Тем временем прибежал шут и, запыхавшись, сказал Ильиничне:

— Лосшадти стес... Иван пот арест, Летна творецц... пот караул... И хер Монс увветен ис тома каспаттин енераль, пез спаг...

Макаров это услышал и бросился стремглав к своим саням и, забыв

всякую осторожность, помчался к светлейшему.

Данилыч был очень поражён, но только на несколько минут.

Он забегал взад и вперёд, обдумывая, какие принять меры. Вот скоро ему пришла мысль, очевидно верная. Остановясь вдруг перед Макаровым, он пробормотал:

— Тут одни Монсовы шашни, должно быть, раскрылись... Нам с тобой покуда нечего трусить... держи знай ухо остро да сбудь с рук Ваньку-грубияна, он...

— Знаю сам, что предатель... да не в силах я его сковырнуть... поддерживает Ягужинский, и на мои оговорки Сам сказал, что Черкасов у него слуга не другому кому чета. Ясно, на мой счёт... И теперь враг — запершись с государем в кабинете моем... Вот ведь что... Извет московский был у него в лапах... это верно!

Светлейший опять заходил быстрее обыкновенного; но после первых кругов шаг его стал медленнее и медленнее. Он со всех сторон разбирал настоящее положение, давно привыкнув чутко хватать на лету самые случайные слова.

Припоминая такие приметы да намёки, не раз светлейший угадывал истину, как и теперь. Вот он опять остановился и медленно высказал:

— Главную опору нашу... не так легко опрокинуть. Десять лет привычки — много у него значит... И самое худшее буде... не дай Бог, случится... Теперь не так примется, как семь лет назад... Он — не тот... Она — нужна ему... Свадьба затеяна и... удалить... да не теперь... а время... Время все переменяет!

Пока рассуждал Макаров с князем, его позвали вверх. Там ждала княжна Марья Федоровна, отобедавшая у Ушаковых и видевшая Андрея, который ничего не сказал ей, но, оставшись с ней вдвоём, взглянул на неё, словно привлекал её внимание, да взял растопку и бросил в печку.

— И что ж?..

— Так хорошо и дружно занялась... в жар в самый попала.

— Ну, ладно! — решил князь. — Пойду Алёшку обрадую... а то он близок к умозамешанью... Скажи, княжна, государыне, — прибавил светлейший

на прощанье, — чтобы вид весёлый имела... Там обделано... Ничего нет и... не найдут... Уж и дымок прошёл.

И сам весело перевернулся на одной ноге.

Всё было выполнено буквально.

Было уже совсем темно и подан огонь, когда мрачный Пётр пришёл за стол к супруге, окинув её самым ярким взглядом, многих приводившим в трепет. Он не заметил никакого волнения в лице своей кроткой, выносливой спутницы походов. Она совершенно наивно спросила монарха: здоров ли он? Ответа не последовало, но видно было, что у великого человека в душе происходила страшная борьба подозрения с рассудком. И хотя рассудительность и благоразумие должны были победить мучительную подозрительность пылкого гения, но много ещё нужно было времени, чтобы привести в прежний порядок его привычки и привязанности. Допрос Монса не произвёл поворота к террору; арестованы были только непосредственные пособники открытых нечистых деяний.

Во всех домах шли расспросы: "Кого взяли?" Отвечали: "Не знаю", или называли наугад двух-трех лиц, или путали по незнанию фамилии, что ввергало вопрошавших в беспокойство. Голштинцы утром в понедельник узнали громовую весть об аресте Монса, которому не так ещё давно герцог послал табакерку. В доме герцога провели весь день в страхе. К крыльцу не подъезжал никто. Это неспроста же?

На другой день довольно рано явился к герцогу Остерман и обнадёжил его по секрету, что он будет неотменно обручён недели через две. Стало быть, и без Монса дело устроится? Жених повеселел, и ментор его Бассевич подтвердил с другой стороны полученное о том же удостоверение. Бассевича одновременно с Остерманом навестил генерал-прокурор и без обиняков сказал, что дальних розысков не будет.

— Балки — сын да мать, но не отец — поплатятся чем-нибудь за близость да общее плутовство, — сказал он. — Других не тронут. Оговорившим достанется само собою, — за неуменье взяться за донос, коли решились губить взяточника. Оговорённым — тоже, по винам их,

наказанье. А подкупателей — немногих заденут... Вот Якова Павлова посадили; разжалуют... А в сущности... все пустяки и дурачество...

— Ну, а Монса-то? Его-то что?

— Н-ну... его... вздёрнут, по уложению... Нахапал столько, что по новоуказанным статьям — смерть... Он и не запирался, да и запирается не мог, когда у Самого все грамотки на глазах были и на всех пометы... Целый понедельник недаром рылся один.

Бассевич вздохнул: ему показалась обидна — для немца, хотя и недворянина — холопская казнь.

— Хоть бы голову отрубили! — выговорил он.

Ягужинский захохотал.

— Эту милость можно оказать, — сказал он.

Простенький голштинiec камер-юнкер Геклау, несмотря на унылость, распространившуюся в свите герцога с утра понедельника, не утерпел, чтобы не зайти к камраду, флотскому командиру Мартыну Гослеру, на именины — во вторник вечером. Там оказалось большое сходбище. Три раза пропели в память благодетеля Мартына Лютера его канту о питьё. В конце пения слышался Геклау знакомый бас государя. Когда встали после пения для чоканья, действительно государь оказался в компании. И развесёлый такой, что любо.

И с Геклау изволил чокаться.

Два дня ещё прошли в страхе, хотя уже меньшем, чем в предшествовавшие.

В пятницу утром больную Матрёну Ивановну Балк, старшую сестру Вилима Ивановича Монса, привёз Андрей Иваныч Ушаков из её дома в свой и посадил в ту горницу, где провёл эти дни брат её, перевезённый теперь в крепость.

Домашний арест объявлен был теперь и старшему сыну генеральши Балк, камер-юнкеру Петру Фёдоровичу Балку. А с полдня стали полицейские солдаты прибывать на углах улиц печатные объявления, читанные народу с барабанным боем, что "генеральша Балк, её сын и брат камергер Монс посажены за взятки. И всякий, кто давал им, являлся

бы сам добровольно с заявлением: за что и сколько дано. Без того, буде найдутся в бумагах имя и взятка, за то с не заявлявшего взыскано будет в казну вдвое".

Начались толки, а страх как рукой сняло у всех опасавшихся.

Началась работа Черкасова. Он весь день в пятницу и всю ночь на субботу не спал, записывая одни показания Матрёны Ивановны Балк: что и от кого она получала.

— Вот бездельнику Ваньке и закуска... Чтобы не совался не в своё дело: плеть обуха не перешибёт... И работай даром... Ведь награды при таких случаях не бывает, — передавал Макаров княжне Марье Федоровне Вяземской, не ездившей во дворец с понедельника и во все эти дни тоже чувствовавшей себя не совсем здоровою.

Предупредительный Алексей Васильич, нарочно посетивший больную, сказал ей это, чтобы её совсем успокоить.

И все вышло вполне справедливо.

В субботу съехались выбранные самим государем восемь судей: пять Иванов, Александр, Яков да Семён с докладчиком, разумеется, лучше всех знавшим дело, Андреем Ушаковым. Он доложил дело так ясно и чисто — вывел статьи и привёл даже решение государя о Балакиреве, — что, выслушав доклад, оставалось только судьям подписать фамилию. Объявление решения суда сделано в воскресенье после обедни, с барабанным же боем. А затем началась стройка эшафота.

К Монсу — готовить его к смерти — явился, по призыву начальства, пастор Нацциус.

Он застал бывшего камергера за чтением его настольной немецкой Библии, совсем готовым к переходу в лучший мир.

Покаяние было полное и искреннее. Каявшийся просил молитв духовника о своих бесчисленных согрешениях, не ища извинений ни одному падению.

— Прощение возможно, если ты, сын мой, искренне примирился в совести со всеми, тем паче оказавшими тебе по человечеству, может быть, и зло... не зная, что их дело было только побуждением греховной

воли... Но самое зло попускается для нашего же вразумления по неисповедимым судьбам Промысла.

— Я простил давно тем, которые устраивали мне погибель умышленно. В то же время я убедился в содействии и поддержке тех, на кого меньше всего рассчитывал...

— На все воля Божия... Да будет милосерд к тебе пострадавший за нас, и за временное страдание да изгладит прегрешения, в них же принёс покаяние...

Затем, когда уходил, Монс просил его принять на память перстень, снятый им с руки своей.

— Может быть... как знать... в иные времена он вам и пригодится, — сказал он. — Если государыня императрица, увидав перстень на вашей руке, спросит вас, как он вам достался, — скажите, что дал его я вам, считая вас лучшим и последним моим другом на земле...

Они расстались при обещании Нацциуса прийти проводить его к казни.

Не угодно ли быть свидетелями сцены, во всём противоположной — и по побуждениям, и по чувствам.

Написав последнее — приговоры, Черкасов окончил занятия по процессу Монса в субботу. Утомлённый, почти голодавший второй день, он решил, что до дому далеко, а Чернышёвы под боком... как раз у них и обед об эту пору.

Вошёл и не ошибся. Действительно обедают.

При виде делопроизводителя генерал велел денщику поставить стул для гостя между своим и жениным да подавать скорее и сначала.

— Вот это... очень кстати... щи мои любимые, — чуть не вырывая из рук денщика тарелку, проговорил Черкасов, прибавив поговорку: "ради щей люди женятся, от добрых жён — постригаются"...

— Случается, что и добрые мужья наших сестёр постригают... не правда ли, Павел Иваныч?

— Правда, правда, Авдотья Ивановна; только Грозный не одну свою жену постриг, а в наши времена и одной довольно в монахинях...

— Ещё бы не довольно, коли судья и допросчик воров одной с ними

шайки вор, Андрюшка-то?.. Спины, вишь, верных слуг жалеет... и вздёргивать коли велит — плашку подбросят, чтобы не висел, сердечный... да от боли бы не выбрехал лишнего...

— Кого же это он так... помирволил?..

— Ваньку Балакирева, известно, главную струну во всей в этой музыке... Я было заговорил, и то наедине: как, мол, это он... Так что бы вы думали? Мне же и досталось... врёшь, говорит... пошёл вон совсем, коли таки измышленья затеваешь... Нужно допытаться про тебя-то самого: с чьего поученья это самое загородил... Верите ли, страх — не лицемерно говорю — пронял меня... Ведь кнутобой известный, рази есть у него совесть?

— И этак даже!.. То-то на левой-то половине и в уссловно не дуют, что дружку карачун давать хотят...

— Правда ли, слыхала я, — перервала Авдотья Ивановна, — что она просила за слугу верного: нельзя ли помирволить?

— Кого просила?

— Известно, Самого! Говорили так у Марьи Дмитриевны сего утра при мне верные люди. Я там была и сама расспрашивала, прикинувшись, разумеется, сожалеющею о красавце таком.

— Дальше-то что... за упросом-то?

— Ничего, говорят; сказал, что простить не может, потому что преступник и не просит пощады.

— Это точно, правда... Сидит, словно не его плутни мы разыскиваем, и спокойно на спросы все говорит: столько-то взял, да мало... не то бы нужно...

— Ну, не привирай лишнего, Иван Антоныч. Все мы Монса сами знаем, — вступился Ягужинский. — Таить ему теперь незачем; а хвалиться взятками, как какой-нибудь Егорка, — он настолько умён, что не станет.

— Ну, не так, а вроде того говорил, — изворачиваясь, поправился подцепленный Черкасов. — Да дело не в том, хотел сказать я, а в том, что спокоен он, как бы не его башку палачу рубить придётся.

— Кремень, больше ничего, — решил Чернышёв. — Может, как говоришь, Андрей главное закрыл; Вилим видит, что его участь решена,

а тех не тронут... и спокоен потому.

— А те-то спокойны ли? — не без ехидства, с особенным оживлением выговорила Авдотья Ивановна. — Коли впрямь так крепки, не мешало бы опыт сделать ещё один... Вот что мне в голову пришло... Шеину княжне Марье Дмитриевне, чтобы она при случае кстати ввернула намёк— показать друга любезного голубке да и посмотреть, что она тогда?

Блистательную свою, истинно женскую, хитрую придумку Авдотья Ивановна покрыла хихиканьем, от которого почему-то дрожь пробежала по коже и у Ягужинского.

— К чему это? — едва ли оценив всю силу ядовитой выдумки супруги, выговорил Чернышёв. Черкасов только взглянул на Ягужинского, хранившего молчание.

Затем разговор зашёл о вкладчиках в казну Монса и генеральши Балк.

— И мой братец Васенька этой стерве поклонился ста рублями, как вели мы тяжбу с Хованскими из-за бабушкиных деревень. Говорит, будто принос подействовал, а я думаю, нельзя было наше неотъемлемое отнять чужому роду, потому что у бабушки вотчины были материны, а Хованская, племянница от брата, могла только в отцовском наследованье участницей быть...

— Да что говорить о шурине нам, — молвил сдержанный Чернышёв, — коли жид Головкин канцлером служит, а комендантше Эльбингской двадцать возов сенца уделил.

Собеседники все захохотали. Денщик подал генералу пакет. Чернышёв поспешил распечатать и пробежать содержавшееся в нём.

— Эки бездельники! — вскрикнул он, дочитавши. — Теперь, когда нужды нет, — выпустили солдата московского! Уведомляют меня на прошлогодний спрос — что принят на старое место.

В понедельник, 16 ноября 1724 года, ещё до света был готов эшафот — обширная дощатая платформа на брусьях, на полтора аршина выше Троицкой площади.

Посредине этой обширной платформы, прямо против среднего окна ревизион-коллегии, поднимались две рели с перекладиной; только

вместо верёвки над серединою виселицы торчала острая спица — для головы казнённого. Подле релей был столб с крышечкой, под которою повешен был колокол. Звоном в колокол обозначаться должно чтение приговора, а потом — выполнение казни. Подле столба с колоколом под крышечку становился сенатский секретарь — читать приговор. Между столбами релей и местом секретаря, поднятым на одну ступень, стояла широкая плаха с приступком, на которую становился на коленях преступник для получения смертного удара. За плахою стояла кобыла — наискось спускавшаяся стойка, к голове выше — для сеченья кнутом.

Кончилась поздняя обедня у Троицы — в ту пору, по-старинному, в десять часов утра, и из крепостных Ворот, украшенных резною фигурою апостола Петра, показался строй солдат, идущих к мосту на площадь. Народ по вчерашнему объявлению уже собрался и ждал кровавого зрелища.

За строем, несколько отступя, под конвоем солдат с обнажёнными тесаками вели к наказанию обвинённых.

Первым шёл с непокрытою головою в красной домашней шубке своей камергер Монс; подле него пастор Нацциус в своём официальном облачении: чёрной широкорукавной рясе, в парике и с Монсовым Евангелием в руке. Евангелие бывший камергер читал до самого ведения на казнь.

Красавец был бледен, но совершенно спокоен. Рассказывали, что он только растрогался, когда на крыльце — по выводе его из комендантского дома, где его содержали с середины, — бросились с громким воплем с ним прощаться слуги его все в слезах.

За братом шла исхудавшая, бледная как смерть генеральша Матрёна Ивановна Балк. Руки её были связаны, и на плечи, сверх зелёного шёлкового платья, накинута была чёрная епанечка на меху с капюшоном, покрывавшим голову.

Поодаль от неё шёл, едва двигаясь от страха, совершенно упавший духом Егор Михайлович Столетов. В потухших глазах его, казалось, не было признака жизни; он походил на старика, хотя ему было не больше

как под сорок лет.

Жёлтая кожа на лице вся была в морщинах.

Почти в паре с ним шёл совершенно спокойно молодой красавец Балакирев. Он плакал, и лицо его выражало сильную растроганность; но ни страха, ни боязни предстоящей боли ни один искусный физиономист не открыл бы в лице его. Он горевал не о себе, а о Даше и бабушке.

Обвинённых взвели на эшафот, и вокруг него построились в линию солдаты крепостного гарнизона.

Началось чтение приговора подъячим тайной розыскных дел канцелярии — вместо секретаря Черкасова, отговорившегося болезнью.

Первая статья о винах Монса была очень длинная. Осуждённый слушал свой приговор, смотря в пол и, должно быть, читая про себя молитву.

Когда прочли ему приговор, он обернулся, стоя у плахи, к зданию Сената и поклонился.

Говорили, будто бы в ревизион-коллегии был государь; но это неправда. Поклонившись, бывший камергер взглядом простился с поднявшимся на эшафот пастором Нацциусом. Стал на колени, обнажил шею и лёг головою на плаху. Раздался удар в колокол. Топор поднялся и — опустился. Палач поднял отрубленную голову.

Подъячий зачитал приговор другой:

— "Матрёна Балкова! Понеже ты вступала в дела, которые делала через брата своего Вилима Монса, при дворе его императорского величества, непристойные ему, и за то брала великие взятки и за оные твои вины указом его императорского величества бить тебя кнутом и сослать в Тобольск на вечное житьё".

С генеральшей сделался обморок. Её, бесчувственную, положили на кобылу, обнажили и отшлёпали.

Столетов заревел ещё до окончания чтения ему приговора и продолжал вопить при экзекуции.

Балакирев, напротив, вынес удары палок, не издав ни одного стога.

По совершении казни Балкшу понесли; Столетова повезли на тележке; Балакирев сам пошёл в крепость.

В ЧУЖОМ ПИРУ — ПОХМЕЛЬЕ. ЭПИЛОГ

Народ, собравшийся смотреть казнь камергера и его сообщников, медленно расходился с Троицкой площади.

На ней оставалась, чернея издали, высокая виселица, посредине которой на острой спице уже была воткнута голова Монса, отличаясь от живой закрытыми глазами да бледностью. Выражение лица в мгновение казни было спокойно и даже трогательно. Пастор Нацциус уверял, что до последнего взмаха топора он про себя читал молитву.

Сестра его казнь перенесла в бесчувствии, но приготовления к расплате уложили её в постель. Столетов, наоборот, вынес не так стоически всю тяжесть наложенного на него наказания и был увезён в бесчувственном состоянии с эшафота. Правду сказать, и били его, как уверяли знавшие близко дело, с особенным усердием. Надо же было на ком-нибудь сорвать своё злое сердце Андрею Ивановичу Ушакову, на этот раз к доносчику не проявлявшему своего обычного благоволения, зато очень внимательному — по словам злого языка секретаря Черкасова — к Балакиреву и Суворову. Разные толки — всего не переслушаешь — слышались от очевидцев казни, почему-то и растроганных, и сочувственных к слуге царицыну.

— Он, бедняга... пострадал, просто сказать, за здорово живёшь... Велели слушать набольшего... Барин набольший важнеющий был... Эки дела выхаживал?... Ладно аль неладно он делал, а слуге ему не приходится указывать, а ещё того меньше — доказывать... А приличился барин — и слугу к ответу: зачем, вишь, жаловался, что погибель видел, а приказы барские справлял; потому что велено.

В это время через Неву от почтового двора перебиралась тихо рогоженная повозка, тяжело нагруженная, должно быть, деревенскими гостинцами. Поднявшись на Троицкую пристань, повозке пришлось ехать шагом, а у угла Сената и совсем остановиться из-за двинувшихся с площади зрителей.

— Что, батюшка, здесь такое... многолюдство? — выглянув из повозки,

спросила старческим голосом, должно быть, помещица сама.

— Казнили здесь сейчас барина одного — Монцова, да Ивана Балакирева, и других ещё...

— Казнили, говоришь... Как... повтори, родимый, я, может, не так дослышала? — И голос у старушки словно оборвался.

— Монцова, говорю, бабушка, да Балакирева Ивана... вишь, слуга у государыни был.

— Врёшь ты, злодей!.. За что моего Ваню казнить?.. Ишь какую чушь сморозил... слугу государыни... Коли мне матушка... сама говорила: "Довольна я им и предовольна... всякое ему благоволение окажем..." В жисть не поверю...

А у самой сердце оборвалось и в голову ударило, словно молотом.

Миновали Сенат. На углу Дворянской — новая толпа перед приколоченным печатным листом. Читает его по складам рыжий скуластый парень — не то столяр, не то колёсник, — сняв шапку и поправляя ремешок на волосах.

— Ив-ван буки аз — ба, люди аз — ла, како иже — ки, рцы есть — ре, веди ер — Балакирев.

— Стой-ка, Гаврюха, опять Балакирева поминают... Дай-ко послухать, что здесь?

И старушка наставила ухо, но голова её горела, в ушах был такой шум, что слышались какие-то звуки без смысла. В чтение внимательно вслушивался Гаврюшка Чигирь, постаревший за двадцать семь лет, но по-прежнему верный слуга. У него показались слезы на глазах от с трудом прочитанного рыжим парнем.

— Гаврюшка, с чего ты плачешь, что там жалостного?.. Я, как ни стараюсь услышать, ничего не разберу... за дальностью, что ль.

Старый слуга неохотно сошёл с козёл и сквозь слёзы сказал:

— Писано, что государь прогневался на барина, на Ивана Алексеича.

— Говори громче! Ничего не слышу... Что ты мямлишь себе под нос!

Гаврило крикнул на ухо:

— Барина, бают, Ивана Алексеича услали... государь на чтой-то

разгневался.

— Врёшь ты... что услали... Правда, значит, что Ва... ню... сказ... ни... ли?..

И рыданья захватили дыханье у старой помещицы.

Чигирь вскочил и ударил что есть силы по лошади, пустившейся впритруску по Большой Посадской и через неё — в Посадскую большую слободу. Через минуту были путники перед домом отца Егора.

Грустный священник слышал уже о несчастье зятя, но скрывал и от жены — благо она не выходила никуда — и от дочери, четвёртый день родившей, да не совсем благополучно — мертвенького... Что-то роженице попритчилось: находилась в забытьи не забытьи, а мало понимала, кажись, что делается.

Остановившись перед домом отца Егора, Чигирь отворил ворота, ввёл лошадь с повозкою и внёс барыню, обеспамятевшую от внезапно полученного грозного известия. Внёс и положил на лавку.

Старушка пришла в себя. Но с возвращением сознания пробудилась и жгучая боль сердца. При виде отца Егора вскрикнула Лукерья Демьяновна:

— Отцы мои, пощадите!.. Ваню моего казнили... услали, говорят, да лгут... Народ видел — казнили у Троицы... на площади...

При криках этих вскочила с постели Даша с помутившимся, безумным взором.

— Казнили Ваню... услали! — закричала она не своим голосом и бросилась бежать за дверь.

Отец и мать словно приросли к месту от внезапности.

Их сковал ужас. Первый несколько пришёл в себя отец Егор и пустился из избы вслед за дочерью.

Но уже было поздно. Ни в сенях, ни на дворе её не было. Он на улицу — видит: вдоль бежит к крепости, только кофта и юбка белеются. Отец за ней, но куда пожилому человеку догнать, — словно вихрь мчалась Даша. У Гостиного двора потерял он её — скрылась за углом. Добежав до площади, отец Егор увидел, как Даша мчалась к виселице... постояла, не добежав до неё, одно мгновение... и дальше, за Сенат, прямо в Неву...

Отчаяние прибавило силы отцу Егору. Он мчался так, как бы не поверил, что может, если бы другие говорили, но догнать не мог. Добежав до берега, он увидел только, как ушло что-то белое в прорубь и разбрызнуло воду на обе стороны.

Совсем смерилось, а несчастный отец все стоял на одном месте в каком-то дурмане...

Мимо него от Летнего дворца на площадь промчались парные сани.

В них ехали государь с государынею.

— Это Монсова голова торчит, — сказал Пётр I супруге, проезжая мимо виселицы.

— Как жаль, что такой человек заразился взяточничеством! — ответила супруга совершенно спокойно, без малейшего дрожания в голосе.

Он пристально взглянул ей в глаза. Сумерки совсем спустились.